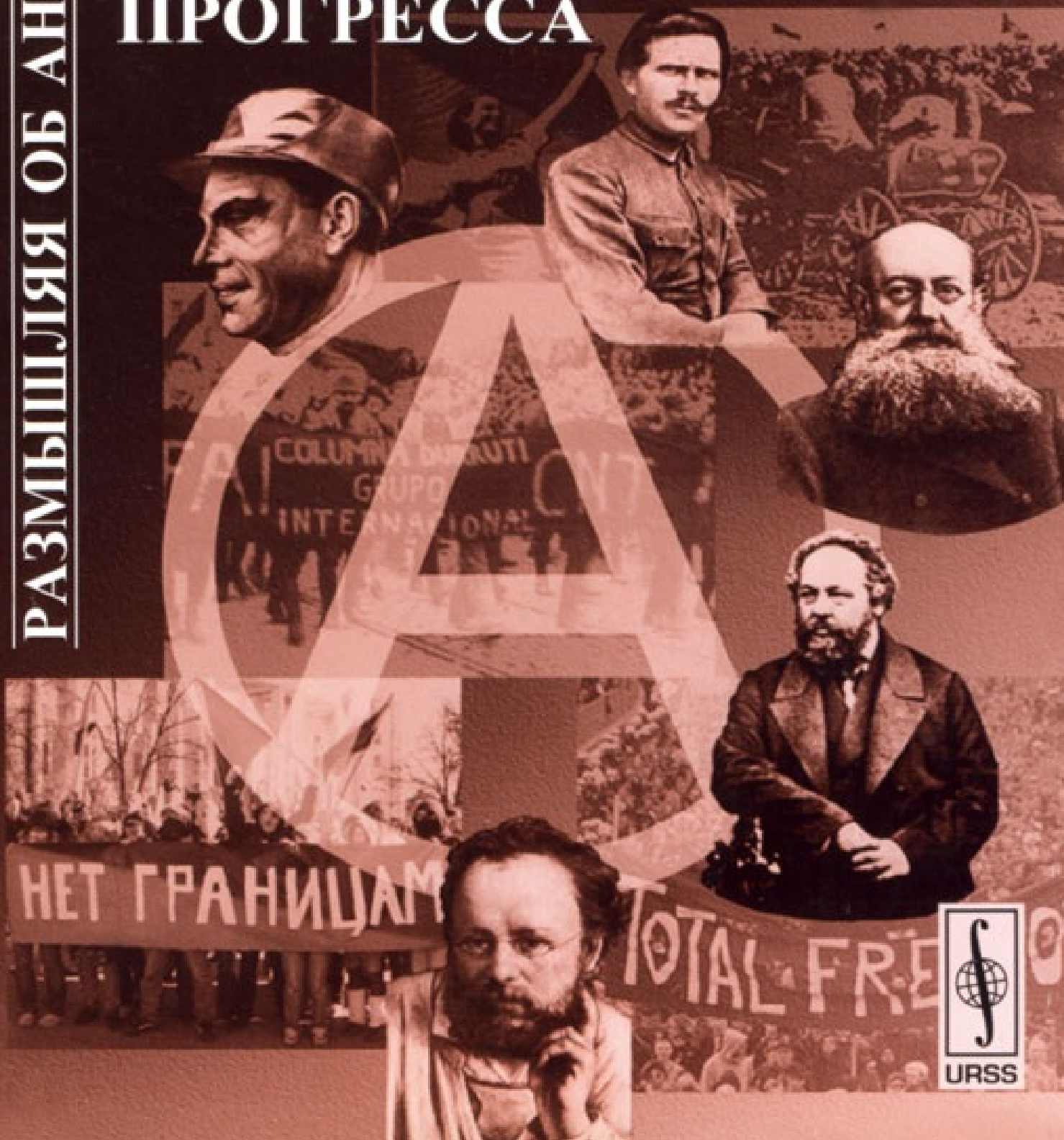




П. А. Кропоткин

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АНАРХИЗМЕ

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА



Annotation

Предлагаемая читателям книга, написанная выдающимся отечественным философом и общественным деятелем, теоретиком анархизма П. А. Кропоткиным, является одним из наиболее известных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля». Эта книга была (и до сих пор является) одной из важнейших работ, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи П. А. Кропоткин черпал как из биологии (жизнь мира животных), так и из своих исторических исследований, а также современной ему общественной жизни. При этом он писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. В наше время нередко можно услышать выводы ученых, близкие теории П. А. Кропоткина, что подчеркивает актуальность данного произведения и сейчас, в начале XXI столетия.

Настоящее издание осуществлено с наиболее полного варианта работы, включающего приложения и предисловия автора; это было последнее издание, которое П. А. Кропоткин подготовил к выходу в свет со всеми необходимыми правками.

Книга адресована философам, историкам, обществоведам, а также всем читателям, интересующимся наследием русской и мировой социалистической мысли.

-
- [П. А. Кропоткин](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Вступительная статья](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Предисловие к первому русскому изданию](#)
 - [Введение](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Заключение](#)
 - [Приложение 1](#)
 - [Приложение 2](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)

- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)

- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)

- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)

- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)

- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)

- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)

- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)

- [371](#)
 - [372](#)
 - [373](#)
 - [374](#)
 - [375](#)
 - [376](#)
 - [377](#)
 - [378](#)
 - [379](#)
 - [380](#)
 - [381](#)
 - [382](#)
 - [383](#)
 - [384](#)
 - [385](#)
 - [386](#)
 - [387](#)
-

П. А. Кропоткин

**Взаимная помощь среди животных и людей как
двигатель прогресса**

Предисловие

Петр Кропоткин и идеи взаимопомощи в двадцатом веке

Книга, которую Вы держите в руках, — наиболее полный вариант работы П. А. Кропоткина, последнее издание, которое автор успел подготовить к публикации со всеми необходимыми правками. Перевод с английского был сделан В. П. Батуриным под редакцией автора. Впервые книга Петра Кропоткина вышла в свет в далеком уже 1902 году. Это одно из наиболее известных и важных его произведений, наряду с такими книгами, как «Речи бунтовщика» и «Хлеб и воля», составляющих основу анархо-коммунистической теории — наиболее распространенного течения анархистской мысли.

Стоит сделать важное замечание, касающееся цельности теории анархистского коммунизма. Дело в том, что в работах Кропоткина некоторые проблемы, важные для повседневной жизни человека, оказались либо обойдены вниманием, либо затронуты лишь в слабой степени (в частности — проблема семьи и брака). По этой причине труды Петра Алексеевича лучше всего рассматривать не изолированно, но в совокупности с работами других теоретиков данного направления общественно-политической мысли, затронувших нерешённые им вопросы. Речь идет, в первую очередь, о книгах Жана Грва (1854–1939)^[1], Элизе Реклю (1830–1905)^[2], Александра Беркмана (1870–1936)^[3], Эррико Малатесты (1853–1932)^[4], Эммы Гольдман (1869–1940)^[5]. Даже при всей энциклопедичности познаний Петра Кропоткина, он был не в состоянии объять необъятное и рассмотреть все проблемные вопросы, связанные с теоретическими построениями безгосударственной общественной модели. Что же касается книги «Взаимопомощь», она была (и до сих пор является) одним из важнейших произведений, с научных позиций доказывающих состоятельность предлагаемой анархо-коммунистами программы социально-экономических преобразований.

Свои идеи Кропоткин черпал из животного мира и каждодневной общественной практики окружающих, а также из своих исторических исследований (в частности — изучения средневековых городских коммун в Западной Европе). Изучение практики взаимопомощи в животном мире он начал еще в 1860-е годы, находясь на службе в Сибири, в Амурском казачьем войске. Тогда же Кропоткин проводил геологические исследования, имевшие большое значение для развития теории о ледниковых периодах, на что особо обращает внимание один из его биографов Вячеслав Маркин, отмечая также фундаментальность его исследований идей взаимопомощи, находящих подтверждение в работах современных биологов^[6]. В 1868 году его избирают членом Русского географического общества. Уже после своего ареста (22 марта 1874 года) он заканчивает свой труд «Исследования о ледниковом периоде» в Петропавловской крепости. Все необходимое для работы было предоставлено ему по личному распоряжению императора Александра II.

На рубеже XIX — XX веков, когда Петр Кропоткин писал «Взаимную помощь», еще сильны были в ряде стран Европы, Азии и Латинской Америки общинные крестьянские традиции. Их влияние достаточно ярко проявилось в революциях 1900–1930-х годов. Вопреки ожиданиям традиционного марксизма революции в этот период начались не в странах с наиболее развитой промышленностью, а, напротив, в отсталых странах, таких как Мексика, Россия и Испания. Ленин в этом смысле не сильно отошел от прогнозов развития революционных процессов, данных в трудах К. Маркса. Ведь он предполагал, что революция начнется в России лишь в связи с тем, что данная страна является слабым звеном цепи в международной капиталистической системе. При этом единственным шансом для победы социализма в нашей стране он предполагал развитие революции в международном масштабе. До тех пор пока этого не произошло, задача российских социал-демократов заключалась в том, чтобы способствовать развитию буржуазно-демократических революционных тенденций в России. В 1917 — начале 1920-х годов он вёл речь уже о развитии здесь отношений государственного капитализма по образцу тех экономических порядков, которые были установлены в Германии в период Первой мировой войны. В России эти порядки стали известны под названием «военного коммунизма». Позже эта же тенденция проявилась в Испании 1930-х годов, когда ИККИ Коминтерна выдвинул тезис о неуместности и несвоевременности проведения в Испании социалистических преобразований. «Своевременной» же была признана задача развития здесь буржуазно-демократической и антифашистской революции.

В свою очередь анархо-коммунисты исходили из того, что коммунистическая революция возможна в любой стране, где получили развитие идеи и практика взаимопомощи и солидарности в обществе. Мюррей Букчин (1921–2006), американский эконоанархист, последователь П. А. Кропоткина, показал в ряде своих работ^[7], что как российская (1917–1921), так и испанская (1936–1939) революции имели в своей основе противоречие между сохранявшимися общинными традициями и проводимой индустриализацией, выталкивавшей массы сельского населения на работу на городских заводах и фабриках. Традиции общинной сельской жизни и труда противостояли развитию фабричной дисциплины. Нагляднее всего это проявилось в махновском движении на Украине и в испанских либертарных коммунах в Арагоне, Леванте, Каталонии, Андалусии, Кастилии, Новой Кастилии, Эстремадуре и др. Особенно характерно, что в Испании анархо-синдикалистские преобразования были наиболее радикальны в регионах, связанных с сельскохозяйственным производством (в первую очередь — в Арагоне). В промышленности же, по словам испанского анархо-синдикалиста и участника гражданской войны в Испании Гастона Леваля (1895–1978), был создан своеобразный «рабочий неокapитализм»^[8]. Да и сама практика радикального, революционного рабочего профсоюзного движения, частью которого был и является анархо-синдикализм, демонстрирует собой один из примеров общественной солидарности и взаимопомощи.

Во второй половине XX века под воздействием реалий экономических систем кейнсианского (в странах Запада) или государственного (в СССР и странах так называемого «социалистического лагеря») капитализма, общества потребления,

распространения массовой культуры в наиболее экономически развитых капиталистических странах человек оказался в значительной мере атомизирован. Последние остатки коллективистского сознания все активнее вытесняются крайним эгоизмом. На этом фоне идеи Петра Кропоткина о взаимопомощи как ведущем факторе эволюции могли бы показаться устаревшими и потерявшими какую бы то ни было актуальность, если бы не тот факт, что очаги «коллективности» продолжают существовать и в наше время. Наиболее характерным примером в этом смысле может быть феномен городских сообществ в Соединенных Штатах. Кроме того, в пользу теории Кропоткина говорит и развитие во второй половине двадцатого столетия (прежде всего в Западной Европе и Северной Америке) зеленого и альтерглобалистского движений. Интересный материал, подтверждающий состоятельность идей Петра Алексеевича Кропоткина, дают такие явления, как движение безземельных крестьян в Бразилии, сопротивление неолиберализму в Аргентине в начале 2000-х годов, сапатистское движение в Мексике. Все это наглядно показывает, что взаимопомощь и в наше время не миф, а вполне реальная повседневная общественная практика.

Стоит отметить и еще один немаловажный момент, а именно — феномен тоталитарных движений на примере сталинского СССР, фашистской Италии Муссолини и гитлеровской Германии. В этих странах в означенные периоды диктаторские режимы держались во многом за счет развития корпоративизма, своеобразной замены коллективистских отношений (своего рода — «негативного коллективизма»). Такая же ситуация характерна и для современных капиталистических государств, проявляясь в рамках институтов «социального партнерства». Конечно, это далеко не те идеалы, которые призывал воплощать в жизни Кропоткин. Однако и эти факты демонстрируют, насколько важными факторами общественной жизни даже в эпоху массовой атомизации являются взаимопомощь, коллективизм, общинность и солидарность; даже в условиях, когда государство и капитал стараются всеми силами их использовать в собственных интересах, стремясь нивелировать, нейтрализовать потенциальное общественное недовольство.

Кроме того, стоит отметить еще один примечательный момент, наглядно демонстрирующий влияние взаимопомощи в нашей повседневной жизни. Так, при тушении пожаров, охвативших территорию Российской Федерации летом 2010 года, активную роль в борьбе с огнём играли отряды добровольцев, создававшиеся по сетевому принципу через Интернет. Это была низовая инициатива, пусть и не имевшая массового характера. Как отмечает Александр Бабаев, координатор одного из борющихся с пожарами добровольческих отрядов, в интервью для сайта rabkor.ru, «у нашего общества есть будущее, пока существуют искренние люди, готовые жертвовать своим временем, комфортом, спокойствием для того, чтобы помочь решить общую проблему. Я надеюсь, что именно эти люди не позволят нашему обществу окончательно деградировать и развалиться. Пока есть люди, готовые пусть даже голыми руками бороться с общей бедой, общество живо»^[9].

Стоит помнить, что П. А. Кропоткин писал о взаимопомощи как о явлении, отнюдь не отрицающем конкурентные отношения. Показательно, что и здесь он противопоставлял «взаимопомощь внутривидовую» конкуренции, имеющей место

исключительно между *различными* видами животных, но не в рамках одного из них. И в наше время можно услышать выводы учёных, близкие теории Кропоткина. Весьма интересным с этой точки зрения представляется заявление группы ученых под руководством Сэма Брауна из Оксфордского университета о том, что «конкуренция между бактериями приводит к развитию болезней». Мы полагаем, что точно так же и общество, в котором прогрессирует развитие конкуренции под воздействием рыночных отношений, постепенно разлагается и гибнет, если в качестве «противоядия» не действует взаимопомощь и солидарность. В этом ключе стоит рассматривать статью эконосоциалиста Андре Горца (1923–2007) «Общественная идеология автомобилизации» (1973), в которой он рассматривает пагубные последствия развития массового потребительского общества на примере распространения частного автотранспорта.

И в начале XXI столетия книга Петра Кропоткина отнюдь не утратила своей актуальности. Изложенные в ней идеи и по сей день являются важной частью наследия радикальной социалистической мысли в целом и анархо-коммунистической в частности.

А. Ю. Федоров, 2010 г.

Вступительная статья

М. И. Гольдсмит^[10]

Из области научно-философских взглядов

П. А. Кропоткина^[11]

Был в жизни П. А. Кропоткина момент, когда он пожертвовал больше, чем блестящей карьерой, больше чем богатством, больше, чем всеми земными благами: пожертвовал своей будущностью учёного, пожертвовал сознательно, уже дав науке замечательные труды, уже испытав наслаждение научного творчества. Мысль, что он будет пользоваться этим счастьем избранных среди народа, лишённого всех радостей знания и умственного развития, была для него нестерпима. И вот он, уже пользовавшийся известностью как учёный, резко изменяет направление и вступает на путь революции.

Однако благодетельная фея, проведшая его через тысячу опасностей и давшая несмотря ни на что возможность развернуться его выдающейся личности, не допустила, чтобы его ум был потерян для науки. Впоследствии он смог и в разгар своей общественной деятельности следить за успехами человеческой мысли. И он не только следил за ними: его ум был слишком оригинальным для этого, слишком творческим. В современных ему научных исследованиях он сейчас же схватывал не только то, что само по себе было в них наиболее существенным, но и все те выводы, которые человеческий ум может сделать из них для блага человечества.

Кропоткин занимался очень разнообразными вопросами, повсюду внося свой живой и пронизательный ум, свою творческую мысль. «Взаимопомощь»^[12] выдвигает новый фактор эволюции, с которым естествознание должно отныне считаться. «Великая революция»^[13] показывает впервые роль народа, а не только вождей, в жизни этой великой эпохи, которая встаёт, таким образом, перед нами в совершенно новом свете. «Этика»^[14] отвечает на один из самых больных вопросов человеческой души: что такое нравственность и во имя чего она предъявляет ко мне те или иные требования? И чего не дал бы нам ещё этот неутомимый ум! Но нить оборвалась... И где те работники мысли, которые сумеют, хотя бы отчасти, продолжать начатое им?

Полное изложение научного наследия Кропоткина — задача очень обширная; когда-нибудь она будет выполнена. Здесь мы хотим указать на самые общие черты его и считаем такой, хотя бы и очень сжатый, очерк необходимым, потому что, говоря о Кропоткине, нужно всегда иметь в виду, что наряду с его большой любовью к людям в основе его мирозерцания лежит стройная научно-философская мысль.

Духовный сын эпохи напряжённой умственной борьбы, связанной с только что народившимся дарвинизмом, Кропоткин указывает на необходимость полного пересмотра, в соответствии с методами естествознания, всех методов исследования, принятых в общественных науках. И он не только предлагает это, а — как всегда —

и сам сейчас же подаёт пример, строя свои собственные взгляды на биологической основе.

Эта основа, во-первых, — то важное значение, которое он придаёт так наз. [ываемым. — *Прим. изд.*] конкретным наукам об обществе: истории, этнографии, изучению доисторического человека, истории религий и т. д., в противоположность абстрактной социологии, занимающейся исключительно общими теориями. Затем, это — приложение индуктивного метода к изучению общественных явлений. Наконец, это — система нравственности, построенная на данных положительной науки.

Когда понятие об эволюции проникло в ум и заполнило пропасть между человеком и остальным органическим миром, возник ряд новых наук (этнография, антропология, изучение доисторического быта и т. д.), составляющих в своей совокупности настоящую историю человека. Из них-то и черпал Кропоткин материал для своей «Взаимопомощи». Его проницательный ум сейчас же уловил значение, которое имеют для истории человечества бесчисленные новые факты, открытые в этой области, как и факты другого рода, относящиеся к жизни животных. И среди этих фактов его поразили один, самый крупный, самый выдающийся: это — громадная, всеобъемлющая роль взаимопомощи. Унаследованная от животного мира, где она является могучим средством, обеспечивающим сохранение вида в борьбе за существование, она сыграла, на заре жизни человека, роль решающего фактора: если б наш полуобезьяний предок не сделался животным общественным, он никогда не выработался бы в настоящего человека. Позднее, когда человечеству пришлось вырабатывать новые общественные формы, оно черпало из того же источника; прогресс заключался именно в том, что принципы взаимопомощи распространялись на всё более и более широкие человеческие группировки; в будущем они охватят всё человечество.

Во все исторические эпохи, говорит Кропоткин, две силы боролись в человеческих обществах: с одной стороны, народные движения, стремившиеся к большей свободе, к более широкой общественной солидарности; с другой — противоположная сила государства, которому выгодно было, наоборот, порвать между подданными все непосредственные связи, отдалить их друг от друга, превратить их в человеческую пыль, над которой государство безраздельно господствовало бы. Кропоткин показывает нам, как в действительности, в истории противоположны эти два явления, обычно смешиваемые в одно: общество и государство, они не только не выражают одно другое, но неминуемо должны вступить в борьбу. Анархист, борющийся против государства, вовсе не является, поэтому, тем антиобщественным существом, каким его обычно изображают: он, напротив, работает над укреплением настоящего общества, настоящей общественной связи. Природа общественной связи — это спорный вопрос, вокруг которого идёт борьба социологических школ — получает, таким образом, совершенно естественное объяснение: это наследие, завещанное человечеству всем его прошлым, это — естественная, биологическая потребность во взаимопомощи. Эта связь, которую государство всегда только ослабляло, этот общественный инстинкт сможет вполне развиться и проявить себя только в обществе, из которого будет изгнано всякое принуждение. Таким образом, на вопрос, который нам ставят:

«уничтожая государство и юридические формы, чем заменяете вы их и как вы обеспечиваете жизнь общества?» — у нас есть теперь готовый ответ: «общительностью, потребностью во взаимопомощи, т. е. научно-установленным биологическим фактором всякой общественной жизни, единственно реальным и противопоставляющимся всем метафизическим сущностям, которые нам хотят навязать как необходимые».

Распространяя на общественные науки другую основную черту современного мышления: исходить в изучении вещества из его мельчайших, неделимых частиц, Кропоткин приходит к мысли, что, изучая жизнь человечества, нужно начинать с основания, с личности. Она одна имеет реальное существование, тогда как общество, государство, право, закон — не больше, как отвлечённые понятия, созданные нашим умом для обозначения тех или иных отношений между личностями. Как таковые, они не могут иметь ни независимого существования, ни интересов, ни судеб, помимо интересов и судеб людей; в особенности же они не могут иметь никаких прав, которые превышали бы права личности, потому что никакое право не может принадлежать тому, что не существует. Общественные формы существуют благодаря существованию личностей и для них; история не проходит через головы людей, унося их в своём течении: она осуществляется только посредством их и прогресс идёт только благодаря им и создаваемым ими общественным формам.

Таким образом, в основе изучения общества лежит изучение личности, а это последнее относится к области психологии. Мысль, что психология — необходимая основа всякого социологического исследования, сравнительно нова. Основатель социологии Огюст Конт^[15] совершенно не считался с нею: в его классификации наук переход от биологии к социологии, от анатомического и физиологического изучения животного организма к изучению общества совершается непосредственно. Да иначе в эпоху Конта и не могла складываться научная мысль: психология была ещё слишком во власти умозрительной метафизики. Но с того времени наука пошла вперёд: родилась психология физиологическая, затем психология сравнительная. Промежуточное звено между социологией и биологией было найдено. Ум Кропоткина сейчас же уловил всё значение этого факта и сейчас же поставил вопрос о происхождении высших стремлений человека — общественных чувств, чувства солидарности.

Построение новой этики занимало Кропоткина издавна, начиная с первой его брошюры о «Нравственных началах анархизма»^[16] и до последних лет жизни. Это был его основной труд, который он надеялся закончить, но который всё разрастался и усложнялся, по мере того как новые научные работы приносили с собой новые данные. Кроме того, пропагандистская работа, требования минуты, сотрудничество в анархической печати всех стран часто отрывали Кропоткина от этой работы. Уже после его смерти был издан в России первый том «Этики» (критический обзор систем нравственности у различных философов); второй — в котором должна была заключаться оригинальная часть работы, изложение новой этики — остался, к величайшему сожалению, незаконченным. Но и того, что мы знаем из этого первого тома и из частичных работ, напечатанных раньше, достаточно, чтобы составить себе представление о философском и социологическом характере этого труда.

Первый вопрос в этой области: чего мы вправе ждать от научно-построенной этики, какова бы она ни была? Можем ли мы требовать от неё правил поведения, которым мы обязаны были бы повиноваться во имя принципа, стоящего выше наших собственных стремлений? Можем ли мы, другими словами, ожидать от науки кодекса нравственности? Очевидно, нет. Всё, что она может дать нам, это знание происхождения нравственного чувства, его роли в человеческой эволюции, условий, наиболее благоприятствовавших для удовлетворения человеческих потребностей. Затем уже наше дело — сообразовываться с этими указаниями; от этого будет зависеть только наше собственное счастье. Никакая другая обязательность не может вытекать из научного изучения нравственного чувства. У нас нет возможности подробно излагать здесь всю теорию нравственности Кропоткина, но мы приведём всё-таки одну небольшую выдержку, из его брошюры «Нравственные начала анархизма», хорошо показывающую, каким образом эта теория вытекает из биологических и социологических предпосылок: «Таким образом, каков бы ни был поступок человека, какой бы образ действия он ни избрал, он всегда поступает так, а не иначе, повинуюсь потребностям своей природы. Самый отвратительный поступок, как и самый прекрасный, или же самый безразличный поступок, одинаково являются следствием потребности в данную минуту... Не следует ли из этого, что поступки человека безразличны? Нисколько. Подобно тому что существует ли у нас хороший или дурной запах, хороший или дурной вкус, существуют для нас поступки возмутительные и поступки, вызывающие восхищение. Понятия о добре и зле существуют, таким образом, в человечестве. На какой бы низкой ступени умственного развития ни стоял человек, как бы ни были затуманены его мысли всякими предрассудками или соображениями о личной выгоде, он всё-таки считает добром то, что полезно обществу, в котором он живёт, и злом — то, что вредно этому обществу».

Но это ещё далеко не вся нравственность: это только минимум её, неразрывно связанный с понятием о справедливости, лежащим в основе нравственных понятий всех времён. Но люди способны на нечто большее, чем строгая справедливость: они способны давать другим больше, чем получают от них. Об этом свидетельствуют все акты самопожертвования. Здесь мы имеем дело с тем, что является истинной нравственностью, нравственностью будущего. Какова её психологическая природа, её естественный источник? В основе её лежит богатство психической жизни человека, его бьющая через край энергия, сознание своей собственной силы. Эта сила должна проявиться. Быть в состоянии действовать, это — быть обязанным действовать. И всё это нравственное «обязательство», о котором так много писали и говорили, очищенное от всякого мистицизма, сводится к этому простому и истинному понятию: жизнь может поддерживаться, лишь расточаясь. И чем больше человек расточает свои силы, тем энергичнее он «сеет жизнь вокруг себя», тем выше и шире его счастье: «Будь силён, будь велик, будь энергичен во всём, что бы ты ни делал... Борись, чтобы дать всем возможность жить этой жизнью, богатою, бьющею через край; и будь уверен, что ты найдёшь в этой борьбе такие великие радости, что равных ты им не встретишь ни в какой другой деятельности».

Эта нравственность будущего как нельзя более подходила Кропоткину, гармонировала с его личностью. Он был представителем, слишком рано пришедшим

на землю, этого будущего, в котором получают возможность развиваться лучшие, благороднейшие стороны человеческой природы. И своей жизнью он показал нам, как может человек расточать, не считая, для блага человечества, дары своего сердца и ума и свою энергию, ничего не прося себе взамен...

Предисловие

(к изданию 1922 г.)

Мои исследования о взаимной помощи среди животных и людей печаталась сперва в английском журнале «Nineteenth Century». Первые две статьи, об общительности у животных и о силе, приобретаемой общительными видами в борьбе за существование, были ответом на статью известного физиолога и дарвиниста Гёксли, появившуюся в «Nineteenth Century», в феврале 1888 г., — «Борьба за существование: программа», где он изображал жизнь животных, как отчаянную борьбу каждого против всех. После появления моих двух статей, где я опровергал это воззрение, издатель журнала, Джемс Ноульз, очень симпатично относившийся к моей работе, и прося продолжать ее, заметил мне: «Насчет животных вы, несомненно, доказали свое положение, но как теперь насчет первобытного человека?»

Это замечание очень меня порадовало, так как оно, несомненно, отражало мнение не только Ноульза, но и Герберта Спенсера, с которым Ноульз часто видался в Брайтоне, где они жили рядом. Признание Спенсером взаимопомощи и ее значения в борьбе за существование было очень важно. Что же касалось до его взглядов на первобытного человека, то известно было, что они сложились на основании ложных заключений о дикарях, делавшихся миссионерами и случайными путешественниками в восемнадцатом веке и начале девятнадцатого. Эти данные были собраны для Спенсера тремя его сотрудниками и изданы им самим, под заглавием «Данные Социологии», в восьми больших томах; и на основании их он писал свои «Основы Социологии».

На вопрос о человеке я ответил тоже в двух статьях, где после тщательного изучения богатой *современной* литературы о сложных учреждениях родового быта, в которых не могли разобраться первые путешественники и миссионеры, я описал эти учреждения у *дикарей и так называемых «варваров»*. Эта работа, и особенно ознакомление с сельской общиной в начале средних веков, когда она сыграла громадную роль в развитии вновь зарождавшейся цивилизации, привели меня к изучению следующей, еще более важной ступени в развитии Европы, — *средневекового вольного города и его ремесленных гильдий*. Указавши затем тлетворную роль военного государства, уничтожившего свободное развитие вольных городов, их искусства, ремесел, науки и торговли, я показал, в последней статье, как, не смотря на разложение вольных союзов и объединений государственною централизациею, эти союзы и объединения начинают теперь все больше и больше развиваться захватывать новые области. *Взаимная помощь в современном обществе* составила, таким образом, последнюю статью моей работы о взаимопомощи.

Издавая эти статьи отдельной книгой, я внес в них некоторые существенные дополнения, особенно в вопросе об отношении моих воззрений к дарвиновской борьбе за существование; а в Приложении я дал несколько новых фактов и разобрал некоторые вопросы, которые, для краткости, приходилось выпускать в журнальных

статьях.

Все западноевропейские, а также скандинавские и польский переводы делались, конечно, не со статей, а с книги, и потому содержали все добавления в тексте и Приложения. Из русских же переводов только один, вышедший в 1907 году в издательстве «Знание», был полный, и я, кроме того, внес в него, на основании новых работ, несколько новых Приложений, — частью о взаимной помощи среди животных и частью об общинном землевладении в Англии и Швейцарии. Прочие русские издания либо были сделаны со статей в английском журнале, а не с книги, и потому в них нет добавлений, сделанных мною в тексте, или же в них выпущены были Приложения. Предлагаемое теперь издание содержит полностью все добавления и Приложения, и я вновь пересмотрел весь текст и перевод.

П. К.,

Дмитров. Март 1920 г.

Предисловие к первому русскому изданию

Готовя к печати это русское издание моей книги, — первое, переведенное с книги «Mutual Aid: a Factor of Evolution», а не со статей, помещавшихся в английском журнале, — я тщательно пересмотрел весь текст, исправил мелкие погрешности и дополнил его, в Приложениях, на основании некоторых новых работ, — частью по отношению к взаимной помощи среди животных (Приложения III, V, VI и VIII), и частью относительно общинного землевладения в Швейцарии и в Англии (Приложения XVI и XVII).

П. К.,

Бромлей. Кент. Май 1907 г.

Введение

Две отличительные черты в животной жизни Восточной Сибири и Северной Манчжурии особенно поразили меня во время путешествий, совершенных мною в молодости в этих частях Восточной Азии. Меня поразила, с одной стороны, необыкновенная суровость борьбы за существование, которую большинству животных видов приходится вести здесь против безжалостной природы, а также вымирание громадного количества их особей, случающееся периодически в силу естественных причин, — вследствие чего получается необыкновенная скудость жизни и малонаселенность на площади обширных территорий, где я производил свои исследования.

Другой особенностью было то, что даже в тех немногих отдельных пунктах, где животная жизнь являлась в изобилии, я не находил, — хотя и тщательно искал ее следов, — той ожесточенной борьбы за средства существования *среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду*, которую большинство дарвинистов (хотя не всегда сам Дарвин) рассматривали, как преобладающую характерную черту борьбы за жизнь, и как главный фактор эволюции.

Ужасные метели, проносящиеся над северной частью Азии в конце зимы, и гололедица, часто следующая за метелью; морозы и бураны, которые каждый год возвращаются в первой половине мая, когда деревья уже в полном цвету, а жизнь насекомых уже в разгаре; ранние заморозки и, по временам, глубокие снега, выпадающие уже в июле и августе, даже в луговых степях Западной Сибири, и внезапно уничтожающие мириады насекомых, а также и вторые выводки птиц; проливные дожди — результат муссонов, выпадающие в августе в более умеренных областях Амура и Уссури, и продолжающиеся целые недели, вследствие чего в низменностях Амура и Сунгари происходят наводнения в таких размерах, какие известны только в Америке и в Восточной Азии, а на высоком плоскогорье обращаются в болота громаднейшие пространства, равные по размерам целым европейским государствам; и, наконец, глубокие снега, выпадающие иногда в начале октября, вследствие чего обширная территория, равная пространством Франции или Германии, делается совершенно необитаемой для жвачных животных, которые и гибнут тогда тысячами, — таковы условия, при которых идет борьба за жизнь среди животного мира в Северной Азии.

Эти тяжелые условия животной жизни тогда же обратили мое внимание на чрезвычайную важность в природе того разряда явлений, которые Дарвин называет «естественными ограничениями размножения», — по сравнению с борьбою за средства существования. Эта последняя, конечно, происходит, не только между различными видами, но и между особями одного и того же вида; но она никогда не достигает значения *природных препятствий размножению*. Недостаточность населения, а не избыток его — отличительная черта той громадной части земного шара, которую мы называем Северной Азией.

Вследствие этого уже с тех пор я начал питать серьезные сомнения, которые позднее лишь подтвердились, относительно той ужасной будто бы борьбы за пищу и жизнь, *в пределах одного и того же вида*, которая составляет настоящий символ

веры для большинства дарвинистов. Точно также начал я сомневаться и относительно господствующего влияния, которое этого рода борьба играет, по предположению дарвинистов, в развитии новых видов.

С другой стороны, где бы мне ни приходилось видеть изобильную кипучую животную жизнь, — как например, на озерах, весною, где десятки видов птиц и миллионы особей соединяются для вывода потомства, или же в многочисленных колониях грызунов, или во время перелета птиц, который совершался тогда в чисто американских размерах вдоль долины Уссури, или же во время одного громадного переселения косуль, которое мне пришлось наблюдать на Амуре, причем десятки тысяч этих умных животных убегали с огромной территории, спасаясь от выпавших глубоких снегов, и собирались большими стадами с целью пересечь Амур в наиболее узком месте, в Малом Хингане, — во всех этих сценах животной жизни, проходивших перед моими глазами, я видел взаимную помощь и взаимную поддержку, доведенные до таких размеров, что невольно приходилось задуматься над громадным значением, которое они должны иметь в экономии природы для поддержания существования каждого вида, его сохранения и его будущего развития.

Наконец, мне пришлось наблюдать среди полудикого рогатого скота и лошадей в Забайкалье, и повсеместно среди белок и диких животных вообще, что когда животным приходилось бороться с недостатком пищи, вследствие одной из вышеуказанных причин, то вся та часть данного вида, которую постигло это несчастье, выходит из выдержанного ею испытания с таким сильным ущербом энергии и здоровья, что *никакая прогрессивная эволюция видов не может быть основана на подобных периодах острой борьбы*.

Вследствие вышеуказанных причин, когда, позднее, внимание мое было привлечено к отношениям между Дарвинизмом и Социологией, я не мог согласиться ни с одной из многочисленных работ, так или иначе обсуждавших этот, чрезвычайно важный, вопрос. Все они пытались доказать, что человек, благодаря своему высшему разуму и познаниям, *может* смягчать остроту борьбы за жизнь между людьми; но в то же самое время все они признавали, что борьба за средства существования каждого отдельного животного против всех его сородичей, и каждого отдельного человека против всех людей, является «законом природы». С этим взглядом я, однако, не мог согласиться, так как убедился раньше, что признать безжалостную внутреннюю борьбу за существование в пределах каждого вида, и смотреть на такую войну, как на условие прогресса, — значило бы допустить и нечто такое, что не только еще не доказано, но и прямо-таки не подтверждается непосредственным наблюдением.

С другой стороны, познакомившись с лекцией «О законе Взаимопомощи», прочитанной, на съезде русских естествоиспытателей в январе 1880 года профессором Кесслером, бывшим деканом С.-Петербургского университета, я увидал, что она проливает новый свет на весь этот вопрос. По мнению Кесслера, помимо закона *Взаимной Борьбы*, в природе существует еще закон *Взаимной Помощи*, который для успешности борьбы за жизнь, и в особенности для прогрессивной эволюции видов играет гораздо более важную роль, чем закон *Взаимной Борьбы*. Это предположение, которое, в действительности, явилось лишь

дальнейшим развитием идей, высказанных самим Дарвином в его «Происхождении человека», казалось настолько правильным и имеющим такое громадное значение что, с тех пор, как я познакомился с ним (в 1883 году), я начал собирать материалы для дальнейшего развития этой идеи, которой Кесслер лишь слегка коснулся в своей речи и которой он не успел развить, так как умер в 1881 году.

Лишь в одном пункте я не мог вполне согласиться со взглядами Кесслера. Он упоминал о «родительских чувствах» и заботах о потомстве (см. ниже главу I), как об источнике взаимного расположения животных друг к другу. Но я думаю, что определение того, насколько эти два чувства действительно содействовали развитию общительных инстинктов среди животных и насколько другие инстинкты действовали в том же направлении, — составляет особый, очень сложный вопрос, на который мы теперь едва ли в состоянии ответить. Лишь после того, когда мы хорошо установим самые факты взаимопомощи среди различных классов животных и их важность для эволюции, сможем мы отделить, что принадлежит в эволюции общительных инстинктов родительским чувствам, и что — самой общительности; причем происхождения последней, очевидно, придется искать в самых ранних стадиях эволюции животного мира, — быть может, даже в «колониальных стадиях»^[17]. Вследствие этого, я обратил главное внимание на установку, прежде всего, важности Взаимной Помощи как фактора эволюции, оставляя дальнейшим исследователям задачу о происхождении инстинктов Взаимной Помощи в природе.

Важность фактора Взаимной Помощи, — «если только его общность может быть доказана», не ускользнула от внимания Гёте, в котором так ярко проявился гений естествоиспытателя. Когда Эккерман рассказал однажды Гёте — это было в 1827 году, — что два маленьких птенчика-королька, убежавшие от него, после того, как он подстрелил их мать, были найдены им на следующий день в гнезде реполовов, которые кормили птенчиков-корольков наравне со своими собственными, Гёте был очень взволнован этим сообщением. Он видел в нем подтверждение своих пантеистических взглядов на природу и сказал: «Если бы оказалось справедливым, что подобное кормление чужаков присуще всей природе, как нечто, имеющее характер общего закона, — тогда многие загадки были бы разрешены». Он возвратился к этому вопросу на следующий день и спрашивал Эккермана (он, как известно, был зоолог) заняться специальным изучением этого вопроса, прибавляя, что Эккерман, несомненно, сможет таким образом приобрести «драгоценные, неоцененные результаты» (Gespräche, издание 1848 года, Т. III, стр.219, 221). К несчастью, подобное изучение никогда не было предпринято, хотя весьма вероятно, что Брэм, собравший в своих работах такие богатые материалы относительно взаимопомощи среди животных, мог быть наведен на эту мысль вышеприведенным замечанием Гёте.

В течение 1872–1886 годов было напечатано несколько крупных работ относительно смысленности и умственной жизни животных (об этих работах упоминается в примечании к I главе настоящей книги), причем три из них имеют более близкое отношение к интересующему нас вопросу, а именно: «Les Sociétés animales» Эспинаса (Париж, 1877); «La lutte pour l'existence et l'association pour la lutte», лекция Ланессана (апрель 1881); и книга Луи Бюхнера, «Liebe und Liebes-

Leben in der Thierwelt», первое издание которой появилось в 1881 или 1882 году, а второе, значительно расширенное, в 1885. Но, несмотря на превосходные качества каждой из этих работ, они, тем не менее, оставляют широкое место для работы, в которой Взаимная Помощь рассматривалась бы не только в качестве аргумента в пользу до-человеческого происхождения нравственных инстинктов, но также, как закон природы и фактор эволюции.

Эспинас обратил внимание на такие общества животных (муравьев, пчел), которые основаны на физиологическом различии строения в различных членах того же вида и физиологическом разделении между ними труда; и хотя его работа дает превосходные указания во всевозможных направлениях, она все-таки была написана в такое время, когда развитие человеческих обществ не могло быть рассматриваемо так, как мы можем сделать это теперь, благодаря накопившемуся с тех пор запасу знаний. Лекция Ланессана скорее имеет характер блестяще изложенного общего плана работы, в которой взаимная поддержка рассматривалась бы, начиная со скал на море, а затем в мире растений животных и людей.

Что же касается до названной сейчас работы Бюхнера, то хотя она наводит на размышления о роли взаимопомощи в природе и богата фактами, я не могу согласиться с ее руководящей идеей. Книга начинается гимном Любви, и почти все ее примеры являются попыткой доказать существование любви и симпатии между животными. Но — свести общительность животных к любви и симпатии значит сузить ее всеобщность и ее значение, — точно так же, как людская этика, основанная на любви и личной симпатии, ведет лишь к сужению понятия о нравственном чувстве в целом. Я вовсе не руководюсь любовью к хозяину данного дома — весьма часто я даже его не знаю, — когда, увидав его дом в огне, я схватываю ведро с водой и бегу к его дому, хотя бы нисколько не боялся за свой. Мною руководит более широкое, хотя и более неопределенное чувство, вернее инстинкт, общечеловеческой солидарности, т. е. круговой поруки между всеми людьми, и общечеловеческой солидарности. То же самое наблюдается и среди животных. Не любовь, и даже не симпатия (понимаемые в истинном значении этих слов), побуждают стадо жвачных или лошадей образовать круг, с целью защиты от нападения волков; вовсе не любовь заставляет волков соединяться в своры для охоты; точно так же не любовь заставляет ягнят или котят предаваться играм, и не любовь сводит вместе осенние выводки птиц, которые проводят вместе целые дни и почти всю осень. Наконец, нельзя приписать ни любви, ни личной симпатии то обстоятельство, что многие тысячи косуль, разбросанных по территории, пространством равняющейся Франции, собирались в десятки отдельных стад, которые все направлялись к известному месту, с целью переплыть там Амур и перекочевать в более теплую часть Манчжурии.

Во всех этих случаях главную роль играет чувство несравненно более широкое, чем любовь или личная симпатия. Здесь выступает *инстинкт общительности*, который медленно развивался среди животных и людей в течение чрезвычайно долгого периода эволюции, с самых ранних ее стадий, и который научил в равной степени животных и людей сознавать ту силу, которую они приобретают, практикуя взаимную помощь и поддержку, а также сознавать удовольствия, которые можно найти в общественной жизни.

Важность этого различия будет легко оценена всяким, кто изучает психологию животных, а тем более — людскую этику. Любовь, симпатия и самопожертвование, конечно, играют громадную роль в прогрессивном развитии наших нравственных чувств. Но общество, в человечестве, зиждется вовсе не на любви и даже не на симпатии. Оно зиждется на сознании — хотя бы инстинктивном, — человеческой солидарности, взаимной зависимости людей. Оно зиждется на бессознательном или полуосознанном признании силы, заимствуемой каждым человеком из общей практики взаимопомощи; на тесной зависимости счастья каждой личности от счастья всех, и на чувстве справедливости, или равноправия, которое вынуждает личность рассматривать права каждого другого, как равные его собственным правам. Но этот вопрос выходит за пределы настоящего труда, и я ограничусь лишь указанием на мою лекцию «Справедливость и Нравственность», которая была ответом на «Этику» Гёксли и в которой я коснулся этого вопроса с большей подробностью^[18].

Вследствие всего сказанного, я думал, что книга о «Взаимной Помощи, как законе природы и факторе эволюции» могла бы заполнить очень важный пробел. Когда Гексли выпустил в 1888 году свой «манифест» о борьбе за существование («Struggle for Existence and its Bearing upon Man»), — который, с моей точки зрения, был совершенно неверным изображением явлений природы, как мы их видим в тайге и в степях, — я обратился к редактору «Nineteenth Century», прося его дать место на страницах редактируемого им журнала для обработанной критики взглядов одного из наиболее выдающихся дарвинистов; и м-р Джемс Ноульз (Knowles) отнесся к моему предложению с полной симпатией. Я также говорил по этому поводу с В. Бэтсом (Bates), — великим «Натуралистом на Амазонке», который собирал, как известно, материалы для Уоллэса и Дарвина, и которого Дарвин совершенно верно охарактеризовал в своей автобиографии как одного из умнейших [из] встреченных им людей. «Да, конечно, это истинный Дарвинизм! — воскликнул Бэтс, — Просто возмутительно, во что они обратили Дарвина. Пишите ваши статьи, и когда они будут напечатаны, я напишу вам письмо, которое вы сможете опубликовать». К несчастью, составление этих статей, заняло у меня почти семь лет, и когда последняя из них была напечатана, Бэтса уже не было в живых.

Рассмотрев важность Взаимной Помощи для преуспевания и развития различных классов животных, я, очевидно, обязан был обсудить важность того же фактора в развитии человека. Это было тем более необходимо, что имеются эволюционисты, готовые допустить важность Взаимной Помощи среди животных но, вместе с тем, подобно Герберту Спенсеру, отрицающие ее по отношению к человеку. Для первобытного дикаря, утверждают они, война каждого против всех была преобладающим законом жизни. Насколько это утверждение, которое чересчур охотно повторяют без надлежащей проверки со времен Гоббса, совпадает с тем, что нам известно относительно ранних ступеней человеческого развития, я постарался разобрать в настоящей книге, в главах, посвященных жизни дикарей и варваров.

Число и важность различных учреждений Взаимной Помощи, которые развились в человечестве, благодаря созидательному гению диких и полудиких масс, уже во время самого раннего периода родового быта, и еще более того впоследствии, в течение следующего периода деревенской общины, — а также

громадное влияние, которое эти ранние учреждения оказали на дальнейшее развитие человечества, вплоть до настоящего времени, побудили меня распространить область моих изысканий и на более поздние, исторические времена. В особенности я остановился на наиболее интересном периоде — средневековых свободных городов-республик, которых повсеместность и влияние на современную нашу цивилизацию до сих пор еще недостаточно оценены. Наконец, я попытался также указать вкратце на громадную важность, которую привычки взаимной поддержки, унаследованные человечеством за чрезвычайно долгий период его развития, играют даже теперь, в нашем современном обществе, хотя об нем думают и говорят, что оно покоится на принципе: «Каждый для себя, и Государство для всех», — принцип, которому человеческие общества никогда не следовали вполне, и который, полностью, никогда не будет приведен в осуществление.

Мне возразят, может быть, что в настоящей книге как люди, так и животные изображены с чересчур благоприятной точки зрения: что их общежительные качества чересчур выдвинуты вперед, в то время как их противообщественные наклонности и инстинкты самоутверждения едва отмечены. Но это, однако, было неизбежно. За последнее время мы столько наслышались о «суровой, безжалостной борьбе за жизнь», которая якобы ведется каждым животным против всех остальных, каждым «дикарем»; против всех остальных «дикарей», и каждым цивилизованным человеком против всех его сограждан, — причем подобные утверждения сделались своего рода догматом, религией образованного общества, — что было необходимо прежде всего противопоставить им обширный ряд фактов, рисующих жизнь животных и людей с совершенно другой стороны. Необходимо было показать сперва преобладающую роль, которую играют общительные привычки в жизни природы и в прогрессивной эволюции, как животных видов, так равно и человеческих существ.

Надо было доказать, что привычки взаимной поддержки дают животным лучшую охрану против их врагов, что они облегчают им добывание пищи (зимние запасы, переселения, кормление под охраной сторожей и т. п.), увеличивают продолжительность жизни, и, вследствие этого, — облегчают развитие умственных способностей; что они дали людям, помимо вышеуказанных, общих с животными, выгод, возможность выработать те учреждения, которые помогли человечеству выжить в суровой борьбе с природой и совершенствоваться, невзирая на все превратности истории. Я это и сделал. А потому, настоящая книга есть книга о законе Взаимопомощи, рассматриваемом, как одна из главных деятельных причин *прогрессивного развития*, а не исследование о всех факторах эволюции и их относительной ценности. Эту книгу надо было написать раньше, чем станет возможным исследование вопроса об относительном значении различных деятелей эволюции.

Я, конечно, менее всего склонен недооценивать роль, которую самоутверждение личности играло в развитии человечества. Но этот вопрос, по моему мнению, требует рассмотрения гораздо более глубокого, чем какое он встречал до сих пор. В истории человечества самоутверждение личности часто представляло, и продолжает представлять, нечто совершенно отличное и нечто более обширное и глубокое, чем та мелочная, неразумная умственная узость, которую большинство писателей выдает за «индивидуализм» и «самоутверждение». Равным образом, двигавшие

историю личности вовсе не сводились на одних тех, кого историки изображают нам в качестве героев. Вследствие этого я имею в виду, если удастся, подробно разобрать в последствии роль, которую сыграло самоутверждение личности в прогрессивном развитии человечества. Теперь же я ограничусь лишь следующим общим замечанием.

Когда учреждение Взаимопомощи — т. е. родовой строй, деревенская община, гильдия, средневековый город — начинали, в течение исторического процесса, терять свой первоначальный характер, когда в них начинали появляться паразитные, чуждые им, наросты, вследствие чего сами эти учреждения становились помехой прогрессу, тогда возмущение личностей против этих учреждений всегда принимало двоякий характер. Часть восстававших стремилась к очищению старых учреждений от чуждых им элементов, или к выработке высших форм свободного общежития, основанных, опять-таки, на началах Взаимной Помощи; они пытались, например, ввести в уголовное право начало «возмещения» (виры) на место закона кровавого возмездия, а позднее провозглашали «прощение обид», то есть, еще более высокий идеал равенства пред человеческою совестью, взамен «возмещения», которое платилось сообразно классовой ценности пострадавшего. Но, в то же самое время, другая часть тех же личностей, восстававших против закрепившегося строя, пыталась просто разрушить охранительные учреждения взаимной поддержки, с тем, чтобы на место их поставить свой собственный произвол, и таким образом увеличить свои собственные богатства и усилить свою собственную власть. В этой тройственной борьбе, — между двумя разрядами возмущившихся личностей и защитниками существующего, — и состоит вся истинная трагедия истории. Но для того чтобы изобразить эту борьбу и честно изучить роль, сыгранную в развитии человечества каждою из вышеуказанных трех сил, потребовалось бы, по меньшей мере столько же лет труда, сколько мне пришлось отдать на то, чтобы написать эту книгу.

Из работ, рассматривающих приблизительно тот же вопрос, но появившихся уже после появления моих статей о Взаимной Помощи среди животных, я должен упомянуть «The Lowell Lectures on the Ascent of Man», Генри Дрэммонда (Henri Drummond), Лондон, 1894 г. и «The Origin and Growth of the Moral Instinct», А. Сэдерланда (A. Suderland), Лондон, 1898 г. Обе книги построены в значительной степени по тому же плану, как вышеупомянутая книга Бюхнера; причем в книге Сэдерланда довольно подробно рассматриваются родительские и семейные чувства, в качестве единственного фактора в деле развития нравственных чувств. Третьей работой этого рода, относящейся к человеку и написанной по тому же плану, является книга американского профессора Ф. А. Гиддингса (Giddings), первое издание которой появилось в 1896 году, в Нью-Йорке и Лондоне, под заглавием: «The Principles of Sociology», и руководящие идеи которой были изложены автором в брошюре в 1894 году. Я должен, однако, предоставить вполне литературной критике разбор совпадений, сходства и расхождения между вышеуказанными работами и моей.

Все главы настоящей книги были напечатаны сначала в Nineteenth Century («Взаимопомощь среди животных», в сентябре и ноябре 1890 года; «Взаимопомощь среди дикарей», в апреле 1891 г.; «Взаимопомощь среди варваров», в январе 1892 г.;

«Взаимопомощь в средневековом городе», в августе и сентябре 1894 г.; и «Взаимопомощь в настоящее время», в январе и июне 1896 г.). Выпуская их в форме книги, я сначала думал включить, в виде приложения, массу собранных мною материалов, которыми я не мог воспользоваться для статей, появившихся в журнале, а также обсуждение различных второстепенных пунктов, которые пришлось опустить. Оказалось, однако, что подобные приложения удвоили бы размер книги, и я был принужден отказаться от издания их, или, по крайней мере, отложить его. В приложениях к настоящей книге включено обсуждение лишь немногих вопросов, составивших предмет научного спора в течение последних нескольких лет; равным образом в текст первоначальных статей мной введено было лишь немного прибавочного материала, который можно было ввести, не нарушая общего построения этой работы.

Пользуюсь настоящим случаем, чтобы выразить издателю «Nineteenth Century», James Knowles'у, мою благодарность за любезное гостеприимство, оказанное им настоящей работе, лишь только он ознакомился с ее общей идеей, а также и за его любезное разрешение перепечатать настоящий труд.

Бромлей. Кент. 1902 г.

Глава I

Взаимная помощь у животных

«Борьба за существование» Взаимная помощь — закон природы и главное условие прогрессивного развития • Беспозвоночные животные • Муравьи и пчелы • Птицы: их союзы для охоты и рыбной ловли • Их общительность • Взаимная охрана у мелких птиц • Журавли; попугаи

Понятие о борьбе за существование, как об условии прогрессивного развития, внесенное в науку Дарвином и Уоллесом, позволило нам охватить в одном обобщении громадную массу явлений; и это обобщение легло, с тех пор, в основу всех наших философских, биологических и общественных теорий. Несметное количество самых разнообразных фактов, которые мы прежде объясняли каждый своею причиною, было охвачено Дарвином в одно широкое обобщение. Приспособление живых существ к обитаемой ими среде, их прогрессивное развитие, анатомическое и физиологическое, умственный прогресс и даже нравственное совершенствование, — все эти явления стали представляться нам, как части одного общего процесса. Мы начали понимать их, как ряд непрерывных усилий, — как борьбу против различных неблагоприятных условий, ведущую к развитию таких личностей, рас, видов и обществ, которые представляли бы собою наибольшую полноту, наибольшее разнообразие и наибольшую интенсивность жизни.

Весьма возможно, что, в начале своих работ, Дарвин сам не сознавал всего значения и общности того явления — борьбы за существование, — к которому он обратился за объяснением одной группы фактов, а именно — накопление отклонений от первоначального типа и образования новых видов. Но он понимал, что выражение, которое он вводил в науку, утратило бы свой философский, точный смысл, если бы оно было понято исключительно в его узком смысле, как борьба между индивидуумами из-за средств существования. А потому, уже в самом начале своего великого исследования о происхождении видов, он настаивал на том, что «борьбу за существование» следует понимать «в ее широком и переносном (метафорическом) смысле, т. е. включая сюда зависимость одного живого существа от других, а также, — что гораздо важнее, — не только жизнь самого индивидуума, но и возможность для него оставить по себе потомство»^[19].

Таким образом, хотя сам Дарвин, для своей специальной цели и употреблял слова «борьба за существование» преимущественно в их узком смысле, он предупреждал, однако, своих последователей от ошибки (в которую, по-видимому, он сам, было, впал одно время) — от слишком узкого понимания этих слов. В своем последующем сочинении, «Происхождение Человека», он написал даже несколько прекрасных сильных страниц, чтобы выяснить истинный, широкий смысл этой борьбы. Он показал здесь, как в бесчисленных животных сообществах борьба за существование между отдельными членами этих сообществ *совершенно исчезает*, и,

как, вместо *борьбы*, является *содействие* (кооперация), ведущее к такому развитию умственных способностей и нравственных качеств, которое обеспечивает данному виду наилучшие шансы жизни и распространения. Он указал, таким образом, что в этих случаях «наиболее приспособленными» оказываются вовсе не те, кто физически сильнее или хитрее, или ловче других, а те, кто лучше умеет соединяться и поддерживать друг друга, как сильных так и слабых, — ради блага всего своего общества. «Те общества, — писал он, — которые содержат наибольшее количество сочувствующих друг другу членов, будут наиболее процветать, и оставлять по себе наибольшее количество потомства». (Второе английское издание, стр. 163.)

Выражение, заимствованное Дарвином из Мальтусовского представления о борьбе всех против каждого, потеряло, таким образом, свою узорность, когда оно переработалось в уме человека, глубоко понимавшего природу.

К несчастью, эти замечания Дарвина, которые могли бы стать основой самых плодотворных исследований, прошли незамеченными — из-за массы фактов, в которых выступала, или предполагалась, действительная борьба между индивидуумами из-за средств существования. При том же, Дарвин не подверг более строгому исследованию сравнительную важность и относительную распространенность двух форм «борьбы за жизнь» в животном мире: непосредственной борьбы отдельных особей между собою и общественной борьбы многих особей — сообща, и он не написал также сочинения, которое собирался написать, о *природных* препятствиях чрезмерному размножению животных, каковы засуха, наводнения, внезапные холода, повальные болезни и т. п.

Между тем, именно такое исследование и было необходимо, чтобы определить истинные размеры и значение в природе *единичной борьбы* за жизнь между членами одного и того же вида животных, по сравнению с *борьбой целым обществом* против природных препятствий и врагов из других видов. Мало того, в той же самой книге о происхождении человека, где он писал только что указанные места, опровергающие узкое мальтузианское понимание «борьбы», опять-таки пробивалась мальтусовская закваска, — например, там, где он задавался вопросом: следует ли поддерживать жизнь «слабых умом и телом» в наших цивилизованных обществах? (гл. V). Как будто бы тысячи «слабых телом», поэтов, ученых, изобретателей и реформаторов, а также так называемых «слабоумных энтузиастов», не бы ли самым сильным орудием человечества в его борьбе за жизнь, — борьбе умственными и нравственными средствами, значение которых сам Дарвин так прекрасно выставил в этих же главах своей книги.

Затем с теорией Дарвина случилось то же, что случается со всеми теориями, имеющими отношение к человеческой жизни. Его последователи не только не расширили ее, согласно с его указаниями, а напротив того, сузили ее еще более. И в то время, как Спенсер, работая независимо, но в сходном направлении, постарался до некоторой степени расширить исследование вопроса: «кто же оказывается лучше приспособленным?» (в особенности в приложении к третьему изданию «Data of Ethics»), многочисленные последователи Дарвина сузили понятие о борьбе за существование до самых тесных пределов. Они стали изображать мир животных, как мир непрерывной борьбы между вечно голодающими существами, жаждущими

каждое крови своих собратьев. Они наполнили современную литературу возгласами: «Горе побежденным!» и стали выдавать этот клич за последнее слово науки о жизни.

«Беспощадную» борьбу из-за личных выгод они возвели на высоту принципа, закона всей биологии, которому человек обязан подчиняться, — иначе он погибнет в этом мире, основанном на взаимном уничтожении. Оставляя в стороне экономистов, которые изо всей области естествознания обыкновенно знают лишь несколько ходячих фраз, и то заимствованных у второстепенных популяризаторов, мы должны признать, что даже наиболее авторитетные представители взглядов Дарвина употребляют все усилия для поддержания этих ложных идей. Если взять, например, Гёксли который, несомненно, считается одним из лучших представителей теории развития (эволюции), то мы видим, что в статье, озаглавленной «Борьба за существование и его отношение к человеку», он учит нас, что «с точки зрения моралиста животный мир находится на том же уровне, что борьба гладиаторов. Животных хорошо кормят и выпускают их на борьбу: в результате — лишь наиболее сильные, наиболее ловкие и наиболее хитрые выживают для того только, чтобы на следующий день тоже вступить в борьбу. Зрителю нет нужды даже, повернувши палец книзу, требовать, чтобы слабые были убиты: здесь и без того никому не бывает пощады».

В той же статье Гёксли дальше говорит, что среди животных, как и среди первобытных людей, «наиболее слабые и наиболее глупые обречены на гибель, в то время как выживают наиболее хитрые и те, кого труднее пронять, те, которые лучше сумели приспособиться к обстоятельствам, но вовсе не лучшие в других отношениях. Жизнь, говорит он, была постоянной всеобщей борьбой, и за исключением ограниченных и временных отношений в пределах семьи, Гоббсовская война каждого против всех была нормальным состоянием существования»^[20].

Насколько подобный взгляд на природу оправдывается действительно, видно будет из тех фактов, которые приведены в этой книге, как из мира животных, так и из жизни первобытного человека. Но мы теперь уже можем сказать, что взгляд Гёксли на природу имеет так же мало прав на признание его научным выводом, как и противоположный взгляд Руссо, который видел в природе лишь любовь, мир и гармонию, нарушенные появлением человека. Действительно, первая же прогулка в лесу, первое наблюдение над любым животным обществом, или даже ознакомление с любым серьезным трудом, где говорится о жизни животных *в еще густо не заселенных человеком материках* (напр., Д'Орбиньи, Одюбона, Ле Вальяна) должны заставить натуралиста задуматься над ролью, которую играет общественная жизнь в мире животных и предостеречь его как от понимания природы в виде всеобщего поля битвы, так и от противоположной крайности, видящей в природе одну гармонию и мир. Ошибка Руссо заключалась в том, что он совершенно упустил из виду борьбу, ведущуюся клювом и когтями, а Гёксли повинен в ошибке противоположного характера; но ни оптимизм Руссо, не пессимизм Гёксли не могут быть признаны беспристрастным научным истолкованием природы.

Едва только мы начинаем изучать животных — не в одних лишь лабораториях и музеях, но также и в лесу, в лугах, в степях и в горных странах, — как тотчас же мы замечаем, что хотя между различными видами, и в особенности между различными

классами животных, ведется в чрезвычайно обширных размерах борьба и истребление, — в то же самое время, в таких же, или даже в еще больших размерах, наблюдается взаимная поддержка, взаимная помощь и взаимная защита среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду, или, по крайней мере, к тому же сообществу. Общественность является таким же законом природы, как и взаимная борьба. Конечно, чрезвычайно затруднительно было бы определить, хотя бы приблизительно, относительное числовое значение обоих этих разрядов явлений. Но если прибегнуть к косвенной проверке, и спросить природу: «Кто же оказывается более приспособленными: те ли, кто постоянно ведет войну друг с другом, или же, напротив, те кто поддерживает друг друга?» — то мы тотчас увидим, что те животные, которые приобрели привычки взаимной помощи, оказываются, без всякого сомнения, наиболее приспособленными. У них больше шансов выжить, и единично, и как виду, они достигают в своих соответствующих классах (насекомых, птиц, млекопитающих), наивысшего развития ума и телесной организации. Если же принять во внимание бесчисленные факты, которые все говорят в поддержку этого взгляда, то с уверенностью можно сказать, что взаимная помощь представляет такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба. Более того. Как фактор эволюции, т. е., как условие развития вообще — она, по всей вероятности, имеет гораздо большее значение, чем взаимная борьба, потому что способствует развитию таких привычек и свойств, которые обеспечивают поддержание и дальнейшее развитие вида, при наибольшем благосостоянии и наслаждении жизнью для каждой отдельной особи, и в то же время, при наименьшей бесполезной растрате ею энергии, сил.

Насколько мне известно, из ученых последователей Дарвина первым, признавшим за взаимной помощью значение закона *природы и главного фактора эволюции*, был очень известный русский зоолог, бывший декан Петербургского Университета, профессор К. Ф. Кесслер. Он развил эту мысль в речи, произнесенной в январе 1880 года, за несколько месяцев до своей смерти, на съезде русских естествоиспытателей; но, подобно многим другим хорошим вещам, напечатанным лишь на одном только русском языке, эта замечательная речь осталась почти совершенно неизвестной^[21]. Как старый зоолог, говорил Кесслер, он чувствовал себя обязанным выразить протест против злоупотребления термином «борьба за существование» заимствованным из зоологии, или, по крайней мере, против чересчур преувеличенной оценке его значения. «Особенно в зоологии, — говорил он, — и в науках, посвященных разностороннему изучению человека, на каждом шагу указывают на жестокий закон борьбы за существование, и часто совершенно упускают из виду, что *есть другой закон, который можно назвать законом взаимной помощи*, и который, по крайней мере по отношению к животным, едва ли не важнее закона борьбы за существование»^[22]. Затем, Кесслер указывал на то, как потребность оставить после себя потомство неизбежно соединяет животных, и «чем теснее дружатся между собою неделимые известного вида, чем больше оказывают взаимной помощи друг другу, тем больше упрочивается существование вида, и тем больше получается шансов, что данный вид пойдет дальше в своем развитии и усовершенствуется, между прочим, также и в интеллектуальном отношении». «Взаимную помощь друг другу оказывают животные всех классов, особенно

высших», — продолжал Кесслер (стр. 131), и он подтверждал свою идею примерами, взятыми из жизни жуков-гробокопателей и из общественной жизни птиц и некоторых млекопитающих. Примеры эти были немногочисленны, как и следовало быть в краткой вступительной речи, но главные пункты были ясно установлены. Упомянув далее о том, что в развитии человечества взаимная помощь играла еще более значительную роль, Кесслер закончил свою речь следующими замечаниями: «Я ведь не отрицаю борьбы за существование, но только утверждаю, что прогрессивному развитию, как всего животного царства, так специально человечества, не столько содействует взаимная борьба, сколько взаимная помощь... Всем органическим телам присущи две коренные потребности, — потребность питания и потребность размножения. Потребность в питании ведет их к борьбе за существование и к взаимному истреблению друг друга, а потребность в размножении ведет их к сближению между собою и к взаимной помощи друг другу. Но на развитие органического мира, на преобразование одних форм в другие оказывает едва ли не более влияния сближение между неделимыми одного и того же вида, нежели борьба между ними»^[23].

Правильность вышеприведенных взглядов обратила на себя внимание большинства присутствовавших на съезде русских зоологов, и Н. А. Северцов, работы которого хорошо известны орнитологам и географам, поддержал их и пояснил на нескольких добавочных примерах. Он упомянул о некоторых видах соколов, которые одарены «почти идеальной организацией в целях нападения», но тем не менее вымирают, в то время как другие виды соколов, практикующие взаимопомощь, процветают. «С другой стороны, возьмите такую общительную птицу, как утка, — говорил он; — в общем она плохо организована, но она практикует взаимную поддержку, и, судя по ее бесчисленным видам и разновидностям, она положительно стремится распространиться по всему земному шару».

Готовность русских зоологов воспринять воззрения Кесслера объясняется весьма естественно тем, что почти все они имели случай изучать животный мир в обширных незаселенных областях Северной Азии или Восточной России, а изучение подобных областей неизбежно приводит к тем же выводам. Я помню впечатление, произведенное на меня животным миром Сибири, когда я исследовал Олекминско-Витимское нагорье, в сообществе с таким выдающимся зоологом, каким был мой друг Иван Семенович Поляков. Мы оба были под свежим впечатлением «Происхождения Видов» Дарвина, но тщетно искали того обостренного соперничества между животными одного и того же вида, к которому пригодило нас чтение работы Дарвина, — даже принявши во внимание замечания в III главе этой работы (стр. 54).

— Где же эта борьба? — спрашивал я его. Мы видели множество приспособлений для борьбы, очень часто борьбы общей, против неблагоприятных климатических условий, или против различных врагов, и И. С. Поляков написал несколько прекрасных страниц о взаимной зависимости хищных, жвачных и грызунов в их географическом распределении. С другой стороны, мы видели значительное количество фактов взаимной поддержки, в особенности во время переселений птиц и жвачных; но даже в Амурской и Уссурийской областях, где

животная жизнь отличается очень большим изобилием, факты действительного соперничества и борьбы между особями одного и того же вида среди высших животных мне пришлось наблюдать очень редко, хотя я и искал их. То же впечатление выносите и из трудов большинства русских зоологов, и это обстоятельство, может быть, объясняет, почему идеи Кесслера были так хорошо встречены русскими дарвинистами, тогда как подобные взгляды не в ходу среди последователей Дарвина в Западной Европе, знакомящихся с животным миром преимущественно в самой Западной Европе, где истребление животных человеком совершилось уже в таких размерах, что многие виды, некогда общественные, теперь живут уже в одиночку.

Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать борьбу за существование, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения, это — изобилие фактов взаимной помощи, практикуемой не только в целях воспитания потомства, как это признается большинством эволюционистов, но также и в целях безопасности особи и добывания ею необходимой пищи. Во многих обширных подразделениях животного царства взаимная помощь является общим правилом. Взаимная помощь встречается даже среди самых низших животных, и мы, вероятно, узнаем когда-нибудь от лиц, изучающих микроскопическую жизнь стоячих вод, о фактах бессознательной взаимной поддержки, даже среди мельчайших микроорганизмов.

Конечно, наши познания о жизни беспозвоночных, — за исключением термитов, муравьев и пчел, — чрезвычайно ограничены; но, несмотря на это, даже из жизни низших животных мы можем привести несколько фактов вполне удостоверенной взаимопомощи. Бесчисленные сообщества саранчи, бабочек — особенно ванесс — сверчков, жучков (цициндел) и т. д., в сущности, совершенно еще не исследованы; но уже самый факт их существования указывает на то, что они должны состояться приблизительно на таких же началах, как и временные сообщества муравьев и пчел для целей переселения (см. Приложение I в конце этой книги). Что же касается жуков, то известны вполне точно наблюдаемые факты взаимной помощи среди могильщиков (*Necrophorus*). Им нужен какой-нибудь разлагающийся органический материал для кладки в нем яиц и обеспечения их личинок пищей; но гниение подобного материала не должно происходить слишком быстро. Вследствие этого, жуки-могильщики закапывают в землю трупы всяких мелких животных, которые случайно попадают им во время их поисков. Вообще, жуки этой породы живут особняком; но, когда один из них находит труп мыши, или птицы, который он не может сам закопать, он созывает еще несколько других могильщиков (их сходится иногда до шести), чтобы совершить эту операцию соединенными силами. Если нужно, они переносят труп на более подходящую, мягкую почву. Вообще, закапывание производится чрезвычайно обдуманно и совершенно без спора относительно того, кому придется воспользоваться привилегией положить яички в закопанном трупе. И когда Гледич привязывал мертвую птицу к кресту, сделанному из двух палочек, или подвешивал лягушку к палке, воткнутой в землю, могильщики самым дружественным образом направляли усилия своих соединенных умов, чтобы преодолеть хитрость человека. То же самое сочетание усилий наблюдается и у навозных жуков.

Но даже среди животных, стоящих на несколько низшей ступени организации, мы можем найти подобные же примеры. Некоторые земноводные крабы Вест-Индии и Северной Америки соединяются громадными полчищами, когда направляются к морю для метания икры, причем каждое такое переселение непременно предполагает некоторое взаимное соглашение для совместного действия и взаимную поддержку. Что же касается больших Молуккских крабов (*Limulus*), то я был поражен, увидавши в 1882 году, в Брайтонском аквариуме, насколько эти неуклюжие животные способны оказывать друг другу помощь, когда она оказывается нужной одному из них. Так например, один из них перевернулся на спину в углу большого чана, где их содержат в аквариуме, и его тяжелый, похожий на большую кастрюлю, панцирь мешал ему принять обычную позу, тем более, что в этом углу была сделана железная перегородка, которая еще более затрудняла его попытки перевернуться. Тогда его сотоварищи поспешили к нему на помощь, и в течение целого часа я наблюдал, как они старались помочь своему товарищу по заключению. Сначала явились двое крабов, толкавших своего друга снизу, и после усердных усилий им удавалось поставить его ребром, но железная перегородка мешала им закончить дело, и краб снова тяжело валился на спину. После многих попыток один из спасителей отправился в глубину чана и привел с собой еще двух крабов, которые со свежими силами принялись снова поднимать и подталкивать своего беспомощного товарища. Мы пробыли в аквариуме более двух часов и, уходя, снова подошли заглянуть в чан: работа освобождения все еще продолжалась! После того, как я был свидетелем этого эпизода, я вполне верю наблюдению, упоминаемому Эразмом Дарвином, а именно, что «обыкновенный краб во время линяния ставит в качестве часовых не полинявших еще крабов, или же особей с отвердевшей уже скорлупой, дабы защищать полинявшие особи, в их незащитном состоянии, от нападений морских врагов»^[24].

Факты взаимопомощи у термитов, муравьев и пчел настолько хорошо известны, почти всякому читателю, в особенности благодаря популярным книгам Романеса, Бюхнера и Джона Лэббока, что я могу ограничиться весьма немногими указаниями^[25]. Если мы возьмем муравейник, то мы не только увидим, что всякого рода работа — воспитание потомства, фуражировка, постройка, воспитание куколок, выкармливание тлей и т. п. — выполняется согласно принципам добровольной взаимной помощи; но, вместе с Форелем, мы должны будем также признать, что главною, основною чертою жизни многих видов муравьев является тот факт, что каждый муравей делится и обязан делиться своей пищей, уже проглоченной и отчасти переваренной, с каждым членом общины, предъявляющим на нее требование. Два муравья, принадлежащие к двум различным видам или к двум враждебным муравейникам, будут, при случайной встрече, избегать друг друга. Но два муравья, принадлежащие к одному и тому же муравейнику или к одной и той же колонии муравейников, всегда подходят друг к другу, обмениваются несколькими движениями щупалец, и «если один из них голоден или чувствует жажду, и в особенности, если у другого в это время зобик полон, то первый немедленно просит пищи». Муравей, к которому таким образом обратились с просьбой, никогда не отказывает; он раздвигает свои челюсти и, придав телу надлежащее положение, отрывает каплю прозрачной жидкости, которая слизывается голодным муравьем.

Отрыгивание пищи для кормления других является такой важной чертой в жизни муравьев (на воле) и так постоянно применяется, как для кормления голодных товарищей, так и для выкармливания личинок, что, по мнению Фореля, пищеварительные органы муравьев состоят из двух различных частей: одна из них, задняя, предназначается для специального пользования самого индивидуума, а другая, передняя — главным образом на пользу общины. Если бы какой-нибудь муравей с полным зобиком оказался настолько себялюбивым, что отказал бы в пище товарищу, с ним поступили бы как с врагом, или даже хуже. Если бы отказ был сделан в такое время, когда его сородичи сражаются с каким-либо иным видом муравьев, или с чужим муравейником, они напали бы на своего жадного товарища с большим ожесточением, чем на самих врагов. Но если бы муравей не отказался накормить другого муравья, принадлежащего к вражескому муравейнику, то сородичи последнего стали бы обращаться с ним, как с другом. Все это подтверждено чрезвычайно точными наблюдениями и опытами, не оставляющими никакого сомнения ни в действительности самих фактов, ни в правильности их истолкования^[26].

Таким образом, в этом огромном отделе животного мира, который охватывает более тысячи видов и настолько многочислен, что Бразилия, по уверению бразильцев, принадлежит не людям, а муравьям, — совершенно отсутствует борьба и состязание из-за пищи между членами одного и того же муравейника, или колонии муравейников. Как бы ни были ужасны войны между различными видами муравьев и различными муравейниками, какие бы жестокости не совершались во время войны, взаимная помощь внутри общины и самоотречение на пользу общую обратились в привычку, а самопожертвование индивидуума для общего блага является общим правилом. Муравьи и термиты отреклись, таким образом, от «Гоббсовой войны» и только выиграли от этого. Их поразительные муравейники, их постройки, превосходящие по относительной высоте людские постройки; их мощные дороги и крытые галереи — между муравейниками; их обширные залы и зернохранилища; их хлебные поля, их жатвы и «соложение» ими зерна^[27]; удивительные «огороды» «зонтичного муравья», который объедает листья и удобряет кусочки земли катышками из пережеванных кусочков листа, причем в этих огородах растет только одна порода грибков, а все остальные уничтожаются; их рациональные методы вынянчивания яиц и личинок, общие всем муравьям, и построение специальных гнезд и загородей для выращивания тлей, которых Линней так живописно назвал «муравьиными коровами», и наконец, их храбрость, отважность и высокое умственное развитие — все это естественные результаты взаимной помощи, практикуемой ими на каждом шагу их деятельной и трудолюбивой жизни. Общительность муравьев привела также к развитию другой существенной черты их жизни, а именно, к огромному развитию личного почина, который, в свою очередь, содействовал развитию у муравьев таких высоких и разнообразных умственных способностей, что они вызывают восторг и удивление каждого наблюдателя^[28].

Если бы мы не знали никаких других фактов из жизни животных, кроме тех, которые известны о муравьях и термитах, мы могли бы уже с уверенностью заключить, что взаимная помощь (ведущая к взаимному доверию — первому

условию мужества), и индивидуальный почин (первое условие умственного прогресса) являются двумя условиями, несравненно более важными в эволюции мира животных, чем взаимная борьба. Действительно, муравьи процветают, хотя и не обладают ни одной из тех «защитительных» черт, без которых не может обойтись ни одно из животных, ведущих одинокую жизнь. Их окраска делает их очень заметными для их врагов, а высокие муравейники многих видов сразу обращают на себя внимание в лесах и на лугах. У муравья нет твердого панциря; а его жало, как бы ни было оно опасно, когда сотни жал вонзаются в тело животного, не имеет большой цены для целей индивидуальной защиты. В то же время личинки и куколки муравьев (так наз. муравьиные яйца) составляют лакомство для многих обитателей лесов.

Тем не менее плохо защищенные муравьи не подвергаются сильному истреблению птицами и даже муравьедами; и они внушают ужас насекомым, гораздо более сильным, чем они сами. Когда Форель опоражнивал мешок с муравьями на лугу, он видел, как «сверчки разбегались, оставляя свои норы на разграбление муравьям; пауки и жуки бросали свои жертвы, из боязни самим очутиться в положении жертвы», муравьи захватывали даже гнезда ос, после битвы, во время которой многие из них гибли для блага общины. Даже самые быстрые насекомые не успевали спастись, и Форелю часто приходилось видеть, как муравьи внезапно нападали и убивали бабочек, комаров, мух и т. д. Сила их заключается во взаимной поддержке и взаимном доверии. И если муравей, — не говоря о еще более развитых термитах, — стоит на самой вершине целого класса насекомых по своим умственным способностям; если по храбрости его можно приравнять к наиболее мужественным позвоночным, и его мозг, говоря словами Дарвина, «представляет один из самых чудесных атомов материи в мире — может быть, даже более удивительный, чем мозг человека» — то не обязан ли муравей всем этим тому, что взаимная помощь совершенно заменила взаимную борьбу в его общинах?

То же самое справедливо и относительно пчел. Эти маленькие насекомые, которым так легко было бы стать добычей многочисленных птиц, и мед которых привлекает все классы животных, начиная с жука и кончая медведем, также не имеют ни одной из защитительных особенностей в строении, или в области мимикрии^[29], без которых насекомые, живущие в одиночку, едва ли могли бы избежать полного истребления; но несмотря на это, вследствие практикуемой пчелами взаимной помощи, они, как известно, успели широко распространиться по земному шару, обладают поразительной смысленностью и выработали паразитические формы общежития.

Работая сообща, пчелы умножают в невероятных размерах свои личные силы; а прибегая ко временному разделению труда, — причем за каждой пчелой сохраняется способность исполнять, когда это понадобится, любого рода работу, — они достигают такой степени благосостояния и безопасности, какой нельзя ожидать ни у одного изолированного животного, как бы оно ни было сильно или хорошо вооружено. В своих сообществах пчелы часто превосходят человека, когда он пренебрегает выгодами обдуманной взаимной помощи. Так например, когда рой пчел готовится покинуть улей, чтобы основать новое сообщество, некоторое количество пчел предварительно исследует соседнюю местность, и, если им удастся

открыть удобное место для жилья — например, старую корзину, или что-нибудь в этом роде — они завладевают им, чистят его и охраняют, иногда в продолжение целой недели, пока рой не выроится и не осядет здесь, на выбранном месте. Между тем как людям сплошь да рядом приходилось погибать при переселениях в новые страны, потому только, что переселенцы не понимали необходимости объединения усилий! При помощи коллективного, сборного ума пчелы с успехом борются даже против неблагоприятных обстоятельств, иногда совершенно непредвиденных и необычных, как, напр., это случилось с пчелами на Парижской выставке, где они залепили пчелиным клеем (узой) ставню, закрывавшую окно, устроенное в стене их улья^[30]. Кроме того, они вовсе не отличаются кровопролитными наклонностями и любовью к бесполезным битвам, которыми многие писатели так охотно наделяют всех животных. Часовые, охраняющие вход в улей, безжалостно убивают всех пчел-грабительниц, стремящихся проникнуть к ним; но пчелы-чужаки, попадающие по ошибке, остаются нетронутыми, в особенности, если они прилетают обремененные запасом собранной цветочной пыли, или если это — молодые пчелы, которые могут легко сбиться с пути. Таким образом, военные действия сводятся к строго необходимым.

Общественность пчел тем более поучительна, что хищнические инстинкты и леность продолжают существовать среди них и вновь проявляются каждый раз, когда тому благоприятствуют обстоятельства. Известно, что всегда имеется некоторое количество пчел, которые предпочитают жизнь грабителей трудолюбивой жизни рабочего; причем в периоды скудости, как и в периоды необычайного изобилия пищи, число грабителей быстро возрастает. Когда жатва кончена и на наших полях и лугах остается мало материала для выводки меда, пчелы-грабительницы появляются в большом числе; с другой стороны, на сахарных плантациях Вест-Индии и на рафинадных заводах Европы грабеж, леность и очень часто пьянство становятся обычным явлением среди пчел. Мы видим, таким образом, что противообщественные инстинкты продолжают существовать среди пчел, но естественный подбор непрерывно должен уничтожать их, так как в конце концов практика взаимности оказывается более выгодной для вида, чем развитие особей, одаренных хищническими наклонностями. «Наиболее хитрые и наиболее бесцеремонные», о которых говорил Гёксли, уничтожаются, чтобы дать место особям, понимающим выгоды общительной жизни и взаимной поддержки.

Конечно, ни муравьи, ни пчелы, ни даже термиты не поднялись до понимания высшей солидарности, которая охватывала бы весь их вид. В этом отношении они, очевидно, не достигли той ступени развития, которой мы не находим даже среди политических, научных и религиозных руководителей человечества. Их общественные инстинкты почти не переходят за пределы муравейника или улья. Тем не менее, Форель описал колонии муравьев на Мон-Тандре и на горе Салеве, заключавшие в себе не менее двух сот муравейников, причем обитатели таких колоний принадлежали к двум различным видам (*Formica exsecta* и *F. pressilabris*). Форель утверждает при этом, что каждый член этих колоний узнает всех остальных членов, и что все они принимают участие в общей защите. Мак-Кук наблюдал в Пенсильвании целую нацию муравьев, состоявшую из 1600–1700 муравейников, живших в полном согласии; а Бэтс описал огромные пространства в Бразильских

«кампосах» (степях), покрытые холмиками термитов, причем некоторые муравейники служили убежищем для двух или трех различных видов, и большинство этих построек было соединено между собою сводчатыми галереями и крытыми аркадами^[31]. Таким образом, попытки объединения довольно обширных подразделов вида, для целей взаимной защиты и общественной жизни, встречаются даже среди беспозвоночных животных.

Переходя теперь к **высшим животным**, мы находим еще больше случаев несомненно сознательной взаимной помощи, практикуемой для всевозможных целей, — хотя, впрочем, мы должны заметить, что наши познания о жизни даже высших животных все еще отличаются большой недостаточностью. Множество фактов этого рода было описано самыми первоклассными зоологами, но тем не менее имеются целые отделы животного царства, о которых нам почти ничего не известно.

Особенно мало у нас достоверных сведений относительно рыб, отчасти вследствие затруднительности наблюдений, а отчасти вследствие того, что на этот предмет до сих пор не было обращено должного внимания. Что же касается до млекопитающих, то уже Кесслер заметил, как мало мы знакомы с их жизнью. Многие из них только по ночам выходят из своих логовиц; другие скрываются под землей; те же жвачные, которых общественная жизнь и переселение представляют глубочайший интерес, не дают человеку близко подойти к их стадам. Больше всего мы знаем о птицах; но все же общественная жизнь очень многих видов остается нам очень мало известной. Впрочем, в общем нечего жаловаться на недостаток хорошо установленных фактов, как это видно будет из нижеследующего. Отмечу только, что большая часть этих фактов собрана безусловно первоклассными зоологами, — основателями описательной зоологии, — на основании их собственных наблюдений, особенно в Америке, в ту пору, когда она была еще очень густо заселена млекопитающими и птицами. Замеченное ими громадное развитие взаимопомощи недавно наблюдалось также в Центральной Африке, еще слабо заселенной человеком.

Мне нет надобности останавливаться здесь на сообществах между самцом и самкою для воспитания их потомства для обеспечения его пищей на первых ступенях жизни и для совместной охоты. Следует только упомянуть, что подобные семейные ассоциации широко распространены даже у наименее общительных плотоядных животных и хищных птиц: причем их главный интерес состоит в том, что семейное общество представляет среду, в которой развиваются более нежные чувства, даже среди животных, чрезвычайно свирепых в других отношениях. Можно также прибавить, что редкость сообществ, выходящих за пределы семьи, у плотоядных животных и хищных птиц, — хотя в большинстве случаев она есть результат образа их питания, но, несомненно, представляет также, до известной степени, следствие тех перемен в животном мире, которые были вызваны быстрым размножением человечества. На это обстоятельство до сих пор еще мало обращали внимания, но мы знаем, что есть виды, которых особи живут совершенно одинокою жизнью в густонаселенных областях, в то время как те же самые виды, или их ближайшие сородичи, живут стадами в местностях, не обитаемых человеком. Для примера в этом отношении можно указать на волков, лисиц, медведей и некоторых

хищных птиц.

Впрочем, сообщества, не переходящие за пределы семьи, представляют для нас сравнительно малый интерес; тем более, что известно много других сообществ, гораздо более общего характера, как, например, ассоциации, составляемые многими животными для охоты, для взаимной защиты, или же просто для наслаждения жизнью. Одюбон уже указывал, что орлы иногда слетаются вместе, по несколько особей, и его рассказ о двух лысых орлах, самце и самке, охотившихся на Миссисипи, хорошо известен, как образец художественного описания^[32]. Но одно из наиболее убедительных наблюдений в этом направлении принадлежит Северцову.

Изучая фауну русских степей, он однажды увидел орла, принадлежащего к стайному виду (белохвост, *Haliaeetus albicilla*), поднимавшегося в высоту; в продолжение получаса орел молча описывал широкие круги, и вдруг внезапно раздался его пронзительный клекот. На этот крик вскоре ответил крик другого орла, подлетавшего к первому, за ним последовал третий, четвертый и т. д., пока не собралось девять или десять орлов, которые вскоре исчезли из виду. После полудня Северцов отправился к тому месту, куда, как он заметил, полетели орлы; укрываясь за одним из волнообразных возвышений степи, он приблизился к орлиной стае и увидел, что она собралась вокруг лошадиного трупа. Старые орлы, которые вообще кормятся первые, — таковы правила приличия в орлином обществе — уже сидели на соседних стогах сена, в качестве часовых, в то время как молодые продолжали кормиться, окруженные стаями ворон. Из этого и других подобных наблюдений Северцов вывел заключение, что белохвостые орлы соединяются между собою для охоты; поднявшись на большую высоту, они, если их будет, например, около десятка, могут осмотреть площадь, по крайней мере, около пятидесяти квадратных верст; причем, как только один из них открывает что-нибудь, он тотчас, сознательно или бессознательно, извещает об этом сотоварищей, которые слетаются и без ссор делят найденную пищу^[33].

Вообще Северцову приходилось несколько раз позже убеждаться в том, что белохвостые орлы всегда слетаются по нескольку на падаль, и что некоторые из них (в начале пиршества молодые) всегда выполняют роль часовых, в то время как другие едят. Действительно, белохвостые орлы — одни из самых храбрых и наилучших охотников — вообще стайная птица, и Брем говорит, что, попадая в неволю, они быстро привязываются к человеку (там же, стр. 499–501).

Общежительность является общей чертой для очень многих других хищных птиц. Бразильский гриф-сокол (каракара), один из самых «бесстыжих» грабителей, оказывается, тем не менее, чрезвычайно общительным. Его сообщества для охоты были описаны Дарвином и другими натуралистами, причем оказывается, что если он схватит чересчур крупную добычу, то созывает пять или шесть товарищей, чтобы унести ее. Вечером, когда эти коршуны, все время находящееся в движении, налетавшись за день, отправляются на покой и садятся на какое-нибудь одинокое дерево в степи, они всегда собираются небольшими стаями, причем к ним присоединяются перкноптеры, небольшие темнокрылые коршуны, похожие на ворону, — «их истинные друзья», говорит Д'Орбиньи^[34]. В Старом Свете, в Закаспийских степях, коршуны имеют, по наблюдениям Зарудного, ту же привычку

вить свои гнезда по несколько в одном месте. Общительный гриф (*Otogyps auricularis*) — одна из самых сильных пород коршунов, — получил самое свое название за любовь к обществу. Они живут огромными стаями, и в Африке попадаются горы, буквально покрытые, в каждом свободном местечке, их гнездами. Они положительно наслаждаются общественной жизнью, и собираются очень большими стаями для высоких полетов, составляющих своего рода спорт. «Они живут в большей дружбе, — говорит Ле-Вальян, и иногда в одной и той же пещере я находил до трех гнезд»^[35].

Коршуны урубу, в Бразилии, отличаются, пожалуй, еще большей общительностью, чем грачи, говорит Бэтс^[36]. Маленькие египетские коршуны (*Pernopterus stercorarius*) тоже живут в большой дружбе. Они играют стаями в воздухе, вместе проводят ночь, и утром гурьбою отправляются в поиски за пищей, причем между ними не бывает никаких, даже мелких, ссор: так свидетельствует Брем, имевший полную возможность наблюдать их жизнь. Красногорлый сокол также встречается многочисленными стаями в Бразильских лесах, а сокол пустельга (*Tinnunculus cenchris*), оставив Европу и достигнув зимой степей и лесов Азии, собирается в большие сообщества. В степях южной России он ведет (вернее, вел) такую общительную жизнь, что Нордман видал его в больших стаях, совместно с другими соколами (*Falco tinnuculus*, *F. æsulon* и *F. subbuteo*), которые собирались в ясные дни около четырех часов пополудни и наслаждались своими полетами до поздней ночи. Они обыкновенно летели все вместе, по совершенно прямой линии, вплоть до известной определенной точки, после чего немедленно возвращались по той же линии и затем снова повторяли тот же полет^[37].

Подобные полеты стаями, ради самого удовольствия полета, очень обыкновенны среди всякого рода птиц. Ч. Диксон сообщает, что в особенности по реке Эмбер (Humber) на болотистых равнинах, часто появляются в конце августа многочисленные стаи куликов (*Tringa alpina*, горный песочник, зовут также чернозобик) и остаются на зиму. Полеты этих птиц чрезвычайно интересны, так как, собравшись огромною стаею, они описывают в воздухе круги, затем рассеиваются, а затем снова собираются, проделывая этот маневр с аккуратностью хорошо обученных солдат. Среди них бывают рассеяны многие случайные песочники других видов, улиты и кулики^[38].

Перечислить здесь различные охотничьи сообщества птиц было бы просто невозможно: они представляют самое обыкновенное явление; но следует отметить по крайней мере рыбачьи сообщества пеликанов, в которых эти неуклюжие птицы проявляют замечательную организацию и смышленность. Они всегда отправляются на рыбную ловлю большими стаями и, выбрав подходящую губу, составляют широкий полукруг, лицом к берегу; мало-помалу полукруг этот стягивается, по мере того, как птицы подгребаются к берегу, и благодаря этому маневру вся рыба, попавшая в полукруг, вылавливается. На узких реках и на каналах пеликаны даже разделяются на две партии, из которых каждая составляет свой полукруг, и обе плывут навстречу друг к другу, совершенно так же, как если бы две партии людей шли навстречу друг к другу с двумя длинными неводами, чтобы захватить рыбу, попавшую между неводов. С наступлением ночи пеликаны улетают на свое обычное

место отдыха — всегда одно и то же для каждой отдельной стаи — и никто никогда не видал, чтобы между ними происходили драки из-за того или другого места рыбной ловли, или места отдыха. В южной Америке пеликаны собираются стаями до 40 000 и до 50 000 птиц, часть которых наслаждается сном, в то время как другие стоят на страже, а часть отправляется на рыбную ловлю^[39].

Наконец, я совершил бы большую несправедливость по отношению к нашему, столь оклеветанному домашнему воробью, если бы не упомянул о том, как охотно каждый из них делится всякой находимой им пищей с членами того общества, к которому он принадлежит. Этот факт был хорошо известен древним грекам, и до нас дошло предание о том, как греческий оратор воскликнул однажды (цитирую на память): «В то время как я говорил вам, прилетал воробей, чтобы сказать другим воробьям, что какой-то раб рассыпал мешок с зерном, и все они улетели подбирать зерно». Тем более приятно мне было найти подтверждение этого наблюдения древних в современной небольшой книге Гёрнея, который вполне убежден, что домашние воробьи всегда уведомляют друг друга, когда можно где-нибудь поживиться пищей. Он говорит: «Как бы далеко от двора фермы ни обмолачивался скирд хлеба — воробьи во дворе фермы всегда оказывались с зобами, набитыми зерном»^[40]. Правда, воробьи с чрезвычайной щепетильностью охраняют свои владения от вторжений чужаков; так например, воробьи Люксембургского сада в Париже жестоко нападают на всех других воробьев, которые пытаются, в свою очередь, воспользоваться садом и щедростью его посетителей; но внутри своих собственных общин или групп они чрезвычайно широко практикуют взаимную поддержку, хотя иногда дело и не обходится без ссор, — как это бывает, впрочем, даже между лучшими друзьями (см. Приложение III).

Охота группами и кормление стаями настолько обычны в мире птиц, что едва ли нужно приводить еще примеры: эти два явления следует рассматривать, как вполне установленный факт. Что же до силы, которую дают птицам подобные сообщества, то она вполне очевидна. Самые крупные хищники вынуждены бывают пасовать перед ассоциациями самых мелких птиц. Даже орлы — даже самый могучий и страшный орел-могильник или боевой орел, которые отличаются такой силой, что могут поднять в своих когтях зайца или молодую антилопу, — бывают принуждены оставлять свою добычу стаям коршунов, которые устраивают правильную охоту за ними, как только заметят, что одному из них попалась хорошая добыча. Коршуны также охотятся за быстрою скопою-рыболовом и отнимают у нее наловленную ею рыбу; но никому еще не приходилось наблюдать, чтобы коршуны дрались за обладание похищенной таким образом добычей. На острове Кергелене д-р Соуёс видел, как *Vurphagus* (из скворцового семейства, морская курочка промышленников) преследует чаек с целью заставить их отрыгнуть пищу; хотя, с другой стороны, чайки, в соединении с морскими ласточками, прогоняют морскую курочку, как только она приближается к их владениям, особенно во время гнездования^[41]. Маленькие, но очень быстрые чибисы (*Vanellus cristatus*) смело атакуют хищных птиц. «Атака чибисов на луня, сыча, или на высматривающих их яйца ворона или орла — поучительное зрелище. Чувствуется, что они уверены в победе, и видишь досаду хищника. В подобных случаях чибисы в совершенстве поддерживают друг друга, и храбрость каждого усиливается, чем больше бойцов

слетается на крик. Разбойника обыкновенно преследуют так, что он предпочитает бросить охоту, чтобы только отделаться от мучителей»^[42]. Чибис вполне заслужил прозвище «доброй матери», которое ему дали греки, так как он никогда не отказывается защищать других водяных птиц от нападений их врагов.

То же следует сказать и про маленькую обитательницу наших садов, белую трясогузку, или плиску (*Motacilla alba*), вся длина которой едва достигает восьми дюймов. Она заставляет даже воробьиного ястреба прекратить охоту. «Как только плиски увидят хищника, — писал Брем-отец, — они с громким криком преследуют его, предостерегают этим всех других птиц и заставляют таким образом многих ястребов отказаться от охоты. Я часто восхищался их мужеством и проворством, и твердо убежден, что один только самый быстрый, благородный сокол способен поймать трясогузку... Когда их стая заставит какого-нибудь хищника удалиться, они оглашают воздух торжествующим писком и затем разлетаются». (Брем, Т. III, стр. 950). В таких случаях они собираются с определенной целью, — погоняться за врагом, — совершенно так же, как мне приходилось наблюдать, что птичье население леса вдруг поднималось при известии о появлении в нем какой-нибудь ночной птицы и все — как хищные птицы, так и маленькие безобидные певуны — начинали гоняться за пришельцем и, в конце концов, принуждали его вернуться в свое убежище.

Какая громадная разница между силами коршуна, сарыча или ястреба, и таких маленьких пташек, как луговая трясогузка! А между тем эти маленькие птички, благодаря своим совместным действиям и храбрости одерживают верх над грабителями, которые обладают могучим полетом и превосходно вооружены для нападения! В Европе трясогузки не только гонятся за теми хищными птицами, которые могут быть опасны для них, но также и за ястребами рыболовами — «скорее для забавы, чем для нанесения им вреда», говорит Брем. В Индии, по свидетельству доктора Джердона, галки гонятся за коршунами (*Gowinda*) «просто для развлечения»; а Вид (*Wied*) говорит, что бразильского сарыча, *urubitinga*, часто окружают бесчисленные стаи туканов («насмешников») и кассиков (птица, находящаяся в близком родстве с нашими грачами) и издеваются над ним. «Сарыч, — прибавляет Вид, — обыкновенно относится к подобным надоеданиям очень спокойно; впрочем, от времени до времени, он-таки схватит одного из пристающих к нему насмешников». Мы видим, таким образом, во всех этих случаях (а таких примеров можно было бы привести десятки), как маленькие птицы, неизмеримо уступающие по силе хищнику, оказываются тем не менее сильнее его благодаря тому, что действуют сообща^[43].

Самых поразительных результатов, в смысле обеспечения личной безопасности, наслаждения жизнью и развития умственных способностей путем общественной жизни, достигли два больших семейства птиц, а именно, журавли и попугаи. Журавли чрезвычайно общительны и живут в превосходных отношениях, не только со своими сородичами, но и с большинством водяных птиц. Их осторожность не менее удивительна, чем их ум. Они сразу разбираются в новых условиях и действуют сообразно новым требованиям. Их часовые всегда находятся на страже, когда стая кормится или отдыхает, и охотники по опыту знают, как трудно к ним подобраться. Если человеку удастся захватить их где-нибудь врасплох, они

больше уже не возвращаются на это место, не выславши вперед, сперва — одного разведчика, а вслед за ним — партию разведчиков; и когда эта партия возвратится с известием, что опасности не предвидится, высылается вторая партия разведчиков, для проверки показания первых, прежде чем вся стая решится двинуться вперед. Со сродными видами журавли вступают в действительную дружбу, а в неволе нет другой птицы, — за исключением только не менее общительного и смышленного попугая, — которая вступала бы в такую действительную дружбу с человеком.

«Журавль видит в человеке не хозяина, а друга, и всячески старается выразить это», — говорит Брем, на основании личного опыта. С раннего утра до поздней ночи журавль находится в непрерывной деятельности; но он посвящает всего несколько часов утром на добывание пищи, главным образом растительной; остальное же время он отдает жизни в обществе. «Расшалившись, — пишет Брем, — журавль поднимает, приплясывая, камешки и кусочки дерева с земли, подбрасывает их на воздух, пытаясь поймать их; он выгибает шею, распускает крылья, пляшет, подпрыгивает, бегаёт и всячески выражает свое хорошее настроение, и всегда остается красивым и грациозным»^[44]. Так как он постоянно живет в обществе, то почти не имеет врагов, и хотя Брему приходилось иногда наблюдать, как одного из них случайно схватил крокодил, но за исключением крокодила, он не знал никаких других врагов у журавля. Осторожность журавля, вошедшая в поговорку, спасает его от всех врагов, и вообще он доживает до глубокой старости. Неудивительно поэтому, что для сохранения вида журавлю нет надобности воспитывать многочисленное потомство, и он обыкновенно кладет не более двух яиц. Что касается до высокого развития его ума, то достаточно сказать, что все наблюдатели единогласно признают, что умственные способности журавля сильно напоминают способности человека.

Другая чрезвычайно общительная птица, попугай, стоит, как известно, по развитию ее умственных способностей, во главе всего пернатого мира. Их образ жизни так превосходно описан Бремом, что мне достаточно будет привести нижеследующий отрывок, как лучшую характеристику: «Попугаи, — говорит он, — живут очень многочисленными обществами или стаями, за исключением периода спаривания. Они выбирают для стоянки место в лесу, откуда каждое утро отправляются на свои охотничьи экспедиции. Члены каждой стаи очень привязаны друг к другу и делят между собой и горе, и радость. Каждое утро они все вместе отправляются в поле, или в сад, или на какое-нибудь фруктовое дерево, чтобы кормиться там фруктами или плодами. Они расставляют часовых для охраны всей стаи и внимательно относятся к их предостережениям. В случае опасности все спешат улететь, оказывая поддержку друг другу, а вечером все в одно и то же время возвращаются на место отдохновения. Короче говоря, они всегда живут в тесном дружественном союзе».

Они также находят удовольствие в обществе других птиц. В Индии, — говорит Лайрд, — сойки и вороны слетаются из-за многих миль, чтобы провести ночь вместе с попугаями, в бамбуковых зарослях. Отправляясь на охоту, попугаи проявляют не только удивительную смышленность и осторожность, но и умнее соображаться с обстоятельствами. Так например, стая белых какаду в Австралии, прежде чем начать грабить хлебное поле, непременно сперва вышлет разведочную

партию, которая располагается на самых высоких деревьях по соседству с намеченным полем, тогда как другие разведчики садятся на промежуточные деревья, между полем и лесом, и передают сигналы. Если сигналы извещают, что «все в порядке», тогда десяток какаду отделяется от стаи, делает несколько кругов в воздухе и направляется к деревьям, ближайшим к полю. Эта вторая партия, в свою очередь, довольно долго осматривает окрестности и только после такого осмотра дает сигнал к общему передвижению, — после чего вся стая снимается сразу и быстро обирает поле. Австралийские колонисты с большим трудом преодолевают бдительность попугаев; но если человеку, при всей его хитрости и с его оружием, удастся убить несколько какаду, то они становятся после того настолько бдительными и осторожными, что уже расстраивают вслед за тем все ухищрения врагов^[45].

Нет никакого сомнения, что только благодаря общественному характеру их жизни, попугаи могли достичь того высокого развития смьшлености и чувств, почти доходящих до человеческого уровня, которое мы встречаем у них. Высокая их смьшленость побудила лучших натуралистов назвать некоторые виды — а именно серых попугаев, — «птицей-человеком». А что касается до их взаимной привязанности, то известно, что если один из их стаи бывает убит охотником, остальные начинают летать над трупом своего сотоварища с жалостными криками и «сами падают жертвами своей дружеской привязанности», — как писал Одюбон; а если два пленных попугая, хотя бы принадлежащих к двум разным видам, подружились между собою, и один из них случайно умирает, то другой также нередко погибает от тоски и горя по умершем друге^[46].

Не менее очевидно и то, что в своих сообществах попугаи находят несравненно большую защиту от врагов, чем они могли бы найти при самом идеальном развитии у них «клюва и когтей». Весьма немногие хищные птицы и млекопитающие осмеливаются нападать на попугаев, — и то только на мелкие породы, — и Брем совершенно прав, говоря о попугаях, что у них, как у журавлей и у общительных обезьян, едва ли имеются какие-либо иные враги, помимо человека; причем он прибавляет: «весьма вероятно, что большинство крупных попугаев умирает от старости, а не от когтей своих врагов. Один только человек, благодаря своему высшему разуму и вооружению, — которые также составляют результат его жизни обществами, — может до известной степени истреблять попугаев. Самая их долговечность оказывается, таким образом, результатом их общественной жизни. И, по всей вероятности, нужно то же сказать и относительно их поразительной памяти, развитию которой несомненно способствует жизнь обществами, а также долговечность, сопровождаемая полным сохранением как телесных, так и умственных способностей вплоть до глубокой старости».

Из всего вышеприведенного видно, что война всех против каждого вовсе не является преобладающим законом природы. Взаимная помощь — настолько же закон природы, как и взаимная борьба, и этот закон станет для нас еще очевиднее, когда мы рассмотрим некоторые другие сообщества птиц и общественную жизнь млекопитающих. Некоторые беглые указания на значение закона взаимной помощи в эволюции животного царства уже сделаны были на предыдущих страницах, но значение его выяснится с большею определенностью, когда, приведя несколько

фактов, мы сможем сделать на основании их наши заключения.

Глава II

Взаимная помощь у животных (Продолжение)

Перелет птиц Сообщества для гнездования • Осенние сообщества • Млекопитающие: малое число видов необщительных • Охотничьи сообщества волков и т. д. • Сообщества грызунов; обезьян • Взаимная помощь в борьбе за жизнь • Доводы Дарвина для доказательства борьбы за жизнь в пределах вида • Естественные препятствия чрезмерному размножению • Предполагаемое уничтожение промежуточных звеньев • Устранение соперничества в природе

Лишь только весна снова наступает в умеренном поясе, целые мириады птиц, рассеянных по теплым странам юга, собираются в бесчисленные стаи и, полные радостной энергии, спешат на север — выводить потомство. Каждая изгородь, каждая роща, каждая скала на берегах океана, каждое озеро или пруд, которыми усеяны Северная Америка, Северная Европа и Северная Азия, могли бы рассказать нам в эту пору года о том, что представляет собою взаимная помощь в жизни птиц; какую силу, какую энергию и сколько защиты она дает каждому живому существу, как бы слабо и беззащитно оно ни было само по себе.

Возьмите, например, одно из бесчисленных озер в русских или сибирских степях раннею весною. Берега его населены мириадами водяных птиц, принадлежащих, по меньшей мере, к двадцати различным видам, живущим в полном согласии и постоянно защищающим друг друга. Вот как Северцов описывает одно из таких озер: «Затемнело озеро между желто-рыжими песками и темно-зелеными талами и камышами... Оно кипит птицами. Голова кружится от этого вихря... Воздух наполнен чайками (*Larus rudibundus*) и крачками (*Sterna hirundo*), потрясаясь их звонким криком. Тысячи куликов снуют и посвистывают по берегу... далее, почти на каждой волне колышется, крикает утка. Высоко тянут стада казарок; ниже то и дело налетают на озеро подорлики (*Aquila clanga*) и болотные луни, немедленно преследуемые крикливой стаей рыбников... У меня глаза разбежались»^[47].

Везде жизнь бьет ключом. Но вот и хищники — «наиболее сильные и ловкие», как говорит Гёксли, «и идеально приспособленные для нападения», как говорит Северцов. И вы слышите их голодные, жадные, озлобленные крики, когда они, в продолжение целых часов, выжидают удобного случая, чтобы выхватить из этой массы живых существ хотя бы одну беззащитную особь. Но лишь только они приближаются, как об их появлении возвещают дюжины добровольных часовых, и сейчас же сотни чаек и морских ласточек начинают гонять хищника. Обезумев от голода, он, наконец отбрасывает обычные предосторожности: он внезапно бросается на живую массу птиц; но, атакованный со всех сторон, он снова бывает вынужден отступить. В порыве голодного отчаяния он набрасывается на диких уток; но смысленные общительные птицы быстро собираются в стаю и улетают, если хищник

оказался рыбным орлом; если это сокол, они ныряют в озеро; если же это коршун, они подымают облака водяной пыли и приводят хищника в полное замешательство [48]. И в то время, как жизнь по-прежнему кишмя кишит на озере, хищник улетает с гневными криками и ищет падали или какой-нибудь молоденькой птички или полевой мышки, которые еще не привыкли повиноваться вовремя предостережениям товарищей. В присутствии всей этой, потоками льющейся, жизни идеально вооруженному хищнику приходится довольствоваться одними отбросками жизни.

Еще далее к северу, в Арктических архипелагах, «вы можете плыть целые мили вдоль берега, и вы видите, что все выступы, все скалы и уголки горных склонов, на двести, а не то на пятьсот футов над морем, буквально покрыты морскими птицами, белые грудки которых выделяются на фоне темных скал, так что скалы кажутся как будто обрызганы мелом. Воздух, вблизи и вдали, переполнен птицами» [49].

Каждая из таких «птичьих гор» представляет живой пример взаимной помощи, а также бесконечного разнообразия характеров, личных и видовых, являющихся результатом общественной жизни. Так например, устричник (*Hæmatopus*) известен своей готовностью нападать на любую хищную птицу. Болотный куличок (*Limosa*) славится своей бдительностью и умением делаться вожаком более мирных птиц. Близкий предыдущей «переводчик» (то же камнешарка, *Strepsilas interpres*), когда он окружен товарищами, принадлежащими к более крупным видам, предоставляет им заботиться об охране всех и даже становится довольно боязливой птицей, но когда ему приходится быть окруженным мелкими пташками, он принимает на себя, в интересах сообщества, обязанность часового и заставляет себя слушаться, говорит Брэм.

Здесь можно наблюдать властолюбивых лебедей и наряду с ними — чрезвычайно общительных, даже нежных чаек киттивак (трехпалая *Rissa tridactyla*), между которыми, как говорит Науманн, ссоры случаются очень редко и всегда бывают кратковременны; вы видите привлекательных полярных кайр, постоянно расточающих ласки друг другу; эгоисток-гусынь, отдающих на произвол судьбы сирот, оставшихся после убитой подруги, и рядом с ними — других гусынь, которые подобрали таких сирот и плавают, окруженные 50-60-ю малышами, о которых они заботятся, как будто все они были их родными детьми. Наряду с пингвинами, ворующими друг у друга яйца, вы увидите пыжиков (то же полярная кайра, *Uria brænniechii*), семейные отношения которых так «очаровательны и трогательны», что даже страстные охотники не решаются стрелять в самку пыжика, окруженную выводком, или гагок, среди которых (подобно бархатным уткам, или *sogo yas* саванн) несколько самок высидивают яйца в одном и том же гнезде; или обыкновенных кайр (*Uria troile*), которые — так утверждают достойные доверия наблюдатели — иногда поочередно сидят над общим выводком. Природа — само разнообразие, и она представляет всевозможные оттенки характеров, до самых возвышенных; потому-то природу нельзя и изобразить одним каким-нибудь широковещательным утверждением. Еще менее можно судить о ней с точки зрения моралиста, так как взгляды моралиста сами являются результатом — большею частью бессознательным, — наблюдений над природой (см. Приложение III).

Привычка собираться вместе в период гнездования настолько обыкновенна у большинства птиц, что едва ли надо приводить дальнейшие примеры. Вершины наших деревьев увенчаны группами гнезд грачей; живые изгороди полны гнезд мелких пташек; на фермах гнездятся колонии ласточек; в старых башнях и колокольнях укрываются сотни ночных птиц; и легко было бы наполнить целые страницы самыми очаровательными описаниями мира и гармонии, встречаемых почти во всех этих птичьих сообществах для гнездования. А насколько такие сообщества служат защитой для самых слабых птиц, само собою очевидно. Такой превосходный наблюдатель, как американский д-р Couës, видел, например, как маленькие ласточки (*Cliff swallows*) устраивали свои гнезда в непосредственном соседстве со степным соколом (*Falco polyargus*). Сокол свил свое гнездо на верхушке одного из тех глиняных минаретов, которых так много в каньонах Колорадо, а колония ласточек жила непосредственно ниже его. Маленькие миролюбивые птички не боялись своего хищного соседа: они просто не позволяли ему приближаться к своей колонии. Если он это делал, они немедленно окружали его и начинали гонять, так что хищнику приходилось тотчас же удалиться^[50].

Жизнь сообществами не прекращается и тогда, когда закончено время гнездования; она только принимает новую форму. Молодые выводки собираются осенью в сообщества молодежи, в которые обыкновенно входит по несколько видов. Общественная жизнь практикуется в это время главным образом ради доставляемого ею удовольствия, а также, отчасти, ради безопасности. Так, мы находим осенью в наших лесах сообщества, составленные из молодых кедровок (*Sitta coesia*), вместе с разными синицами, древолазами, королями, вьюрками и дятлами^[51]. В Испании ласточки встречаются в компании с пустельгами, мухоловками и даже голубями.

На американском Дальнем Западе молодые хохлатые жаворонки (*Horned lark*) живут в больших сообществах, совместно с другим видом полевых жаворонков (*Sparrow lark*) с воробьем саванн (*Savannah sparrow*) и некоторыми видами овсянок и подорожников^[52]. В сущности, гораздо легче было бы описать все виды, ведущие изолированную жизнь, чем поименовать те виды, которых молодежь составляет осенние сообщества, вовсе не в целях охоты и гнездования, а лишь только для того, чтобы наслаждаться жизнью в обществе и проводить время в играх и спорте, после тех немногих часов, которые им приходится отдавать на поиски за кормом.

Наконец, мы имеем перед собою еще одну громаднейшую область взаимопомощи у птиц, во время их перелета, и она до того обширна, что я могу только в немногих словах напомнить этот великий факт природы. Достаточно сказать, что птицы, жившие до тех пор целые месяцы маленькими стаями, рассыпанными на обширном пространстве, начинают собираться весной или осенью тысячами; несколько дней подряд, иногда неделю и более, они слетаются в определенное место, прежде чем пуститься в путь, и оживленно щебечут, вероятно, о предстоящем перелете. Некоторые виды каждый день, под вечер, упражняются в подготовительных полетах, готовясь к дальнему путешествию. Все они поджидают своих запоздавших сородичей, и, наконец, все вместе исчезают в один прекрасный день, т. е. улетают в известном, всегда хорошо выбранном, направлении,

представляющем, несомненно, плод накопленного коллективного опыта. При этом самые сильные особи летят во главе стаи, сменяясь поочередно для выполнения этой трудной обязанности. Таким образом птицы перелетают даже широкие моря большими стаями, состоящими как из крупных, так и из мелких птиц; и когда на следующую весну они возвращаются в ту же местность, каждая птица направляется в то же, хорошо знакомое место, и в большинстве случаев даже каждая пара занимает то же гнездо, которое она чинила или строила в предыдущем году^[53].

Это явление перелета настолько распространено, и в то же время так недостаточно изучено; оно создало столько поразительных привычек взаимопомощи, причем как эти привычки, так и сам факт переселений требовали бы специальной разработки, что я вынужден воздержаться от дальнейших подробностей. Я упомяну только о многочисленных и оживленных собраниях птиц, которые происходят из года в год на том же самом месте, прежде чем они начнут свое далекое путешествие на север, или на юг; а равным образом о тех собраниях, которые можно видеть на севере, — например, при устьях Енисея, или же в северных графствах Англии, — когда птицы прилетают с юга в свои обычные места гнездования, но еще не засели в свои гнезда. В течение многих дней, иногда даже целый месяц, они собираются каждое утро и проводят вместе около часа, прежде чем разлететься на поиски за пищей, — быть может, обсуждая места, где они собираются вить свои гнезда^[54]. И если, во время перелета, случится, что колонны переселяющихся птиц захватит буря, то это общее горе объединяет птиц самых различных видов. Разнообразие птиц, которые, будучи захвачены метелью во время перелета, бьются о стекла маяков Англии, просто поразительно. Нужно также заметить, что птицы не перелетные, но медленно передвигающиеся к северу или югу соответственно временам года, т. е. так называемые бродячие птицы, тоже совершают свои передвижения небольшими стаями. Они переселяются не в одиночку, чтобы таким образом обеспечить себе, каждая порознь, лучший корм и найти лучшее убежище в новой области, но всегда поджидают друг друга и собираются в стаи, прежде чем начать свою медленную перекочевку к северу или к югу^[55].

Переходя теперь к **млекопитающим**, первое, что поражает нас в этом обширном классе животных, — это громаднейшее численное преобладание общительных видов над теми немногими хищниками, которые живут особняком. Платогорья, горные страны, степи и низменности Старого и Нового Света буквально кишат стадами оленей, антилоп, газелей, буйволов, диких коз и диких овец, т. е. все животными общественными. Когда европейцы начали проникать в прерии Северной Америки, они нашли их до того густо заселенных буйволами, что пионерам приходилось иногда останавливаться, и надолго, когда колонна переселяющихся буйволов пересекала их путь; такое шествие буйволов густою колонною продолжалось иногда два и три дня; а когда русские заняли Сибирь, они нашли в ней такое огромное количество оленей, антилоп, косуль, белок и других общительных животных, что самое завоевание Сибири было не что иное, как охотничья экспедиция, растянувшаяся на два столетия. Травянистые же степи Восточной Африки до сих пор переполнены стадами зебр и разнообразных видов антилоп (см. Приложение VI).

Вплоть до очень недавнего времени мелкие реки Северной Америки и Северной Сибири были еще заселены колониями бобров, а Европейской России, вся северная ее часть, еще в XVII веке была покрыта подобными же колониями. Луговые равнины четырех великих материков до сих пор еще густо заселены бесчисленными колониями кротов, мышей, сурков, тарбаганов, «земляных белок» и других грызунов. В более низких широтах Азии и Африки леса по сию пору являются жилищем многочисленных семей слонов, носорогов, гиппопотамов и бесчисленных сообществ обезьян. На дальнем Севере олени собираются в бесчисленные стада, а еще дальше на север мы находим стада мускусных быков и неисчислимыя сообщества песцов. Берега океана оживлены стадами тюленей и моржей, а его воды — стадами общительных животных, принадлежащих к семейству китов; наконец, даже в пустынях высокого плоскогорья Центральной Азии мы находим стада диких лошадей, диких ослов, диких верблюдов и диких овец. Все эти млекопитающие живут сообществами и племенами, насчитывающими иногда сотни тысяч особей, хотя теперь, после трех веков цивилизации, пользовавшейся порохом, уцелели лишь жалкие остатки тех неисчислимыя сообществ животных, которые существовали в былые времена.

Как ничтожно, по сравнению с ними, число хищников! И как ошибочна вследствие этого точка зрения тех, кто говорит о животном мире, точно он весь состоит из одних только львов и гиен, запускающих окровавленные клыки в свою добычу! Это все равно, как если бы мы стали утверждать, что вся жизнь человечества сводится на одни войны и избиения.

Сообщества и взаимная помощь являются правилом у млекопитающих. Привычка к общественной жизни встречается даже у хищников, и во всем этом обширном классе животных мы можем назвать только одно семейство, кошачьих (львы, тигры, леопарды и т. д.), которого члены действительно предпочитают одинокую жизнь общественной и только изредка встречаются — теперь, по крайней мере, небольшими группами. Впрочем, даже среди львов «самое обыкновенное дело — охотиться группами», говорит известный охотник и знаток С. Бэкер^[56]. Недавно же Н. Шиллингс, охотившийся в экваториальной восточной Африке, даже снял фотографию — ночью, при внезапной вспышке магниевых свечей — со львов, собиравшихся группой в три взрослых особи и охотившихся сообща; утром же он насчитывал у реки, к которой во время засухи стекались ночью на водопой стада зебр, следы еще большего количества львов — до тридцати, — приходивших охотиться за зебрами, причем, конечно, никогда, за много лет, ни Шиллингс, ни кто-либо другой не слышал, чтобы львы дрались или ссорились из-за добычи^[57]. Что же касается до леопардов и особенно до южноамериканской пумы (род небольшого льва), то их общительность хорошо известна. Пума, вследствие этого, как описал это Хадсон (Hudson), охотно дружит даже с человеком.

В семействе Вивер (виверы, циветы и т. д.) — хищников, представляющих нечто среднее между кошками и куницами, и в семействе Куниц (куница, горностаи, ласка, хорек, барсук и др.) также преобладает одинокий образ жизни. Но можно считать вполне установленным, что, не дальше как в конце восемнадцатого века обыкновенная ласка (*Mustela vulgaris*) была более общительна, чем теперь; она встречалась тогда в Шотландии, а также в Унтервальденском кантоне Швейцарии

более многочисленными группами^[58].

Что касается до обширного семейства собак (собаки, волк, шакал, лисица, песец), то их общительность и их сообщества в целях охоты можно рассматривать как характерную черту для многочисленных видов этого семейства. Всем известно, как волки собираются стаями для охоты, и исследователь природы Альп, Чуди, оставил превосходное описание того, как расположившись полукругом, они окружают корову, пасущуюся на горном склоне, а потом, выскочивши внезапно с громким лаем, заставляют ее свалиться в пропасть^[59]. Одубон, в тридцатых годах прошлого столетия, также видел, как Лабрадорские волки охотились стаями, причем одна стая гналась за человеком вплоть до его хижины и разорвала его собак. В суровые зимы стаи волков делаются настолько многочисленными, что они становятся опасными для людских поселений, как это было во Франции в сороковых годах. В русских степях волки никогда не нападают на лошадей, иначе как стаями, причем им приходится выдерживать ожесточенную борьбу, во время которой лошади (по свидетельству Kohl'a) иногда переходят в наступление; в подобном случае, если волки не поспешат отступить, они рискуют быть окруженными лошадьми, которые убивают их ударами копыт. Известно также, что степные волки (*Canis latrans*) американских прерий собираются стаями в 20 и 30 штук, чтобы напасть на буйвола, случайно отбившегося от стада^[60]. Шакалы, которые отличаются большою храбростью и могут считаться одними из самых умных представителей псового семейства, постоянно охотятся стаями; объединенные таким образом, они не страшатся более крупных хищников^[61]. Что же касается до диких собак Азии (холзунов, или Dholes), то Вильямсон видел, что их большие стаи нападают решительно на всех крупных животных, кроме слона и носорога, и что им удается побеждать даже медведей и тигров, у которых они, как известно, постоянно отнимают детенышей.

Гиены всегда живут обществами и охотятся стаями, и Кёмминг с большой похвалой отзывается об охотничьих организациях пятнистых гиен (*Lycan*). Даже лисицы, которые в наших цивилизованных странах неизменно живут в одиночку, собираются иногда для охоты, как о том свидетельствуют некоторые наблюдатели^[62]. Полярная же лисица, т. е. песец, является, или, точнее, была во времена Стеллера, в первой половине восемнадцатого века, одним из самых общительных животных. Читая рассказ Стеллера о той войне, которую пришлось вести злосчастному экипажу Беринга с этими маленькими смышленными животными, не знаешь, чему больше удивляться: необычайному ли уму песцов и взаимной поддержке, которую они проявляли при откапывании пищи, зарытой под камнями, или же сложенной на столбах (один из них в таком случае взбирался на верхушку столба и сбрасывал пищу поджидавшим внизу товарищам), или же бессердечию человека, доведенного до отчаяния их многочисленными стаями. Даже некоторые медведи живут сообществами, в тех местностях, где их не беспокоит человек. Так, Стеллер видел многочисленные стада черных камчатских медведей, а полярных медведей иногда встречали небольшими группами. Даже не очень смышленные насекомоядные не всегда пренебрегают ассоциацией (см. Приложение VII).

Впрочем, наиболее развитые формы взаимопомощи мы находим в особенности среди грызунов, копытных и жвачных. Белки в значительной мере индивидуалистки. Каждая из них строит свое уютное гнездо и запасает свою провизию. Они склонны к семейной жизни, и Брэм находил, что они особенно бывают счастливы, когда оба выводка того же лета соберутся со своими родителями в каком-нибудь глухом уголке леса. Но белки все-таки поддерживают общественные отношения. Обитатели отдельных гнезд находятся в тесных взаимных сношениях, и если в лесу, где они живут, окажется недород сосновых шишек, они переселяются целыми большими отрядами. Что же касается до черных белок Дальнего Запада в Америке, то они особенно отличаются своей общительностью. За исключением нескольких часов, затрачиваемых ежедневно на фуражировку, они проводят свою жизнь в играх, собираясь для этой цели многочисленными группами. Когда же они размножаются чересчур быстро в какой-нибудь области, как было, например, в Пенсильвании в 1749 году, они собираются стадами, почти столь же многочисленными, как тучи саранчи, и двигаются — в данном случае — на юго-запад, опустошая по пути леса, поля и сады. При этом, конечно, вслед за их густыми колоннами пробираются лисицы, хорьки, соколы и всякие ночные птицы, кормящиеся отсталыми особыми. Сродный обыкновенной белке бурундук отличается еще большей общительностью. Он — большой скопидом, и в своих подземных ходах накапливает большие запасы съедобных корней и орехов, которые осенью обыкновенно грабят люди. По мнению некоторых наблюдателей, бурундук даже знаком с радостями испытываемыми скрягою. Но, тем не менее, он остается общительным животным. Он всегда живет большими поселениями, и когда Одюбон вскрывал зимою некоторые жилища хаки (ближайшего американского сородича нашего бурундука), он находил по несколько особей в одном помещении. Запасы в таких норах, очевидно, были заготовлены общими усилиями.

Большое семейство Сурков, в которое входят три обширных рода: собственно сурков, сусликов и американских «луговых собак» (*Arctomys*, *Spermophilus* и *Synomys*) отличаются еще большею общительностью и еще большею смышленостью. Все представители этого семейства предпочитают иметь каждый свое жилище; но живут они большими поселениями. Страшный враг хлебных посевов в южной России — суслик — около десяти миллионов которого истребляется ежегодно одним человеком, живет бесчисленными колониями; и в то время, как русские земства серьезно обсуждают средства, как избавиться от этого «врага общества», суслики, собравшись тысячами в своих поселках, наслаждаются жизнью. Их игры так очаровательны, что нет ни одного наблюдателя, который не выразил бы сперва своего восхищения и не рассказал бы о мелодических концертах, состоящих из резкого свиста самцов и меланхолического посвистыванья самок, — прежде чем, вспомнив о своих гражданских обязанностях, он займется изобретением различных дьявольских средств для истребления этих грабителей. Так как разведение всякого рода хищных птиц и зверей для борьбы с сусликами оказалось тщетным, то теперь последнее слово науки в этой борьбе — прививка холеры.

Поселения «луговых собак» (*Synomys*) в степях Северной Америки представляют одно из самых привлекательных зрелищ. Насколько глаз может

охватить пространство прерии, он везде видит маленькие земляные кучки, и на каждой из них стоит зверок, ведущий самый оживленный разговор со своими соседями, путем отрывистых звуков в роде лая. Как только подан кем-нибудь сигнал о приближении человека, все в одно мгновение ныряют в свои норки, исчезая как по волшебству. Но, как только опасность миновала, зверки немедленно выползают. Целые семьи выходят из своих нор и начинают играть. Молодые царапают и задирают друг друга, ссорятся, грациозно становятся на задние лапки, тогда как старики стоят на страже. Целые семьи ходят в гости друг к другу, и хорошо протоптанные тропинки между земляными кучами показывают, что такие посещения повторяются очень часто. Короче говоря, некоторые из лучших страниц наших лучших естествоиспытателей посвящены описанию сообществ луговых собак в Америке, сурков в Старом Свете и полярных сурков в альпийских областях. Том не менее мне приходится повторить относительно сурков то же, что я сказал о пчелах. Они сохранили свои боевые инстинкты, которые и проявляются у них в неволе. Но в их больших сообществах, в общении с вольной природой, противообщественные инстинкты не имеют почвы для своего развития, и в конечном результате получается мир и гармония.

Даже такие сварливые животные, как крысы, которые вечно грызутся между собою в наших погребах, достаточно умны, чтобы не только не ссориться, когда они занимаются грабежом кладовых, но чтобы оказывать помощь друг другу во время своих набегов и переселений. Известно, что они иногда даже кормят своих инвалидов. Зато бобровая, или мускусная крыса Канады (наша ондатра) и выхухоль отличаются высокою общественностью. Одюбон с восхищением говорит об их «мирных общинах, для счастья которых нужно только, чтобы их не тревожили». Подобно всем общительным животным, они жизнерадостны, игривы, легко соединяются с другими видами животных и вообще об них можно сказать, что они достигли высокой степени умственного развития. При постройке их поселений, всегда расположенных на берегах озер и рек, они, по-видимому, принимают в расчет изменяющийся уровень воды, говорит Одюбон; их куполообразные жилища, сбитые из глины с камышом, имеют отдельные уголки для органических отбросов; а их залы в зимнее время хорошо устланы листьями и травой; в них тепло, но в то же время они хорошо проветриваются. Что же касается до бобров, которые, как известно, одарены чрезвычайно симпатичным характером, то их поразительные плотины и поселения, в которых живут и умирают целые поколения, не зная других врагов, кроме выдры и человека, представляют поразительные образцы того, что может дать животному взаимная помощь для сохранения вида, для выработки общественных привычек и для развития умственных способностей. Плотины и поселения бобров хорошо известны всем интересующимся жизнью животных, а потому я не буду долее останавливаться на них. Замечу только, что у бобров, у ондатры и у некоторых других грызунов мы уже находим ту черту, которая также является отличительной чертой человеческих сообществ, а именно — работу сообща.

Я прохожу молчанием два больших семейства, в состав которых входят прыгающие мыши (египетская жербоа, или эмуранчик, и алактага), шиншила, вискача (американский земляной заяц) и тушканчик (земляной заяц южной России),

хотя нравы всех этих мелких грызунов могли бы служить прекрасным образчиком тех удовольствий, которые извлекаются животными из общественной жизни^[63]. Именно — удовольствий, так как чрезвычайно трудно определить, что сводит животных вместе: потребность ли во взаимной защите, или просто удовольствие, привычка чувствовать себя окруженным своими сородичами. Во всяком случае, наши обыкновенные зайцы, которые не собираются в сообщества для совместной жизни и даже не одарены особенно сильными родительскими чувствами, тем не менее не могут жить без того, чтобы не собираться для совместных игр. Дитрих де-Винкель, считающийся лучшим знатоком жизни зайцев, описывает их, как страстных игрунов, которые так опьяняются процессом игры, что известен случай, когда разыгравшиеся зайцы приняли подкравшуюся лисицу за товарища по игре^[64]. Что же касается кроликов, то они постоянно живут обществами, и вся их семейная жизнь покоится на началах древней патриархальной семьи; молодежь находится в полном подчинении у отца и даже у бабушки^[65]. В данном случае мы имеем даже очень интересный случай: эти два близких вида, кролики и зайцы, не выносят друг друга, не потому, чтобы они питались одинаковой пищей, как обыкновенно принято объяснять подобные случаи, но, вероятнее всего, потому, что страстный заяц, большой индивидуалист притом, не может вести дружбу с таким покойным, смиренным и покорным созданием, как кролик. Их темпераменты настолько различны, что должны быть препятствием дружбе.

В обширном семействе Лошадиных, в которое входят дикие лошади и дикие ослы Азии, зебры, мустанги, *simarrones* пампасов и полудикие лошади Монголии и Сибири, мы опять находим самую тесную общительность. Все эти виды и породы живут многочисленными табунами, из которых каждый слагается из многих косяков, по несколько кобыл в каждом, под руководством одного жеребца. Эти бесчисленные обитатели Старого и Нового Света, вообще говоря, — довольно слабо организованные для борьбы с их многочисленными врагами, а также для защиты от неблагоприятных климатических условий, — скоро исчезли бы с лица земли, если бы не их общительный дух. Когда к ним приближается хищник, несколько косяков немедленно соединяются вместе; они отражают нападение хищника и иногда даже преследуют его: вследствие этого ни волк, ни медведь, ни даже лев не могут выхватить лошади или хотя бы даже зебры, пока она не отбилась от косяка. Даже ночью, благодаря их необыкновенной стадной осторожности и предварительному осмотру местности опытными особями, зебры могут ходить на водопой к реке, несмотря на львов, засевших в кустарниках^[66].

Когда засуха выжигает траву в американских прериях, косяки лошадей и зебр собираются стадами, численность которых доходит иногда до десяти тысяч голов, и переселяются на новые места. А когда зимой в наших азиатских степях разражается метель, косяки держатся близко друг от друга и вместе ищут защиты в какой-нибудь ложине. Но если взаимное доверие почему-либо исчезает в косяке или же группу лошадей охватит паника и они разбегутся, то большинство их гибнет, а уцелевших находят после метели полумертвыми от усталости. Объединение является, таким образом, их главным орудием в борьбе за существование, а человек — их главным врагом. Отступая перед увеличивающейся численностью этого врага, предки нашей домашней лошади (наименованные Поляковым *Equus Przewalskii*) предпочли

переселиться в самые дикие и наименее доступные части высокого плоскогорья на границах Тибета, где они выжили до сих пор, окруженные, правда, хищниками, и в климате, мало уступающем по суровости Арктической области, но зато в местности, пока еще недоступной для человека^[67].

Много поразительных примеров общественности можно было бы заимствовать из жизни оленей, и в особенности того обширного отдела жвачных, в который можно включить косулей, антилоп, газелей, каменных козлов и т. д. — в сущности, из жизни всех трех многочисленных семейств: антилоповых, козловых и овцовых (*Antilopides*, *Caprides* и *Ovides*). Бдительность, с которой они охраняют свои стада от нападений хищников; беспокойство, обнаруживаемое целым стадом серн, пока все не перейдут какое-нибудь опасное место через скалистые утесы; усыновление сирот; отчаяние газели, у которой убит самец или самка, или даже товарищ того же самого пола; игры молодежи и много других черт можно было бы привести для характеристики их общительности^[68]. Но, быть может, самый поразительный пример взаимной поддержки представляют случайные переселения косуль, подобные тому, которое я однажды наблюдал на Амуре.

Когда я пересекал высокое плоскогорье Восточной Азии и его окраинный хребет, Большой Хинган, по дороге из Забайкалья в Мерген, а затем ехал далее по высоким равнинам Маньчжурии, на пути к Амuru, я мог удостовериться, как скудно были заселены косулями эти почти необитаемые места^[69]. Два года спустя я ехал верхом вверх по Амuru, и к концу октября достиг нижнего края того живописного узкого прохода, которым Амур пробивается через Доуссэ-Алин (Малый Хинган), прежде чем достигнуть низменностей, где он соединяется с Сунгари. В станицах, расположенных в этой части Малого Хингана, я застал казаков в сильнейшем возбуждении, так как оказалось, что тысячи и тысячи косуль переплывали здесь через Амур, в узком месте большой реки, с тем, чтобы добраться до сунгарийских низменностей. В течение нескольких дней, на протяжении около шестидесяти верст вверх по реке, казаки неустанно избивали косуль, переправлявшихся через Амур, по которому в то время уже несло много льда. Их убивали тысячами каждый день, но движение косуль не прекращалось.

Подобного переселения никогда раньше не видали, и причины его надо искать, по всей вероятности, в том, что в Большом Хингане и на его восточных склонах выпали тогда необычайно глубокие ранние снега, которые и принудили косуль сделать отчаянную попытку — достичь низменностей на востоке от Малого Хингана. И действительно, несколько дней спустя, когда я стал пересекал эти последние горы, я нашел их глубоко засыпанными рыхлым снегом, доходившим до двух и до трех фут[ов] глубины. Над этим переселением косуль стоит задуматься. Нужно представить себе, с какой огромной территории (верст в 200 шириною и верст 700 в длину), должны были собраться разбросанные по ней группы косуль, чтобы начать переселение, предпринятое ими под давлением совершенно исключительных обстоятельств. Нужно представить себе затем трудности, которые пришлось преодолеть косулям, прежде чем они пришли к одной общей мысли о необходимости пересечь Амур, — не где попало, а именно южнее, там, где его русло сужено в хребте; и где, *пересекая реку, они вместе с тем пересекали хребет и*

выходили к теплым низменностям. Тогда, когда все это представишь себе конкретно, нельзя не почувствовать глубокого удивления перед степенью и силой общительности, проявленной в данном случае этими умными животными.

Не менее поразительны также, в смысле способности к объединению и действиям сообща, переселения бизонов, или буйволов, совершавшиеся в Северной Америке. Правда, буйволы обыкновенно паслись в громадных количествах в прериях; но эти количества составлялись из бесконечного числа небольших стад, которые никогда не смешивались друг с другом. И все эти мелкие группы, как бы они ни были разбросаны по огромной территории, в случае необходимости, сходились между собою и образовывали те огромные колонны в сотни тысяч особей, о которых я упоминал на одной из предшествующих страниц.

Мне следовало бы также сказать хотя несколько слов о «сложных семействах» слонов, об их взаимной привязанности, об обдуманности, с которой они расставляют своих часовых, и о чувствах симпатии, развивающихся среди них под влиянием такой жизни, полной близкой взаимной поддержки^[70]. Я мог бы упомянуть также об общительных чувствах, существующих среди не пользующихся доброй славой диких кабанов, и мог бы лишь похвалить их за умение объединяться в случае нападения на них хищного зверя^[71]. Гиппопотамы и носороги также должны будут иметь место в труде, посвященном общительности животных. Несколько поразительных страниц можно было бы также написать об общительности и взаимной привязанности у тюленей и моржей; и наконец, можно было бы упомянуть и о хороших чувствах, развитых среди общительных видов китового семейства. Но мне нужно поговорить еще о сообществах обезьян, которые особенно интересны тем, что представляют переход к обществам первобытных людей.

Едва ли нужно напоминать о том, что эти млекопитающие, стоящие на самой вершине животного мира и наиболее приближающиеся к человеку по своему строению и по своему уму, отличаются чрезвычайной общительностью. Конечно, в таком огромном отделе животного мира, включающем сотни видов, мы неизбежно встречаем самые разнообразные характеры и нравы. Но, приняв все это во внимание, следует признать, что общительность, действие сообща, взаимная защита и высокое развитие тех чувств, которые бывают необходимым последствием общественной жизни, являются отличительной чертой почти всего обширного отдела обезьян. Начиная с самых мелких видов и кончая крупнейшими, общительность является правилом, из которого имеет лишь очень немного исключений.

Виды обезьян, живущих в одиночку, очень редки. Так, ночные обезьяны предпочитают одинокую жизнь; капуцины (*Cebus capucinus*) и атели — большие ревуны, встречающиеся в Бразилии, и вообще ревуны живут небольшими семьями; оранг-утангов [орангутанов. — Прим. изд.] Уоллэс (Wallace) никогда не встречал иначе, как поодиночке, или очень небольшими группами в три-четыре особи; а гориллы, по-видимому, никогда не сходятся в группы. Но все остальные виды обезьян — чимпанзе [шимпанзе. — Прим. изд.], гиббоны, древесные обезьяны Азии и Африки, макаки, мартышки, все собакоподобные павьяны [павианы. — Прим.

изд.], мандрилы и все мелкие игрунки общительны в высшей степени. Они живут большими стадами, и некоторые соединяются даже по несколько разных видов. Большинство из них чувствуют себя совершенно несчастными в одиночестве. Призывный крик каждой обезьяны немедленно собирает все стадо, и все вместе храбро отражают нападения почти всех плотоядных животных и хищных птиц. Даже орлы не решаются нападать на обезьян. Наши поля они всегда грабят стаями, причем старики берут на себя заботу о безопасности сообщества. Маленькие ти-ти, детские личики которых так поразили Гумбольдта, обнимают и защищают друг друга от дождя, обвертывая хвосты вокруг шей дрожащих от холода сотоварищей. Некоторые виды с чрезвычайной заботливостью относятся к своим раненым товарищам, и во время отступления никогда не бросают раненого, пока не убедятся, что он умер, и что они не в силах возратить его к жизни. Так, Джемс Форбз рассказывает в своих «Oriental Memoirs» («Записках о Востоке»), с какой настойчивостью обезьяны требовали от его отряда выдачи им трупа одной убитой самки, причем это требование сделано было в такой форме, что вполне понимаешь, почему «свидетели этой необычайной сцены решили впредь никогда не стрелять в обезьян»^[72].

Обезьяны некоторых видов соединяются по несколько, когда хотят перевернуть камень и собрать находящиеся под ним муравьиные яйца. Павьяны Северной Африки (*Hamadryas*), живущие очень большими стадами, не только ставят часовых, но вполне достоверные наблюдатели видели, как они устанавливали цепь для передачи награбленных плодов в безопасное место. Их храбрость хорошо известна, и достаточно напомнить классическое описание Брэма, который подробно рассказал о регулярном сражении, выдержанном его караваном, прежде чем павьяны позволили ему продолжать путешествие в долину Менсы, в Абиссинии^[73] Известна также игривость хвостатых обезьян, заслуживших самое свое название (игрунки), благодаря этой черте их сообществ, а также взаимная привязанность, господствующая в семействах чимпанзе. И если среди высших обезьян имеются два вида (оранг-утанг и горилла), не отличающихся общительностью, то нужно помнить, что оба эти вида, ограниченные очень небольшими площадями распространения (один живет в Центральной Африке, а другой на островах Борнео и Суматре), по всей видимости представляют последние вымирающие остатки двух видов, бывших прежде несравненно более многочисленными. Горилла, по крайней мере, была, по-видимому, общительною в былые времена, — если только обезьяны, упомянутые Карфагением Ганноном, в описании его путешествия (*Periplus*) были действительно гориллами.

Таким образом, даже из нашего беглого обзора видно, что жизнь сообществами не представляет исключения в животном мире; она, напротив, является общим правилом — законом природы — и достигает своего полнейшего развития у высших беспозвоночных. Видов, живущих в одиночестве, или только небольшими семействами, очень мало, и они сравнительно немногочисленны. Мало того, есть основание предполагать, что, за немногими исключениями, все те птицы и млекопитающие, которые в настоящее время живут стадами или стаями, жили ранее сообществами, пока род людской не размножился на земной поверхности и не начал вести против них истребительной войны, а равным образом не стал истреблять их

источников прокормления. «On ne s'associe pas pour mourir» (для умирания не собираются вместе), — справедливо заметил Эспинас (в книге «Les Sociétés animales»). Хузо (Houzeau), хорошо знавший животный мир некоторых частей Америки, раньше чем животные подвергались истреблению человеком в больших размерах, высказал в своих произведениях ту же мысль.

Общественная жизнь встречается в животном мире на всех ступенях развития; и, соответственно великой идее Герберта Спенсера, так блестяще развитой в работе Перье, «Colonies Animales», «колонии», т. е. сообщества, появляются уже в самом начале развития животного мира. По мере того как мы поднимаемся по лестнице развития, мы видим, как сообщества животных становятся все более и более сознательными. Они теряют свой чисто физический характер, потом они перестают быть просто инстинктивными и становятся обдуманными. Среди высших позвоночных сообщество уже бывает временным, периодичным, или же служит для удовлетворения какой-нибудь определенной потребности, — например, для воспроизведения, для переселений, для охоты или же для взаимной защиты. Оно становится даже случайным, — например, когда птицы объединяются против хищника, или млекопитающие сходятся для эмиграции под давлением исключительных обстоятельств. В этом последнем случае сообщество становится добровольным отклонением от обычного образа жизни.

Затем, объединение бывает иногда в две или три степени: сначала семья, потом группа и, наконец, общество групп, обыкновенно рассеянных, но соединяющихся в случае нужды, как мы это видели на примере буйволов и других жвачных, во время их перекочевок. Товарищество также принимает высшие формы, и тогда оно обеспечивает большую независимость для каждой отдельной особи, не лишая ее, вместе с тем, — выгод общественной жизни. Таким образом, у большинства грызунов каждая семья имеет свое собственное жилище, куда она может удалиться, если пожелает уединения; но эти жилища располагаются селениями и целыми городами, так, чтобы всем обитателям были обеспечены все удобства и удовольствия общественной жизни. Наконец, у некоторых видов, как, например, у крыс, сурков, зайцев и т. д., общительность жизни поддерживается, несмотря на сварливость, или вообще на эгоистические наклонности отдельно взятых особей.

Во всех этих случаях общественная жизнь, стало быть, уже не обуславливается, как у муравьев и пчел, физиологическим строением; ею пользуются ради выгод, представляемых взаимной помощью, или же ради приносимых ею удовольствий. И это, конечно, проявляется во всех возможных степенях и при величайшем разнообразии индивидуальных и видовых признаков, — причем самое разнообразие форм общественной жизни является последствием, а для нас и дальнейшим доказательством, ее всеобщности^[74].

Общительность, т. е. ощущаемая животным потребность в общении с себе подобными, любовь к обществу ради общества, соединенная с «наслаждением жизнью», только теперь начинает получать должное внимание со стороны зоологов^[75]. В настоящее время нам известно, что все животные, начиная с муравьев, переходя к птицам и кончая высшими млекопитающими, любят игры, любят бороться и гоняться один за другим, пытаются поймать друг друга, любят

поддразнивать друг друга и т. д. И если многие игры являются, так сказать, подготовительной школой для молодых особей, приготавливая их к надлежащему поведению, когда наступит зрелость, то наряду с ними имеются и такие игры, которые, помимо их утилитарных целей, вместе с танцами и пением, представляют простое проявление избытка жизненных сил — «наслаждения жизнью», и выражают желание, тем или иным путем, войти в общение с другими особями того же, или даже иного вида. Короче говоря, эти игры представляют проявление *общительности* в истинном смысле этого слова, являющейся отличительной чертой *всего животного мира*^[76]. Будет ли это чувство страха, испытываемого при появлении хищной птицы, или «взрыв радости», проявляющийся, когда животные здоровы и в особенности молоды, или же просто стремление освободиться от избытка впечатлений и кипящей жизненной силы, — необходимость сообщения своих впечатлений другим, необходимость совместной игры, болтовни или просто ощущения близости других родственных живых существ, — *эта потребность проникает всю природу*, и в столь же сильной степени, как и любая физиологическая функция, она составляет отличительную черту *жизни* и впечатлительности вообще. Эта потребность достигает высшего развития и принимает наиболее прекрасные формы у млекопитающих, особенно у молодых особей, и еще более у птиц; но она проникает всю природу. Ее обстоятельно наблюдали лучшие натуралисты, включая Пьера Гюбера (Huber), даже среди муравьев; и нет сомнения, что та же потребность, тот же инстинкт собирает бабочек и других насекомых в огромные колонии, о которых мы говорили выше.

Привычка птиц сходиться вместе для танцев и украшения ими мест, где они обыкновенно предаются танцам, вероятно, хорошо известна читателям, хотя бы по тем страницам, которые Дарвин посвятил этому предмету в «Происхождении человека» (гл. XIII). Посещавшие Лондонский Зоологический сад знакомы также с красиво украшенной беседкой «атласной птицы»^[77], устраиваемой с тою же целью. Но этот обычай танцев оказывается гораздо более распространенным, чем предполагалось прежде, и В. Гёдсон (W. Hudson), в своей мастерской работе о Ла-Плате, дает чрезвычайно интересное описание сложных танцев, выполняемых многочисленными видами птиц: дергачами, щеглами, пиголицами и т. д.

Привычка петь совместно, существующая у некоторых видов птиц, принадлежит к той же категории общественных инстинктов. В поразительной степени она развита у южноамериканского чакара (*Chauna chavaria*, из породы, близкой к гусям), которому англичане дали самое прозаическое прозвище «хохлатого крикуна». Эти птицы собираются иногда громадными стаями и в таких случаях часто устраивают целый концерт. Гёдсон встретил их однажды в бесчисленном количестве сидящими вокруг озера в пампасах, отдельными стаями, около 500 птиц в каждой.

«Вскоре, — говорит он, — одна из стай, находившаяся вблизи меня, начала петь, и этот могущественный хор не замолкал в течение трех или четырех минут. Когда он затих, соседняя стая затянула песнь, вслед за ней — следующая, и т. д., пока не принеслось ко мне пение стай, находившихся на противоположном берегу озера, которого звуки ясно неслись по воде; затем они мало-помалу затихли и снова начинали раздаваться возле меня».

Другой раз тому же зоологу пришлось наблюдать бесчисленную стаю чакаров, покрывавшую всю равнину, но на этот раз не разбитую на отделы, а разбившуюся парами и небольшими группами. Около девяти часов вечера «внезапно вся эта масса птиц, покрывавшая болота на целые мили крутом, разразилась могущественной вечернею песней... Стоило проехать сотню миль, чтобы послушать такой концерт»^[78].

К вышеприведенному наблюдению можно прибавить, что чакар, подобно всем общительным животным, легко делается ручным и очень привязывается к человеку. Об них говорят, что «это — очень миролюбивые птицы, которые редко ссорятся», хотя они хорошо вооружены и снабжены довольно грозными шпорами на крыльях. Жизнь сообществами делает, однако, это оружие излишним.

Тот факт, что жизнь сообществами служит самым могущественным оружием в борьбе за существование (принимая этот термин в самом широком смысле слова), подтверждается, как мы видели на предыдущих страницах, довольно разнообразными примерами, и таких примеров, если бы это было нужно, можно было бы привести несравненно больше. Жизнь сообществами, мы это видели, дает возможность самым слабым насекомым, самым слабым птицам и самым слабым млекопитающим защищаться от нападений самых ужасных хищников из среды птиц и животных, или же предохранять себя от них. Она обеспечивает им долголетие; она дает возможность виду выкармливать свое потомство с наименьшей ненужной растратой энергии и поддерживать свою численность даже при очень слабой рождаемости; она позволяет стадным животным совершать переселения и находить себе новые местожительства. Поэтому, хотя и признавая вполне, что сила, быстрота, предохранительная окраска, хитрость и выносливость к холоду и голоду, упоминаемые Дарвином и Уоллэсом, действительно представляют качества, которые делают особь, или вид, наиболее приспособленными при *некоторых* обстоятельствах, — мы вместе с тем утверждаем, что общительность является величайшим преимуществом в борьбе за существование при *всяких*, каких бы то ни было, природных обстоятельствах. Те виды, которые волей или неволей отказываются от нее, обречены на вымирание; тогда как животные, умеющие наилучшим образом объединяться, имеют наибольшие шансы на выживание и на дальнейшее развитие, хотя бы они и оказались ниже других в *каждой* из особенностей, перечисленных Дарвином и Уоллэсом, за исключением только умственных способностей. Высшие позвоночные, и в особенности человеческий род, служат лучшим доказательством этого утверждения.

Что же касается до развитых умственных способностей, то каждый дарвинист согласится с Дарвином в том, что они представляют наиболее могущественное орудие в борьбе за существование и наиболее могущественную силу для дальнейшего развития; но он должен согласиться и с тем, что умственные способности, еще более всех остальных, обуславливаются в своем развитии общественной жизнью. Язык, подражание другим и накопленный опыт — необходимые условия для развития умственных способностей, и именно их бывают лишены животные не общественные. Потому-то мы и находим, что на вершине различных классов стоят такие животные, как пчелы, муравьи и термиты у

насекомых, попугаи у птиц, и обезьяны у млекопитающих, у которых высоко развита общительность, а с нею, конечно, и умственные способности.

«Наиболее приспособленными», наилучше приспособленными для борьбы со всеми враждебными элементами, оказываются, таким образом, наиболее общительные животные, — так что *общительность можно принять главным фактором эволюции — главным условием прогрессивного развития*, как непосредственно, потому что он обеспечивает благосостояние вида, вместе с уменьшением бесполезной растраты энергии, так и косвенно, потому что он благоприятствует росту умственных способностей.

Кроме того, очевидно, что жизнь сообществами была бы совершенно невозможна без соответственного развития общественных чувств, и в особенности если бы коллективное чувство *справедливости* (основного начала нравственности) не развивалось и не обращалось в привычку. Если бы каждый индивидуум постоянно злоупотреблял своими личными преимуществами, а остальные не заступались бы за обиженного, никакая общественная жизнь не была бы возможна. Поэтому у всех общительных животных, в большей или меньшей степени, развивается чувство справедливости. Как бы ни было велико расстояние, с которого прилетели ласточки или журавли, и те и другие возвращаются, каждый и каждая, к тому гнезду, которое было выстроено или починено ими в предыдущем году. Если какой-нибудь ленивый (или молодой) воробей пытается овладеть гнездом, которое вьет его товарищ, или даже украдет из него несколько соломинок, вся местная группа воробьев вмешивается в дело против ленивого товарища; то же самое у многих других птиц, и очевидно, что если бы подобное вмешательство не было общим правилом, то сообщества птиц для гнездования были бы невозможны. Отдельные группы пингвинов имеют свои места для отдыха и свои места для рыбной ловли и не дерутся из-за них. Стада рогатого скота в Австралии имеют каждое свое определенное место, куда оно неизменно, изо дня в день, отправляется на отдых и т. д.^[79]

Мы располагаем очень большим количеством непосредственных наблюдений, говорящих о том согласии, которое господствует среди гнездящихся сообществ птиц, в поселениях грызунов, в стадах травоядных и т. д.; но, с другой стороны, нам известны лишь весьма немногие общительные животные, которые постоянно ссорились бы между собою, как это делают крысы в наших погребах, или же моржи, которые дерутся из-за места на солнечном пригреве на занимаемом ими берегу. Общительность, таким образом, кладет предел физической борьбе и дает место для развития лучших нравственных чувств. Высокое развитие родительской любви во всех решительно классах животных, не исключая даже львов и тигров, — достаточно общеизвестно. Что же касается до молодых птиц и млекопитающих, которых мы постоянно видим в общении друг с другом, то в их сообществах получает дальнейшее развитие уже симпатия, общее сочувствие, а не личная любовь.

Оставляя в стороне действительно трогательные факты взаимной привязанности и сострадания, которые наблюдались как среди домашних животных, так и среди диких, содержащихся в неволе, — мы располагаем достаточным

числом хорошо удостоверенных фактов, свидетельствующих о проявлении чувства сострадания среди диких животных на свободе. Макс Перти и Л. Бюхнер собрали немало таких фактов^[80]. Рассказ Вуда о том, как одна ласка явилась, чтобы поднять и унести с собою пострадавшего товарища, пользуется вполне заслуженной популярностью^[81]. К тому же разряду фактов относится известное наблюдение капитана Стансбюри во время путешествия его по высокому плоскогорью Юта в Скалистых горах, упоминаемое Дарвином. Стансбюри видел слепого пеликана, которого кормили, и притом хорошо кормили, другие пеликаны рыбой, принося ее из-за сорока пяти верст^[82]. Или же, Г. Уэдделль, во время своего путешествия по Боливии и Перу, неоднократно наблюдал, что, когда стадо вигоней преследуется охотниками, сильные самцы прикрывают отступление стада, нарочно отставая, чтобы охранять отстающих. То же самое наблюдается в Швейцарии среди диких коз. Факты же сострадания животными к их раненым сотоварищам постоянно упоминаются зоологами, изучавшими жизнь природы; и приходится только удивляться чванству человека, желающего непременно выделить себя из мира животных, когда видишь, что подобные факты еще не общепризнанны. Между тем, они совершенно естественны. Сострадание необходимо развивается при общественной жизни. Но сострадание, в свою очередь, указывает на значительный общий прогресс в области умственных способностей и чувствительности. Оно является первым шагом на пути к развитию высших нравственных чувств и, в свою очередь, становится могущественным деятелем дальнейшего прогрессивного развития — эволюции.

Если взгляды, развитые на предыдущих страницах, правильны, то естественно возникает вопрос: насколько они согласуются с теорией о борьбе за существование в том виде, как она была развита Дарвином, Уоллэсом и их последователями? И я вкратце отвечу теперь на этот важный вопрос^[83]. Прежде всего, ни один натуралист не усомнится в том, что идея о борьбе за существование, проведенная через всю органическую природу, представляет величайшее обобщение нашего века. Жизнь есть борьба; и в этой борьбе выживают наиболее приспособленные. Но если поставить вопрос: «Каким оружием ведется, главным образом эта борьба?» и «кто в этой борьбе оказывается наиболее приспособленным»? — то ответы на эти два вопроса будут совершенно различны, смотря по тому, какое значение будет придано двум различным сторонам этой борьбы: прямой борьбе за пищу и безопасность между отдельными особями, и той борьбе, которую Дарвин назвал «метафорической» — борьбою в переносном смысле, т. е. борьбе, *очень часто совместной*, против неблагоприятных обстоятельств. Никто не станет отрицать, что в пределах каждого вида имеется некоторая степень состязания из-за пищи, хотя бы по временам. Но вопрос заключается в том, — доходит ли это состязание до пределов, допускаемых Дарвином или даже Уоллэсом? и играло ли оно в развитии животного царства ту роль, которая ему приписывается?

Идея, которую Дарвин проводит через всю свою книгу о происхождении видов, есть, несомненно, идея о существовании настоящего состязания^[84], борьбы, в пределах каждой животной группы, из-за пищи, безопасности и возможности оставить после себя потомство. Он часто говорит об областях, переполненных животной жизнью до крайних пределов, и из такого переполнения он выводит

неизбежность состязания, борьбы между обитателями. Но если мы станем искать в его книге действительных доказательств такого состязания, то мы должны признать, что достаточно убедительных доказательств — нет. Если мы обратимся к параграфу, озаглавленному «Борьба за существование — наиболее суровая между особями и разновидностями одного и того же вида», то мы не найдем в нем того обилия доказательств и примеров, которые мы привыкли находить во всякой работе Дарвина. В подтверждение борьбы между особями одного и того же вида не приводится под вышеупомянутым заголовком ни одного примера: она принимается как аксиома. Состязание же между близкими видами животных подтверждается лишь пятью примерами, из которых, во всяком случае, один (относящийся к двум видам дроздов) оказался по позднейшим наблюдениям сомнительным, а другой (относительно крыс) тоже, вероятно, возбудит сомнения^[85].

Если же мы станем искать у Дарвина дальнейших подробностей, с целью убедиться, насколько уменьшение одного вида действительно обуславливается возрастанием другого вида, то мы найдем, что Дарвин, со своей обычной прямоотой, говорит следующее: «Мы можем догадываться (*dimly see*), почему состязание должно быть особенно сурово между родственными формами, заполняющими почти одно и то же место в природе; но, вероятно, ни в одном случае мы не могли бы с точностью определить, почему один вид одержал победу над другим в великой битве жизни».

Что же касается Уоллеса, приводящего в своем изложении дарвинизма те же самые факты, но под слегка видоизмененным заголовком («Борьба за существование между близкородственными животными и растениями *часто* бывает наиболее сурова»), то он делает нижеследующее замечание, дающее вышеприведенным фактам совершенно иное освещение. Он говорит (курсив мой): «В *некоторых* случаях, несомненно, ведется действительная война между двумя видами, причем более сильный вид убивает более слабый; *но это вовсе не является необходимостью*, и могут быть случаи, когда виды, более слабые физически, могут одержать верх, вследствие своей способности к более быстрому размножению, большей выносливости по отношению к враждебным климатическим условиям или большей хитрости, помогающей им избегать нападений со стороны их общих врагов».

Таким образом, в подобных случаях, то, что приписывается состязанию, борьбе, *может быть вовсе не состязанием и борьбою*. Один вид вымирает вовсе не потому, что другой вид истребил его или выморил, отнявши у него средства пропитания, а потому, что он не смог хорошо приспособиться к новым условиям, тогда как другому виду удалось это сделать. Выражение «борьба за существование», стало быть, употребляется здесь опять-таки в переносном смысле и, по-видимому, другого смысла не имеет. Что же касается до действительного состязания из-за пищи между особями *одного и того же вида*, которое Дарвин поясняет в другом месте примером, взятым из жизни рогатого скота в Южной Америке *во время засухи*, то ценность этого примера значительно уменьшается тем, что он взят из жизни прирученных животных. Бизоны, при подобных обстоятельствах, переселяются с целью избежать состязания из-за пищи. Как бы ни была сурова борьба между растениями, — а она вполне доказана, — мы можем только повторить относительно ее замечание

Уоллэса, «что растения живут там, где могут», тогда как животные в значительной мере имеют возможность сами выбирать себе местожителство. И мы снова себя спрашиваем: «В каких же размерах действительно существует состязание, борьба в пределах каждого животного вида? На чем основано это предположение?»

То же самое замечание приходится мне сделать относительно того «косвенного» аргумента в пользу действительности сурового состязания и борьбы за существование в пределах каждого вида, который можно вывести из «истребления переходных разновидностей», так часто упоминаемого Дарвином. Как известно, всех естествоиспытателей и самого Дарвина долгое время смущало затруднение, которое и он видел в отсутствии длинной цепи промежуточных форм между близкородственными видами; и известно, что Дарвин нашел разрешение этого затруднения в предположенном им истреблении этих промежуточных форм^[86]. Однако внимательное чтение различных глав, в которых Дарвин и Уоллэс говорят об этом предмете, вскоре приводит к заключению, что слово «истребление», употребляемое ими, вовсе не имеет в виду действительного истребления — тем более истребления из-за недостатка пищи и вообще перенаселения. То замечание, которое Дарвин сделал относительно смысла его выражения: «борьба за существование», очевидно, прилагается в равной мере и к слову «истребление»: последнее никоим образом не может быть понимаемо в его прямом значении, но только в «метафорическом», переносном смысле.

Если мы отправимся от предположения, что данная площадь переполнена животными до крайних пределов ее вместимости, и что вследствие этого между всеми ее обитателями ведется обостренная борьба из-за насущных средств существования — причем каждое животное вынуждено бороться против всех своих сородичей, чтобы добыть себе дневное пропитание, — тогда появление новой и успешной разновидности несомненно будет состоять во многих случаях (хотя не всегда) в появлении таких индивидуумов, которые смогут захватить более, чем приходящуюся им по справедливости долю средств существования; результатом тогда действительно было бы то, что подобные особи обрекли бы на недоедание как первоначальную родительскую форму, не усвоившую новой разновидности, так и все те переходные формы, которые не обладали бы новой особенностью в той же степени, как они. Весьма возможно, что спервоначала Дарвин понимал появление новых разновидностей именно в таком виде; по крайней мере, частое употребление слова «истребление» производит такое впечатление. Но он, как и Уоллэс, знали природу чересчур хорошо, чтобы не увидеть, что это вовсе не единственно возможный и необходимый исход.

Если бы физические и биологические условия данной поверхности, а также пространство, занимаемое данным видом, и образ жизни всех членов этого вида оставались всегда неизменными, тогда внезапное появление новой разновидности, действительно, могло бы повести к недоеданию и истреблению всех тех особей, которые не усвоили бы в достаточной мере новую черту, характеризующую новую разновидность. Но именно подобного сочетания условий, подобной неизменяемости мы не видим в природе. Каждый вид постоянно стремится к расширению своего местожителства, и переселения в новые местожителства являются общим правилом, как для быстро летающей птицы, так и для медлительной улитки. Затем в

каждом данном пространстве земной поверхности постоянно совершаются физические изменения, и характерною чертою новых разновидностей среди животных, в громадном числе случаев — пожалуй, в большинстве — бывает вовсе не появление новых приспособлений для выхватывания пищи изо рта сородичей — пища является лишь одним из сотни разнообразных условий существования, — но, как сам Уоллэс показал в прекрасном параграфе, «о расхождении характеров» (Darwinism, стр. 107), началом новой разновидности бывает образование новых привычек, передвижения в новые местожительства и переход к новым видам пищи.

Во всех этих случаях не произойдет никакого истребления, даже будет отсутствовать борьба за пищу, так как новое приспособление послужит к облегчению соперничества, если последнее действительно существовало, и тем не менее, при этом тоже получится, спустя некоторое время, отсутствие переходных звеньев, как результат простого выживания тех, которые наилучше приспособлены к новым условиям. Совершится это так же несомненно, как если бы происходило предполагаемое гипотезой истребление первоначальной формы. Едва ли нужно добавлять, что если мы вместе с Спенсером, вместе со всеми ламаркистами и с самим Дарвином, допустим изменяющее влияние среды на живущие в ней виды, — а современная наука все более и более движется в этом направлении, — то окажется еще менее надобности в гипотезе истребления переходных форм.

Значение переселений животных для появления и закрепления новых разновидностей, а в конце концов и новых видов, на которые указал Мориц Вагнер, вполне было признано впоследствии самим Дарвином. Часть животных данного вида действительно нередко попадает в новые условия жизни и бывает иногда отделена от остальной части своего вида, — вследствие чего появляется и закрепляется новая разновидность. Это было признано уже Дарвином; но позднейшие изыскания еще более подчеркнули важность этого фактора, и они указали также, каким образом обширность территории, занимаемой данным видом — этой обширности Дарвин вполне основательно придавал большое значение для появления новых разновидностей — может быть соединена с обособленностью отдельной части данного вида, в силу местных геологических перемен или возникновения местных преград. Входить здесь в обсуждение всего этого обширного вопроса было бы невозможно; но нескольких замечаний будет достаточно, чтобы пояснить соединенное действие таких влияний. Известно, что части данного вида нередко переходят к новому роду пищи. Белки, например, если случится неурожай на шишки в лиственничных лесах, переходят в сосновые боры, и эта перемена пищи, как указал Поляков, производит известные физиологические изменения в организме этих белок. Если это изменение привычек будет непродолжительно, — если в следующем же году будет опять изобилие шишек в темных лиственничных лесах, то никакой новой разновидности белок, очевидно, не образуется. Но если часть обширного пространства, занимаемого белками, начнет изменять свой физический характер — скажем, вследствие смягчения климата или высыхания, причем обе эти причины будут способствовать увеличению площади сосновых боров, в ущерб лиственничным лесам, — и, если некоторые другие условия будут содействовать тому, чтобы часть белок держалась на окраинах области, тогда получится новая разновидность, т. е. зарождающийся новый вид

белок; но появление этой разновидности не будет сопровождаться решительно ничем таким, что могло бы заслужить название истребления среди белок. Каждый год несколько большая пропорция белок этой новой, лучше приспособленной, разновидности будет выживать по сравнению с другими, и промежуточные звенья будут вымирать с течением времени, из года в год, вовсе не будучи обрекаемы на голодную смерть своими мальтузианскими соперниками. Именно подобные процессы и совершаются на наших глазах, вследствие великих физических изменений, происходящих на обширных пространствах Центральной Азии вследствие высыхания, которое очевидно идет там со времени ледникового периода.

Возьмем другой пример. Доказано геологами, что современная дикая лошадь (*Equus Przewalskii*) есть результат медленного процесса эволюции, совершавшегося в течение позднейших частей третичного и всего четверичного (ледникового и послеледникового) периода; причем в течение этого длинного ряда столетий предки теперешней лошади не оставались на каком-нибудь одном определенном пространстве земного шара. Напротив того, они странствовали по Старому и Новому Свету, и по всем вероятностям, вернулись, в конце концов, вполне видоизмененные в течение своих многих переселений, к тем самым пастбищам, которые они когда-то оставили^[87]. Из этого ясно, что если мы не находим теперь в Азии всех промежуточных звеньев между современной дикой лошадью и ее азиатскими третичными предками, это вовсе не значит, чтобы промежуточные звенья были истреблены. Подобного истребления никогда не происходило. Даже никакой особенно высокой смертности могло не быть среди прародительских видов нынешней лошади: особи, принадлежавшие к промежуточным разновидностям и видам, умирали при самых обычных условиях — часто даже среди изобилия пищи, — и их остатки рассыпаны теперь в недрах земли по всему земному шару. — Короче говоря, если мы задумаемся в этот предмет и внимательно перечитаем то, что сам Дарвин писал о нем, мы увидим, что если уже употреблять слово «истребление» в связи с переходными разновидностями, то его следует употреблять опять-таки в метафорическом, переносном смысле.

То же самое следует заметить относительно таких выражений, как «соперничество», или «состяжание» (competition). Эти два выражения также постоянно употреблялись Дарвином (см., например, главу «об угасании») скорее как образ, или как способ выражения, не придавая ему значения действительной борьбы за средства существования между двумя частями одного и того же вида. Во всяком случае, отсутствие промежуточных форм не составляет аргумента в пользу интенсивной борьбы и состязания. В действительности, главным аргументом для доказательства острого состязания из-за средств существования, — соревнования, продолжающегося непрестанно в пределах каждого животного вида, — является, по выражению проф. Геддиса, «арифметический аргумент», заимствованный у Мальтуса.

Но этот аргумент ничего подобного не доказывает. С таким же правом мы могли бы взять несколько сел в юго-восточной России, обитатели которых не терпели недостатка в пище, но вместе с тем никогда не имели никаких санитарных приспособлений; и заметивши, что за последние семьдесят или восемьдесят лет средняя рождаемость достигла у них 60-ти на 1000, а между тем население за это

время нисколько не увеличилось, — я имею в руках такие определенные факты — мы могли бы, пожалуй, прийти к заключению, что между обитателями этих деревень идет чрезвычайно обостренная борьба за пищу. В действительности же окажется, что население не возрастает по той простой причине, что одна треть новорожденных умирает каждый год, не достигнув шестимесячного возраста; половина детей умирает в течение следующих четырех лет, и из каждой сотни родившихся только семнадцать достигают двадцатилетнего возраста. Таким образом, новые пришельцы в мир уходят из него раньше, чем достигают возраста, когда они могли бы стать конкурентами. Очевидно, однако, что если нечто подобное происходит в людской среде, то тем более вероятно оно среди животных. И действительно, в мире пернатых уничтожение яиц идет в таких колоссальных размерах, что в начале лета яйца составляют главную пищу нескольких видов животных. Не говорю уже о бурях и наводнениях, истребляющих миллионы гнезд в Америке и в Азии, и о внезапных переменах погоды, от которых массами гибнут молодые особи у млекопитающих. Каждая буря, каждое наводнение, каждая внезапная перемена температуры, каждое посещение птичьего гнезда крысой уничтожают тех соперников, которые кажутся столь страшными на бумаге.

Что же касается до фактов чрезвычайно быстрого размножения лошадей и рогатого скота в Америке, а также свиней и кроликов в Новой Зеландии, с тех пор как европейцы ввезли их в эти страны, и даже диких животных, ввезенных из Европы (где количество их уменьшается человеком, а вовсе не соперничеством), то они, по-видимому, скорее противоречат теории избыточного населения. Если лошади и рогатый скот могли с такой быстротой размножиться в Америке, то это просто доказывает, что как ни были в то время бесчисленны бизоны и другие жвачные в Новом Свете, его травоядное население все-таки было далеко ниже того количества, которое могло бы прокормиться в прериях. Если миллионы новых пришельцев все-таки находили достаточно пищи, не заставляя голодать прежнее население прерий, мы скорее должны прийти к заключению, что европейцы нашли в Америке не излишек, а *недостаточное количество* травоядных, несмотря на невероятно громадные количества бизонов, или диких голубей, найденных первыми исследователями Северной Америки.

Мало того. Я позволю себе сказать, что у нас имеются серьезные основания думать, что такая недостаточность животного населения представляет естественное положение вещей на поверхности всего земного шара, за немногими, и то временными, исключениями из этого общего правила. Действительно, наличное количество животных на данном пространстве земли определяется вовсе не *высшей* продовольственной способностью этого пространства, а тем, что оно представляет каждый год при *наименее благоприятных условиях*. Важно знать не то, сколько миллионов буйволов, коз, оленей и т. д. *может* прокормиться на данной территории во время роскошного, умеренно-дождливого лета, а сколько их уцелеет, если случится засушливое лето, когда вся трава выгорит, или мокрое лето, когда территории, равные средней Европе, обращаются в сплошные болота, как я это видел на Витимском плоскогорье, или же когда прерии и леса выгорают на сотни тысяч квадратных верст, как это мы видели в Сибири и в Канаде.

Вот почему, уже вследствие одной этой причины, состязание, борьба из-за

пищи едва ли может быть нормальным условием жизни. Но помимо этого есть и другие причины, которые в свою очередь низводят животное население еще ниже этого невысокого уровня. Если мы возьмем лошадей (также и рогатый скот), которые всю зиму проводят на подножном корму в степях Забайкалья, то мы найдем всех их очень исхудалыми и истощенными в конце зимы. Это истощение, впрочем, оказывается результатом не недостатка в корме, так как под тонким слоем снега везде имеется трава в изобилии; причина его лежит в трудности добывания травы из-под снега, а эта трудность одинакова для всех лошадей. Кроме того, ранней весной обыкновенно бывает гололедица, и если она продолжится несколько дней подряд, то лошади приходят в еще большее изнурение. Но вслед за тем часто наступают бураны, метели, и тогда животные, уже ослабевшие, вынуждены бывают оставаться по несколько дней совершенно без корма, вследствие чего они падают в очень больших количествах. Потери в течение весны бывают так велики, что, если весна отличалась особою суровостью, они не могут быть пополнены даже новым приплодом — тем более что все лошади бывают истощены, и жеребята рождаются слабыми. Количество лошадей и рогатого скота всегда остается, таким образом, гораздо ниже того уровня, на котором оно могло бы держаться, если бы не было этой специальной причины — холодной и бурной весны. В продолжение всего года имеется пища в изобилии: ее хватило бы на количество животных, в пять или десять раз большее, чем то, которое существует в действительности; а между тем животное население степей возрастает чрезвычайно медленно. Но лишь только буряты, владельцы скота и табунов, начинают делать хотя бы самые незначительные запасы сена в степи, и открывают к ним доступ во время гололедицы, или глубоких снегов, как немедленно замечается увеличение их стад и табунов.

Почти в таких же условиях находятся почти все живущие на свободе травоядные животные и многие грызуны Азии и Америки, а потому мы с уверенностью можем утверждать, что их численность понижается не путем соперничества и взаимной борьбы; что ни в какое время года им не приходится бороться из-за пищи; и что если они никогда не размножаются до степени перенаселения, то причина этого лежит в климате, а не во взаимной борьбе из-за пищи.

Значение в природе *естественных препятствий* к излишнему размножению, и в особенности их отношение к гипотезе соревнования, повидимому, никогда еще не принимались в расчет в должной мере. Об этих препятствиях или, точнее, об некоторых из них упоминается мимоходом, но до сих пор их воздействие не разбиралось в подробности. Между тем, если сравнить действительное воздействие естественных причин на жизнь животных видов с возможным воздействием соперничества внутри вида, мы тотчас же должны признать, что последнее не выдерживает никакого сравнения с предыдущим. Так, например, Бэтс упоминает о просто невообразимом количестве крылатых муравьев, которые гибнут, когда роятся. Мертвые или полумертвые тела огненных муравьев (*Myrmica saevissima*), нанесенные в реку во время шторма, «представляли валик в дюйм или два высоты и такой же ширины, причем этот валик тянулся без перерыва на протяжении нескольких миль у края воды»^[88]. Мириады муравьев бывают таким образом уничтожены, среди природы, которая могла бы прокормить в тысячу раз больше

муравьев, чем их жило тогда в этом месте.

Д-р Альтум, немецкий лесничий, который написал очень поучительную книгу о животных, вредящих нашим лесам, также дает много фактов, указывающих на огромную важность естественных препятствий чрезмерному размножению. Он говорит, что ряд бурь, или же холодная и туманная погода во время отравлянья [отравление. — Прим. изд.] сосновой моли (*Bombyx pini*) уничтожает ее в невероятных количествах, и весной 1871 года вся эта моль исчезла сразу, вероятно, уничтоженная рядом холодных ночей^[89]. Много подобных примеров можно было бы привести относительно насекомых разных частей Европы. Д-р Альтум также упоминает о птицах, пожирающих сосновую моль, и об огромном количестве яиц этого насекомого, уничтожаемых лисицами; но он добавляет, что паразитные грибки, нападающие на нее периодически, оказываются гораздо более ужасными врагами моли, чем какая бы то ни была птица, так как они уничтожают моль сразу на огромном пространстве. Что же касается до различных видов мышей (*Mus sylvaticus*, *Arvicola arvalis* и *A. agrestis*), то Альтум, приведя длинный список их врагов, замечает: «Однако самыми страшными врагами мышей являются не другие животные, а те внезапные перемены погоды, которые случаются почти каждый год». Если морозы и теплая погода начинают чередоваться, они уничтожают мышей в бесчисленных количествах: «одна такая внезапная перемена погоды может из многих тысяч мышей оставить в живых всего несколько особей». С другой стороны, теплая зима, или зима, наступающая постепенно, дает им возможность размножаться в угрожающей пропорции, невзирая ни на каких врагов; так было в 1876 и 1877 годах^[90]. Соперничество оказывается, таким образом, по отношению к мышам, совершенно ничтожным фактором в сравнении с погодой. Факты такого же рода даны тем же автором и относительно белок.

Что же касается птиц, то всем нам хорошо известно, как они страдают от внезапных перемен погоды. Метели поздней весной так же губительны для птиц в диких местах Англии (moors), как и в Сибири; и г. Диксону приходилось видеть красных тетеревов (*Lagopus scoticus*, — Red Grouse), доведенных исключительно суровыми зимними холодами до того, что они в больших количествах покидали дикие места, «и нам известны случаи, когда их ловили на улицах Шеффилда. Продолжительная сырая погода, — прибавляет он, — почти так же губительна для них».

С другой стороны, заразные болезни, которые посещают по временам большинство животных видов, уничтожают их в таких количествах, что потери часто не могут быть пополнены в течение многих лет, даже среди наиболее быстро размножающихся животных. Так, например, в сороковых годах суслики внезапно исчезли в окрестностях Сарепты, в юго-восточной России, вследствие какой-то эпидемии, и в течение многих лет в этой местности нельзя было встретить ни одного суслика. Прошло много лет, раньше чем они размножились по-прежнему^[91].

Подобных фактов, из которых каждый уменьшает значение, придаваемое соперничеству и борьбе внутри вида, можно было бы привести множество (см. Приложение IX). Конечно, можно было бы ответить на них словами Дарвина, — что, тем не менее, каждое органическое существо «в какой-нибудь период своей жизни, в

продолжение какого-нибудь времени года, в каждом поколении или по временам, должно бороться за существование и претерпевать великое истребление», и что лишь наиболее приспособленные переживают подобные периоды тяжелой борьбы за существование. Но если бы эволюция животного мира была основана исключительно, или даже преимущественно, на переживании наиболее приспособленных *в периоды бедствий*; если бы естественный подбор был ограничен в своем воздействии периодами исключительной засухи, или внезапных перемен температуры, или наводнений, — *то регресс, а не прогресс был бы общим правилом в животном мире.*

Те, кто переживает голод, или суровую эпидемию холеры, оспы или дифтерита, свирепствующую в таких размерах, которые наблюдаются в нецивилизованных странах, вовсе не являются *ни наиболее сильными, ни наиболее здоровыми, ни наиболее разумными.* Никакой прогресс не мог бы основаться на подобных переживаниях, — тем более что все пережившие обыкновенно выходят из испытания с подорванным здоровьем, подобно тем забайкальским лошадям, о которых мы упоминали выше, или экипажам арктических судов, или гарнизонам крепостей, вынужденным жить в течение нескольких месяцев на половинных рационах, и по прекращении осады выходящие с разбитым здоровьем и с проявляющейся впоследствии среди них склонностью к совершенно ненормальной смертности. Все, что естественный подбор может сделать в периоды бедствий, сводится к сохранению особей, одаренных наибольшею *выносливостью* в перенесении всякого рода лишений. Такова и есть роль естественного подбора среди сибирских лошадей и рогатого скота. Они, действительно, отличаются выносливостью; они могут питаться, в случае необходимости, полярной березой; они могут противостоять холоду и голоду. Но зато сибирская лошадь может нести только половину того груза, который без напряжения несет европейская лошадь; ни одна сибирская корова не дает половины того количества молока, которое дает джерсейская корова, и ни один туземец из диких стран не выдержит сравнения с европейцами. Такие туземцы могут легче выносить голод и холод, но их физические силы гораздо ниже сил хорошо питающегося европейца, а их умственный прогресс совершается с отчаянной медленностью. «Зло не может порождать добра», — как писал Чернышевский в замечательном очерке, посвященном дарвинизму^[92].

К счастью, состязание не составляет общего правила, ни для животного мира, ни для человечества. Оно ограничивается, среди животных, известными периодами, и естественный подбор находит лучшую почву для всей деятельности. Лучшие условия для *прогрессивного* подбора создаются *устранением состязания* путем взаимной помощи и взаимной поддержки^[93]. В великой борьбе за существование — за наиболее возможную полноту и усиленность жизни при наименьшей ненужной растрате энергии — естественный подбор постоянно выискивает пути, именно с целью избежать, насколько возможно, состязания. Муравьи объединяются в гнезда и племена; они делают запасы, воспитывают для своих нужд «коров» — и таким образом избегают состязания; и естественный подбор выбирает из всех муравьев те виды, которые лучше умеют избегать внутреннего состязания, с его неизбежными пагубными последствиями. Большинство наших птиц медленно перекочевывает к югу, по мере наступления зимы, или же они собираются бесчисленными

сообществами и предпринимают далекие путешествия, — и таким образом избегают состязания. Многие грызуны впадают в спячку, когда наступает время возможного состязания, а другие породы грызунов запасаются на зиму пищей и живут сообща, обширными поселениями, дабы иметь необходимую защиту во время работы. Олени, когда олений мох засыхает внутри материка, переселяются по направлению к морю. Буйволы пересекают огромные материки ради изобилия пищи. А колонии бобров, когда они чересчур расплодятся на реке, разделяются на две части: старики уходят вниз по реке, а молодые идут вверх, для того чтобы избежать состязания. А если, наконец, животные не могут ни впасть в спячку, ни переселиться, ни сделать запасов пищи, ни сами выращивать потребную пищу, как это делают муравьи, — тогда они поступают, как синицы (прекрасное описание см. у Уоллеса, «Darwinism», гл. V), а именно: они переходят к новому роду пищи — и, таким образом, опять-таки избегают состязания (см. Приложение X).

«Избегайте состязания! Оно всегда вредно для вида, и у вас имеется множество средств избежать его!» Таково стремление (тенденция) природы, не всегда ею осуществляемое, но всегда ей присущее. Таков лозунг, доносящийся до нас из кустарников, лесов, рек, океанов. «А потому, объединяйтесь — практикуйте взаимную помощь! Она представляет самое верное средство для обеспечения наибольшей безопасности, как для каждого в отдельности, так и для всех вместе; она является лучшей гарантией для существования и прогресса физического, умственного и нравственного».

Вот чему учит нас Природа; и этому ее голосу вняли все те животные, которые достигли наивысшего положения в своих соответствующих классах. Этому же велению Природы подчинился и человек — самый первобытный человек, — и лишь вследствие этого он достиг того положения, которое мы занимаем теперь. В справедливости этого читатель убедится из последующих глав, посвященных взаимной помощи в человеческих обществах.

Глава III

Взаимная помощь среди дикарей

Предполагаемая война каждого против всех Родовое происхождение человеческого общества • Позднее появление отдельной семьи • Бушмены и готтентоты • Австралийцы, папуасы • Эскимосы, алеуты • Черты жизни дикарей, с затруднением принимаемые европейцами • Понятие о справедливости у даяков • Обычное право

Громадную роль взаимной помощи и взаимной поддержки в прогрессивном развитии животного мира мы бегло рассмотрели в предыдущих двух главах. Теперь нам предстоит бросить взгляд на роль, которую те же явления играли в эволюции человечества. Мы видели, как незначительно число животных видов, ведущих одинокую жизнь, и как, напротив того, бесчисленно количество тех видов, которые живут сообществами, объединяясь в целях взаимной защиты, или для охоты и накопления запасов пищи, ради воспитания потомства, или — просто для наслаждения жизнью сообщества. Мы видели также, что хотя между различными классами животных, различными видами или даже различными группами того же вида, происходит немало борьбы, но, вообще говоря, в пределах группы и вида господствуют мир и взаимная поддержка; причем те виды, которые обладают наибольшим умением объединяться и избегать, состязания и борьбы, имеют и лучшие шансы на переживание и дальнейшее прогрессивное развитие. Такие виды процветают, в то время как виды, чуждые общительности, идут к упадку.

Очевидно, что человек являлся бы противоречием всему тому, что нам известно о природе, если бы он представлял исключение из того общего правила: если бы существо столь незащитное, каким был человек на заре своего существования, нашло бы для себя защиту и путь к прогрессу не во взаимной помощи, как другие животные, а в безрассудной борьбе из-за личных выгод, не обращая никакого внимания на интересы всего вида. Для всякого ума, освоившегося с идеею о единстве природы, такое предположение покажется совершенно недопустимым. А между тем, несмотря на его невероятность и нелогичность, оно всегда находило сторонников. Всегда находились писатели, глядевшие на человечество, как пессимисты. Они знали человека, более или менее поверхностно, из своего личного ограниченного опыта, в истории они ограничивались знанием того, что рассказали нам летописцы, всегда обращавшие внимание, главным образом, на войны, на жестокости, на угнетение; и эти пессимисты приходили к заключению, что человечество представляет собою не что иное, как слабо связанное сообщество существ, всегда готовых драться между собою, и лишь вмешательством какой-нибудь власти удерживаемых от всеобщей свалки.

Гоббс (Hobbes), английский философ XVI века, первый после Бэкона решившийся объяснить зарождение нравственных понятий в человеке не из религиозных внушений, стал, как известно, именно на такую точку зрения.

Первобытные люди, по его мнению, жили в вечной междуусобной войне, пока не явились между них мудрые и властные законодатели, положившие начало мирному общежитию.

В XVIII веке были, конечно, мыслители, стремившиеся доказать, что ни в какую пору своего существования, — даже в самом первобытном периоде — человечество не жило в состоянии непрерывной войны, что человек был существом общественным, даже в «естественном состоянии», и что скорее отсутствие знаний, чем природные скверные наклонности, довели человечество до всех ужасов, которыми отличалась его прошедшая историческая жизнь. Но многочисленные последователи Гоббса продолжали тем не менее утверждать, что так называемое «естественное состояние» было ни чем иным, как постоянной борьбой между индивидуумами, случайным образом столпившимися под импульсами их звериной природы.

Со времени Гоббса наука сделала, конечно, успехи, и теперь у нас под ногами более твердая почва, чем была у него, или во времена Руссо. Но философия Гоббса по сию пору имеет достаточно поклонников, и в последнее время создалась целая школа писателей, которые, вооружившись не столько идеями Дарвина, сколько его терминологией, воспользовались последней для аргументации в пользу взглядов Гоббса на первобытного человека; им удалось даже придать этой аргументации какое-то подобие научной внешности. Гёксли, как известно, стал во главе этой школы, и в лекции, прочтенной в 1888 году, он изобразил первобытных людей чем-то в роде тигров или львов, лишенных каких бы то ни было этических понятий, не останавливающихся ни перед чем в борьбе за существование, — вся жизнь которых проходила в «постоянной драке». «За пределами ограниченных и временных семейных отношений, Гоббсовская война каждого против всех была, — говорил он, — нормальным состоянием их существования»^[94].

Не раз уже замечено было, что главная ошибка Гоббса и вообще философов XVIII века заключалась в том, что они представляли себе первобытный род людской в виде маленьких бродячих семей, наподобие «ограниченных и временных» семейств более крупных хищных животных. Между тем, теперь положительно установлено, что подобное предположение совершенно неверно. Конечно, у нас нет прямых фактов, свидетельствующих об образе жизни первых человекообразных существ. Даже время первого появления таких существ еще в точности не установлено, так как современные геологи склонны видеть их следы уже в плиоценовых и даже в миоценовых отложениях третичного периода. Но мы имеем в своем распоряжении косвенный метод, который дает нам возможность осветить до известной степени даже этот отдаленный период. Действительно, в течение последних сорока лет сделаны были очень тщательные исследования общественных учреждений у самых низших рас, и эти исследования раскрыли в теперешних учреждениях первобытных народов следы более древних учреждений, давно уже исчезнувших, но тем не менее оставивших несомненные признаки своего существования. Мало-помалу целая наука, посвященная эмбриологии человеческих учреждений, была создана трудами Бахофена, Мак-Ленанна, Моргана, Эдуарда Б. Тейлора, Мэна, Поста, Ковалевского и мн. др. И эта наука установила теперь, вне всякого сомнения, что человечество начало свою жизнь не в форме небольших

одиноких семей.

Семья не только не была первобытной формой организации, но, напротив, она является очень поздним продуктом эволюции человечества. Как бы далеко мы ни восходили вглубь палеоэтнологии человечества, мы везде находим людей, живших тогда сообществами, группами, подобными стадам высших млекопитающих. Очень медленная и продолжительная эволюция потребовалась для того, чтобы довести эти сообщества до организации рода (или клана), которая в свою очередь должна была подвергнуться другому, тоже очень продолжительному процессу эволюции, прежде чем могли появиться первые зародыши семьи, многоженной или одноженной.

Сообщества, банды, роды, племена — а не семьи — были, таким образом, первобытной формой организации человечества и его древнейших прародителей. К такому выводу пришла этнология после тщательных кропотливых исследований. В сущности, этот вывод могли бы предсказать зоологи, так как ни одно из высших млекопитающих, за исключением весьма немногих плотоядных и немногих, несомненно вымирающих, видов обезьян (орангутангов и горилл), не живет маленькими семьями, изолированно бродящими по лесам. *Все остальные живут сообществами.* И Дарвин так прекрасно понял, что изолированно живущие обезьяны никогда не смогли бы развиться в человекоподобные существа, что он был склонен рассматривать человека происходящим от какого-нибудь, сравнительно слабого, но непременно общительного вида обезьян, в роде шимпанзе, а не от более сильного, но необщительного вида, в роде гориллы^[95]. Зоология и палеоэтнология (наука о древнейшем человеке) приходят, таким образом, к одинаковому заключению, что древнейшей формой общественной жизни была группа, племя, а не семья. Первые человеческие сообщества просто были дальнейшим развитием тех сообществ, которые составляют самую сущность жизни высших животных^[96].

Если перейти теперь к положительным данным, то мы увидим, что самые ранние следы человека, относящиеся к ледниковому или раннему послеледниковому периоду, дают несомненные доказательства того, что человек уже тогда жил сообществами. Очень редко случается найти одинокое каменное орудие, даже из древнейшего, палеолитического периода; напротив того, где бы ни находили одно или два кремневых орудия, там всегда находили вскоре и другие, почти всегда в очень больших количествах. Уже в те времена, когда люди жили еще в пещерах, или в щелях между скал (как в Хэстингсе), или только укрывались под нависшими скалами, вместе с исчезнувшими с тех пор млекопитающими, и едва умели выделывать каменные топоры самого грубого вида, — они уже были знакомы с выгодами жизни сообществами.

Во Франции, в долинах притоков Дордони, вся поверхность скал в некоторых местах покрыта пещерами, служившими убежищем палеолитическому человеку, т. е. человеку древне-каменного века^[97]. Иногда пещерные жилища расположены этажами и несомненно более напоминают гнезда колоний ласточек, чем логовища хищных животных. Что же касается до кремневых орудий, найденных в этих пещерах, то, по выражению Леббока, «без преувеличения можно сказать, что они — бесчисленны». То же самое справедливо относительно всех других палеолитических стоянок. Судя по изысканиям Ларте, обитатели округа Ориньяк, в южной Франции,

устраивали уже родовые пиры при погребении своих умерших. Таким образом, люди жили сообществами, и у них проявлялись зачатки родового религиозного обряда, уже в ту, чрезвычайно отдаленную эпоху, на заре появления первых человекоподобных существ.

То же самое подтверждается, еще с большим обилием доказательств, относительно позднейшего периода каменного века. Следы неолитического человека встречаются в таких громадных количествах, что по ним можно было, в значительной мере, восстановить весь его образ жизни. Когда ледяной покров (который, в нашем полушарии, должен был простираться от полярных областей вплоть до середины Франции, Германии и России, и покрывал Канаду, а также значительную часть территории, занимаемой теперь Соединенными Штатами) начал таять, то поверхности, освободившиеся от льда, покрылись сперва топями и болотами, а позднее — бесчисленными озерами^[98].

Озера, очевидно, заполняли в ту пору все углубления и расширения в долинах, раньше чем воды промыли себе те постоянные русла, которые в последующую эпоху стали нашими реками. И куда бы мы ни обратились теперь, в Европе, Азии или Америке, — мы находим, что берега бесчисленных озер этого периода, — который по справедливости следовало бы назвать Озерным периодом — покрыты следами неолитического человека. Эти следы так многочисленны, что можно лишь удивляться густоте населения в ту эпоху. На террасах, которые теперь обозначают берега древних озер, «стоянки» неолитического человека близко следуют одна за другой, и на каждой из них находят каменные орудия в таких количествах, что не остается ни малейшего сомнения в том, что в продолжение очень долгого времени эти места были обитаемы довольно многочисленными племенами людей. Целые мастерские кремневых орудий, которые, в свою очередь, свидетельствуют о количестве рабочих, собиравшихся в одном месте, были открыты археологами.

Следы более позднего периода, уже характеризуемого употреблением глиняных изделий, мы имеем в так называемых «кухонных отбросах» Дании. Как известно, эти кучи раковин от 5 до 10 футов толщиной, от 100 до 200 футов в ширину, и в 1000 и более футов в длину, так распространены в некоторых местах морского побережья Дании, что долгое время их считали естественными образованиями. А между тем они состоят *исключительно* из таких материалов, которые так или иначе употреблялись человеком», и они до такой степени переполнены продуктами человеческого труда, что Леббок в течение всего лишь двухдневного пребывания в Мильгаарде нашел 191 кусок каменных орудий и четыре обломка глиняных изделий^[99]. Самые размеры и распространенность этих куч кухонных отбросов доказывают, что в течение многих и многих поколений по берегам Дании основались сотни небольших племен или родов, которые, без всякого сомнения, жили так же мирно между собою, как живут теперь обитатели берегов Огненной Земли, которые также набрасывают теперь подобные же кучи раковин и всяких отбросов^[100].

Что же касается до свайных построек Швейцарии, представляющих дальнейшую ступень на пути к цивилизации, они дают еще лучшие доказательства того, что их обитатели жили обществами и работали сообща. Известно, что уже в

каменном веке берега Швейцарских озер были усеяны рядами деревень, состоявших каждая из нескольких хижин, построенных на платформе, поддерживаемой бесчисленными сваями, вбитыми в дно озера. Не менее двадцати четырех деревень, из которых большинство принадлежало к каменному веку, было открыто за последние годы на берегах Женевского озера, тридцать две на Констанцском озере, сорок шесть на Невшатальском, и т. д.; и каждая из них свидетельствует о громадном количестве труда, выполненного сообща, — не семьей, а целым родом. Некоторые исследователи предполагают даже, что жизнь этих обитателей озер была в замечательной степени свободна от воинственных столкновений; и предположение это весьма вероятно, если принять в соображение жизнь тех первобытных племен, которые теперь еще живут в подобных же деревнях, построенных на сваях по берегам морей.

Мы видим, таким образом, даже из предыдущего краткого очерка, что в конце концов, наши сведения о первобытном человеке вовсе не так скудны, и что они во всяком случае скорее опровергают, чем подтверждают, предположения Гоббса. Сверх того, они могут быть пополнены в значительной мере, если обратиться к прямому наблюдению таких первобытных племен, которые в настоящее время стоят еще на том же уровне цивилизации, на каком стояли обитатели Европы в доисторические времена.

Что эти первобытные племена, которые существуют теперь, вовсе не представляют, — как утверждали некоторые ученые — выродившихся племен, которые когда-то были знакомы с более высокой цивилизацией, но утратили ее — уже было вполне доказано Эд. Б. Тэйлором и Дж. Лёббоком. Впрочем, к аргументам, приводившимся против теории вырождения, можно прибавить еще нижеследующий. За исключением немногих племен, которые держатся в малодоступных горных странах, так называемые «дикари» занимают пояс, который окружает более или менее цивилизованные нации, преимущественно на тех оконечностях наших материков, которые большею частью сохранили до сих пор, или же недавно еще носили характер ранней по-ледниковой эпохи.

Сюда принадлежат эскимосы и их сородичи в Гренландии, арктической Америке и Северной Сибири, а в Южном полушарии — австралийские туземцы, папуасы, обитатели Огненной Земли, и, отчасти, бушмены; причем в пределах пространства, занятого более или менее цивилизованными народами, подобные первобытные племена встречаются только в Гималаях, в нагорьях юго-восточной Азии и на Бразильском плоскогорье. Не должно забывать при этом, что ледниковый период закончился не сразу на всей поверхности земного шара; он до сих пор продолжается в Гренландии. Вследствие этого, в ту пору, когда приморские области Индийского океана, Средиземного моря или Мексиканского залива уже пользовались более теплым климатом, и в них развивалась более высокая цивилизация, — громадные территории в Средней Европе, Сибири и Северной Америке, а также Патагонии, в Южной Африке, Юго-восточной Азии и Австралии, оставались еще в условиях раннего после-ледникового периода, которые делали их необитаемыми для цивилизованных наций жаркого и умеренного пояса. В эту пору названные области представляли нечто вроде теперешних ужасных «урманов» северо-западной Сибири, и их население, недоступное для цивилизации и не

затронутое ею, удерживало характер раннего после-ледникового человека.

Только позднее, когда высыхание сделало эти территории более пригодными для земледелия, стали они заселяться более цивилизованными пришельцами; и тогда часть прежних обитателей была ассимилирована новыми засельщиками, тогда как другая часть отступала все дальше и дальше в направлении к приполярным странам и осела в тех местах, где мы теперь их находим. Территории, обитаемые ими в настоящее время, сохранили по сию пору, или сохраняли до очень не давнего времени, в физическом отношении, около-ледниковый характер; а искусства и орудия их обитателей до сих пор еще не вышли из неолитического, т. е. позднего каменного, периода. При этом, несмотря на расовые различия и на пространства, которые разделяют друг от друга эти племена, их образ жизни и общественные учреждения поразительно схожи между собою.

Мы можем поэтому рассматривать этих «дикарей», как остатки раннего послеледникового населения, занимавшего то, что теперь представляет цивилизованную область.

Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать первобытные народы, — это сложность организации брачных отношений, под которой они живут. У большинства из них семья, в том смысле, как мы ее понимаем, существует только в зачаточном состоянии. Но в то же самое время «дикари» вовсе не представляют из себя «мало связанных между собою скопищ мужчин и женщин, сходящихся беспорядочно, под влиянием минутных капризов». Все они подчиняются, напротив, известной организации, которую Льюис Морган описал в ее типичных чертах и назвал «родовою» или кланною, организацией^[101].

Излагая вкратце этот очень обширный предмет, мы можем сказать, что в настоящее время нет более сомнения в том, что человечество в начале своего существования прошло чрез стадию брачных отношений, которую можно назвать «родовым, или коммунальным браком»; т. е. мужчины и женщины, целыми родами, жили между собою, как мужья с женами, обращая весьма мало внимания на кровное родство. Но несомненно также и то, что некоторые ограничения этих свободных отношений между полами были наложены обычаем уже в очень раннем периоде. Брачные отношения вскоре были запрещены между сыновьями одной матери и ее сестрами, ее внучками и ее тетками. Позднее такие отношения были запрещены между сыновьями и дочерьми одной и той же матери, а затем вскоре последовали и другие ограничения.

Мало-помалу развилась идея *рода* (*gens*), который обнимал собою всех действительных, или предполагаемых, потомков от одного общего корня (скорее — всех, объединенных в одну родовую группу таким предполагаемым родством). А когда род размножался, от подразделения на несколько родов, из которых каждый делился в свою очередь на классы (обыкновенно, на четыре класса), то брак разрешался лишь между известными, точно определенными классами. Подобную стадию можно наблюдать еще теперь между туземцами Австралии, говорящими Камиларойским языком. Что же касается до семьи, то ее первые зародыши появились в родовой организации. Женщина, которая была захвачена в плен во время войны с каким-нибудь другим родом и прежде принадлежала бы, как добыча,

всему роду, в более поздний период удерживалась за собой тем, кто взял ее в плен, — при соблюдении, впрочем, известных обязательств по отношению к роду. Она могла быть помещена им в отдельной хижине, после того как она заплатила известного рода дань роду, и, таким образом, могла основать в пределах рода отдельную семью, появление которой, очевидно, открывало собой новую фазу цивилизации. Но ни в каком случае жена, клавшая это основание особой патриархальной семье, не могла быть взята из своего рода. Она могла происходить только из чужого рода.

Если мы примем во внимание, что эта сложная организация развилась среди людей, стоявших на самой низшей из известных нам ступеней развития, и что она поддерживалась в сообществах, не знавших никакой другой власти, кроме власти общественного мнения, мы сразу поймем, как глубоко должны были корениться общественные инстинкты в человеческой природе, даже на самых низших ступенях ее развития. Дикарь, который мог жить при такой организации, подчиняясь по собственной воле ограничениям, которые постоянно сталкивались с его личными пожеланиями, конечно, не был похож на зверя, лишенного каких бы то ни было этических начал и не знающего узды для своих страстей. Но этот факт становится еще более поразительным, если принять во внимание неизмеримо отдаленную древность родовой организации.

В настоящее время известно, что первобытные семиты, Гомеровские греки, доисторические римляне, германцы Тацита, древние кельты и славяне, — все прошли чрез период родовой организации, очень близко сходной с родовой организацией австралийцев, краснокожих индейцев, эскимосов и других обитателей «пояса дикарей»^[102].

Таким образом, мы должны допустить одно из двух: или развитие брачных обычаев шло по каким-нибудь причинам в одном и том же направлении у всех человеческих рас; или же зачатки родовых ограничений развились среди некоторых общих предков, бывших родоначальниками семитов, арийцев, полинезийцев и т. д., прежде чем эти предки определились в отдельные расы, и что эти ограничения поддерживались вплоть до настоящего времени среди рас, давно уже отделившихся от общего корня. Обе возможности в равной степени указывают, однако, на поразительную устойчивость этого учреждения — такую устойчивость, которой не могли разрушить никакие посягательства на нее личности, в течение многих десятков тысячелетий. Но самая стойкость родовой организации показывает, насколько ложен тот взгляд, в силу которого первобытное человечество изображают в виде беспорядочного скопища личностей, подчиняющихся одним лишь собственным страстям и пользующихся, каждая, своею личною силою и хитростью, чтобы одерживать верх над всеми другими. Необузданный индивидуализм — явление новейшего времени, но он вовсе не был свойствен первобытному человечеству^[103].

Переходя теперь к существующим в настоящее время дикарям, мы можем начать с бушменов, стоящих на очень низкой ступени развития — настолько низкой, что они не имеют даже жилищ, и спят в норах, вырытых в земле, или просто под прикрытием легких щитов из трав и ветвей, защищающих их от ветра. Известно, что

когда европейцы начали селиться на их территории и истребили громадные дикие стада красного зверя, пасшиеся до того времени на равнинах, бушмены начали красть рогатый скот у поселенцев, — и тогда эти пришельцы начали против бушменов отчаянную войну: они стали истреблять их со зверством, о котором я предпочитаю не рассказывать здесь. Пятьсот бушменов было истреблено таким образом в 1774 году; в 1808–1809 годах союз фермеров истребил их три тысячи, и т. д. Их отравляли, как крыс, выставляя отравленное мясо этим доведенным до голода людям, или пристреливали, как зверей, спрятавшись в засаде за трупом подброшенного животного; их убивали при всякой встрече^[104]. Таким образом, наши сведения о бушменах, полученные в большинстве случаев от тех самых людей, которые истребляли их, не могут отличаться особенной дружелюбностью. Тем не менее, мы знаем, что, во время появления европейцев бушмены жили небольшими родами, которые иногда соединялись в федерации; что они охотились сообща и делили между собою добычу без драки и ссор; что они никогда не бросали своих раненных и выказывали сильную привязанность к сотоварищам. Лихтенштейн рассказывает чрезвычайно трогательный эпизод об одном бушмене, который едва не потонул в реке и был спасен товарищами. Они сняли с себя свои звериные шкуры, чтобы прикрыть его, и сами дрожали от холода; они обсушили его, растирали его пред огнем и смазывали его тело теплым жиром, пока, наконец, не возвратили его к жизни. А когда бушмены нашли, в лице Иогана Вандервальта, человека, обращавшегося с ними хорошо, они выражали ему свою признательность проявлениями самой трогательной привязанности^[105]. Бурчелль и Моффатт изображают их добросердечными, бескорыстными, верными своим обещаниям и благодарными^[106], — все качества, которые могли развиваться, лишь будучи постоянно практикуемы в пределах рода. Что же касается до их любви к детям, то достаточно напомнить, что когда европеец хотел заполучить себе бушменку в рабство, он похищал ее ребенка; мать всегда являлась сама и становилась рабыней, чтобы разделить участь своего дитяти^[107].

Та же самая общительность встречается у готтентотов, которые немногим превосходят бушменов по развитию. Лёббок говорит об них, как о самых «грязных животных», и они, действительно, очень грязны. Все их одеяние состоит из повешенной на шею звериной шкуры, которую носят, пока она не распадется в куски; а их хижины состоят из нескольких жердей, связанных концами и покрытых циновками, причем внутри хижин нет ровно никакой обстановки. Хотя они держат быков и овец и, кажется, были знакомы с употреблением железа уже до встречи с европейцами, тем не менее они до сих пор стоят на одной из самых низких ступеней человеческого развития. И все же европейцы, которые были близко знакомы с их жизнью, с великой похвалою отзывались об их общительности и готовности помогать друг другу. Если дать что-нибудь готтентоту, он тотчас же делит полученное между всеми присутствующими — обычай, который, как известно, поразил также Дарвина у обитателей Огненной Земли. Готтентот не может есть один, и как бы он ни был голоден, он вызывает прохожих и делится с ними своей пищей. И когда Кольбен выразил по этому поводу свое удивление, ему ответили: «таков обычай у готтентотов». Но этот обычай свойствен не одним готтентотам: это — почти повсеместный обычай, отмеченный путешественниками у всех «дикарей».

Кольбен, хорошо знавший готтентотов и не обходивший молчанием их недостатков, не может нахвалиться их родовой нравственностью.

«Данное ими слово — для них священо», — пишет он. «Они совершенно незнакомы с испорченностью и вероломством Европы». «Они живут очень мирно и редко воюют со своими соседями». Они «полны мягкости и добродушия во взаимных отношениях... Одним из величайших удовольствий для готтентотов является обмен подарками и услугами». «По своей честности, по быстроте и точности отправления правосудия, по целомудрию готтентоты превосходят все, или почти все, другие народы»^[108].

Ташар (Tachart), Барроу (Barrow) и Муди (Moodie)^[109] вполне подтверждают слова Кольбена. Нужно только заметить, что когда Кольбен писал о готтентотах, что «во взаимных своих отношениях они — самый дружелюбный, самый щедрый и самый добродушный народ, какой когда-либо существовал на земле» (I, 332), — он дал определение, которое с тех пор постоянно повторяется путешественниками при описании самых разнообразных дикарей. Когда необразованные европейцы впервые сталкивались с первобытными расами, они обыкновенно изображали их жизнь карикатурным образом; но стоило умному человеку прожить среди дикарей более продолжительное время, и он уже описывал их как «самый кроткий» или «самый благородный» народ на земном шаре. Совершенно теми же самыми словами, самые достойные доверия путешественники характеризуют остяков, самоедов, эскимосов, даяков, алеутов, папуасов и т. д. Я также помню, что подобные же отзывы мне приходилось читать о тунгусах, о чукчах, об индейцах Сиу и некоторых других племенах дикарей. Самое повторение подобной похвалы уже говорит больше, чем целые тома специальных исследований.

Туземцы Австралии стоят по развитию не выше своих южно-африканских братьев. Их хижины имеют тот же характер и очень часто люди довольствуются даже простым щитом или ширмой из хвороста, для защиты от холодных ветров. В пище они не отличаются разборчивостью: в случае нужды они пожирают совершенно разложившуюся падаль, а когда случится голод, то иногда прибегают и к людоедству. Когда австралийские туземцы впервые были открыты европейцами, то оказалось, что они не имели никаких других орудий, кроме сделанных самым грубым образом из камня или кости. Некоторые племена не имели даже лодок и были совершенно незнакомы с меновой торговлей. А между тем, после тщательного изучения их привычек и обычаев, оказалось, что у них существует та самая выработанная родовая организация, о которой говорилось выше^[110].

Территория, на которой они живут, обыкновенно бывает поделена между различными родами, но область, на которой каждый род производит охоту или рыбную ловлю, остается в общественном владении, и продукты охоты и ловли идут всему роду^[111]. Роду же принадлежат орудия охоты и рыбной ловли. Еда происходит сообща. Подобно многим другим дикарям, австралийские туземцы держатся известных правил относительно времени, когда разрешается сбор различных видов камеди и трав^[112]. Что же касается до их нравственности вообще, то лучше всего привести здесь следующие ответы, данные Лумгольцем, миссионером, жившим в Северном Квинсленде, на запросы Парижского Антропологического общества^[113]:

«Чувство дружбы им знакомо; оно развито очень сильно. Слабые пользуются общественной помощью; за больными очень хорошо смотрят: их никогда не бросают на произвол судьбы и не убивают. Племена эти — людоеды, но они очень редко едят членов собственного племени (если не ошибаюсь — только тогда, когда убивают по религиозным мотивам); они едят только чужих. Родители любят своих детей, играют с ними и ласкают их. Детоубийство практикуется лишь с общего согласия. Со стариками обращаются очень хорошо и никогда не убивают их. У них нет ни религии, ни идолов, а существует только страх смерти. Брак — полигамический. Ссоры, возникающие в пределах рода, решаются путем дуэлей на деревянных мечах и с деревянными же щитами. Рабства не существует; обработки земли — никакой; глиняных изделий не имеется; одежды — нет, за исключением передника, носимого иногда женщинами. Род состоит из двухсот человек, разделенных на четыре класса мужчин и четыре класса женщин; брак допускается только между обычными классами, но никогда не в пределах самого рода».

Относительно папуасов, близко-родственных австралийцам, мы имеем свидетельство Г. Л. Бинка, жившего в Новой Гвинее, преимущественно в Geellwinck Bay, с 1871 по 1883 год. Приводим сущность его ответов на те же вопросы^[114].

«Папуасы — общительны и весьма веселого нрава; они много смеются. Скорее робки, чем храбры. Дружба довольно сильна между членами разных родов, и еще сильнее в пределах одного и того же рода. Папуас часто выплатит долги своего друга, с условием, что последний уплатит этот долг, без процентов, его детям. За больными и стариками присматривают; стариков никогда не покидают и не убивают, — за исключением рабов, которые долго болели. Иногда съедают военнопленных. Детей очень ласкают и любят. Старых и слабых военнопленных убивают, а остальных продают в рабство. У них нет ни религии, ни богов, ни идолов, ни каких бы то ни было властей; старейший член семьи является судьей. В случае прелюбодеяния (т. е. нарушения их брачных обычаев) виновник платит штраф, часть которого идет в пользу „негории“ (общины). Земля состоит в общем владении, но плоды земли принадлежат тому, кто их вырастил. Папуасы имеют глиняную посуду и знакомы с меновой торговлей, причем, согласно выработавшемуся обычаю, купец дает им товары, а они возвращаются по домам и приносят туземные произведения, в которых нуждается купец; если же они не могут добыть нужных произведений, то возвращают купцу его европейский товар^[115]. Папуасы „охотятся за головами“, т. е. практикуют кровавую месть. Впрочем, „иногда, — говорит Финш, — дело передается на рассмотрение Намототского раджи, который заканчивает дело наложением виры“».

Когда с папуасами хорошо обращаются, то они очень добродушны. Миклухо-Маклай высадившись, как известно, на восточном берегу Новой Гвинее, в сопровождении лишь одного только матроса, прожил там целых два года среди племен, считавшихся людоедами, и с грустью расстался с ними; он обещал вернуться к ним, и сдержал слово, — и прожил снова год, причем за все время у него не было с туземцами никакого столкновения. Правда, он держался правила: *никогда* — ни под каким предлогом — не говорить им неправды и не делать обещаний, которых он не мог выполнить. Эти бедные создания, не умеющие даже добывать огня и потому тщательно поддерживающие огонь в своих хижинах, живут

в условиях первобытного коммунизма, не имея никаких начальников, и в их поселках почти никогда не бывает ссор, о которых стоило бы говорить. Они работают сообща — ровно столько, сколько нужно для добывания пищи на каждый день; они сообща воспитывают своих детей; а по вечерам наряжаются, как можно кокетливее, и предаются пляскам. Подобно всем дикарям, они страстно любят пляски, представляющие своего рода родовые мистерии. В каждой деревне имеется своя «барла» или «балай» — «длинный» или «большой» дом — для холостых, в котором бывают общественные собрания и обсуждаются общественные дела — опять-таки черта, общая почти всем обитателям островов Тихого океана, а также эскимосам, краснокожим индейцам и т. д. Целые группы деревень находятся в дружественных отношениях между собою и навещают друг друга целым обществом.

К несчастью, между деревнями нередко возникает вражда, — не из-за «излишней густоты населения», или «обостренного соревнования» и тому подобных измышлений нашего меркантильного века, а главным образом вследствие суеверий. Как только кто-нибудь заболел, собираются его друзья и родственники и тщательнейшим образом обсуждают вопрос: кто мог бы быть виновником болезни? При этом перебирают всех возможных врагов, каждый кается в самых мелких своих ссорах, и, наконец, — истинная причина болезни найдена. Ее наслал такой-то враг из соседней деревни, а потому решают произвести на эту деревню набег. Вследствие этого ссоры обыкновенны, даже между береговыми деревнями, не говоря уже о живущих в горах людоедах, которых считают настоящими колдунами и врагами, — хотя при ближайшем знакомстве оказывается, что они ничем не отличаются от своих соседей, живущих по морскому побережью^[116].

Много поразительных страниц можно было бы написать о гармонии, господствующей в деревнях полинезийских обитателей на островах Тихого океана.

Но они стоят уже на несколько высшей ступени цивилизации, а потому мы возьмем дальнейшие примеры из жизни обитателей дальнего Севера. Прибавлю только, прежде чем покинуть Южное полушарие, что даже обитатели Огненной Земли, пользовавшиеся такой плохой репутацией, начинают выступать в более благоприятном свете по мере того, как мы лучше знакомимся с ними. Несколько французских миссионеров, живущих среди них, «не могут пожаловаться ни на один враждебный поступок». Они живут родами, по 120 и 150 душ, и так же практикуют первобытный коммунизм, как и папуасы. Они все делят между собою и очень хорошо обращаются со стариками. Полный мир господствует между этими племенами^[117].

У эскимосов и их ближайших сородичей тлинкитов, колошей и алеутов мы находим наиболее близкое подобие того, чем был человек во время ледникового периода. Употребляемые ими орудия едва отличаются от орудий древнего каменного века, и некоторые из этих племен еще не знакомы с искусством рыбной ловли: они просто убивают рыбу острой^[118]. Они знакомы с употреблением железа, но добывают его только от европейцев, или же находят в остовах кораблей после крушения. Их общественная организация отличается полною первобытностью, хотя они уже вышли из стадии «коммунального» брака, даже с его «классовыми»

ограничениями. Они живут уже семьями, но семейные узы еще слабы, так как по временам у них происходит обмен жен и мужей^[119]. Семьи, однако, остаются объединенными в роды, — да иначе и быть не может. Как могли бы они выдержать тяжелую борьбу за существование, если бы не объединяли своих сил самым тесным образом? Так они и поступают, причем родовые узы всего теснее там, где борьба за жизнь наиболее тяжела, а именно — в северо-восточной Гренландии. Живут они обыкновенно в «длинном доме», в котором помещается несколько семейств, отделенных друг от друга небольшими перегородками из рванных мехов, но с общим для всех коридором. Иногда такой дом имеет форму креста и в таких случаях в центре его помещается общий очаг. Германская экспедиция, которая провела зиму возле одного из таких «длинных домов», могла убедиться, что за всю арктическую зиму «мир не был нарушен ни одною ссорою, и никаких споров не возникало из-за пользования этим тесным пространством». Выговор, или даже недружелюбные слова не допускаются иначе, как в законной форме насмешливой песни (nith-song)^[120], которую женщины поют хором. Таким образом, тесное сожителство и тесная взаимная зависимость достаточны для поддержания из века в век того глубокого уважения к интересам сообщества, которым отличается жизнь эскимосов. Даже в более обширных эскимосских общинах «общественное мнение является настоящим судебным учреждением, причем обычное наказание состоит в том, что провинившегося стыдят перед всеми»^[121].

В основе жизни эскимосов лежит коммунизм. Все, добываемое путем охоты или рыбной ловли, принадлежит всему роду. Но у некоторых племен, особенно на Западе, под влиянием датчан, начинает слагаться частная собственность. Они, однако, употребляют довольно оригинальное средство, чтобы ослабить неудобства, возникающие из накопления богатства отдельными лицами, которое вскоре могло бы разрушить их родовое единство. Когда эскимос начинает сильно богатеть, он созывает всех своих сородичей на пиршество, и когда гости насытятся, он раздаривает им все свое богатство. На реке Юконе, в Аляске, Далль видел, как одна алеутская семья раздала таким образом десять ружей, десять полных меховых одежд, двести ниток бус, множество одеял, десять волчьих шкур, двести бобровых шкур и пятьсот горностаевых. Затем они сняли с себя свои праздничные одежды, отдали их и, одевшись в старые меха, обратились к своим сородичам с краткою речью, говоря, что хотя теперь они стали беднее каждого из гостей, зато они приобрели их дружбу^[122].

Подобные раздачи богатств стали, по-видимому, укоренившимся обычаем у эскимосов и практикуется в известную пору, каждый год, после предварительной выставки всего того, что было приобретено в течение года^[123]. Они представляют, по-видимому, очень древний обычай, возникший одновременно с первым появлением личного богатства, как средство восстановления равенства между сородичами, нарушавшегося обогащением отдельных лиц. Периодические переделы земель и периодическое прощение всех долгов, существовавшие в исторические времена у многих различных народов (семитов, арийцев и т. д.) были, вероятно, пережитком этого старинного обычая. Обычай погребения с покойником или уничтожения на его могиле всего его личного имущества, — который мы находим у всех первобытных рас, — должен, по-видимому, иметь то же самое происхождение.

В самом деле, в то время как все, принадлежавшее покойнику *лично*, сжигается или же разбивается на его могиле, те вещи, которые принадлежали ему совместно со всем его родом, как например, общинные лодки, сети и т. п., оставляются в целости. Уничтожению подлежит только личная собственность. В более позднюю эпоху этот обычай становится религиозным обрядом: ему дается мистическое толкование, и уничтожение предписывается религиею, когда общественное мнение, одно, оказывается уже не в силах настоять на обязательном для всех соблюдении обычая. Наконец, действительное уничтожение заменяется символическим обрядом, т. е. на могиле сжигают простые бумажные модели, или изображения имущества покойника (так делается в Китае), или же на могилу несут имущество покойника и приносят его обратно в дом по окончании погребальной церемонии; в этой форме обычай до сих пор сохранился, как известно, между европейцами, по отношению к мечам, крестам и другим знакам общественного отличия (см. Приложение XII).

О высоком уровне племенной нравственности эскимосов довольно часто упоминается в общей литературе. Тем не менее, следующие заметки о нравах алеутов — близких сородичей эскимосов — не лишены интереса, тем более, что они могут служить хорошим пояснением нравственности дикарей вообще. Они принадлежат перу чрезвычайно выдающегося человека, русского миссионера Вениаминова, который написал их после десятилетнего пребывания среди алеутов и тесного общения с ними. Я сокращаю их, удерживая по возможности собственные выражения автора.

Выносливость, — писал он, — их отличительна черта, и она поистине колоссальна. Они не только ходят купаться каждое утро в покрытое льдом море, и стоят затем, нагие, на берегу, вдыхая морозный воздух, но их выносливость, даже при тяжелой работе и недостаточной пище, — превосходит все, что только можно вообразить. Если случится недостаток пищи, алеут прежде всего заботится о своих детях; он отдает им все, что имеет, а сам голодает. Они не склонны к воровству, как это уже было замечено первыми русскими пришельцами. Не то, чтобы они никогда не воровали; каждый алеут признается, что он когда-нибудь уворовал что-нибудь, но всегда это какой-нибудь пустяк, и все это носит совершенно ребяческий характер. Привязанность у родителей к детям очень трогательна, хотя она никогда не выражается в ласках или словами. Алеут с трудом решается дать какое-нибудь обещание, но, раз давши, он сдержит его во что бы то ни стало. (Один алеут подарил Вениаминову связку вяленой рыбы, но, при спешном отъезде, она была забыта на берегу, и алеут унес ее обратно домой. Случая отправить ее Вениаминову не представилось вплоть до января, а между тем, в ноябре и декабре среди этих алеутов была большая недостача съестных припасов. Но голодающие алеуты не дотронулись до подаренной уже рыбы, и в январе она была послана по назначению.) Их нравственный кодекс и разнообразен, и суров. Так например, считается постыдным: бояться неизбежной смерти; просить пощады у врага; умереть, не убив ни одного врага; быть изобличенным в воровстве; опрокинуться с лодки в гавани; бояться выехать в море в бурную погоду; лишиться сил раньше других товарищей, если случится недостаток в пище во время длинного пути; обнаружить жадность во время дележа добычи, — причем, дабы устыдить такого жадного товарища, остальные отдают ему свои доли. Постыдным считается также: выболтать

общественную тайну своей жене; будучи вдвоем на охоте, не предложить лучшую долю добычи товарищу; хвастать своими подвигами, а в особенности вымышленными; ругаться со злобою; также — просить милостыню; ласкать свою жену в присутствии других и танцевать с ней; торговаться самолично: продажа всегда должна быть сделана через третье лицо, которое и определяет цену. Для женщины считается постыдным: не уметь шить и вообще неумело исполнять всякого рода женские работы; не уметь танцевать; ласкать мужа и детей или даже говорить с мужем в присутствии посторонних^[124].

Такова нравственность алеутов, и дальнейшее подтверждение сказанного легко было бы заимствовать из их сказок и легенд. Прибавлю только, что когда Вениаминов писал свои «Записки» (в 1840 году), среди алеутов, — представлявших население в 60 000 человек, за шестьдесят лет совершенно было только одно убийство, а за сорок лет, среди 1800 алеутов, не было совершенно ни одного уголовного преступления. Это, впрочем, не покажется странным, если вспомнить, что всякого рода брань и грубые выражения абсолютно неизвестны в жизни алеутов. Даже их дети никогда не дерутся между собой и не оскорбляют друг друга словесно. Самым сильным выражением в их устах являются фразы в роде: «твоя мать не умеет шить» или «твой отец — кривой»^[125].

Многие черты в жизни дикарей остаются, однако загадкой для европейцев. В подтверждение высокого развития родовой солидарности у дикарей и их добрых взаимных отношений можно было бы привести какое угодно количество самых достоверных показаний. А между тем, не менее достоверно и то, что те же самые дикари практикуют детоубийство, что они в некоторых случаях убивают своих стариков, и что все они слепо повинуются обычаю кровавой мести. Мы должны, поэтому, попытаться объяснить одновременное существование таких фактов, которые для европейского ума кажутся на первый взгляд совершенно несовместимыми.

Мы только что упомянули о том, как алеут будет голодать целыми днями и даже неделями, отдавая все съедобное своему ребенку; как мать-бушменка идет в рабство, чтобы не разлучаться со своим ребенком, и можно было бы заполнить целые страницы описанием действительно *нежных* отношений, существующих между дикарями и их детьми. У всех путешественников постоянно попадают подобные факты. У одного вы читаете о нежной любви матери; у другого рассказывается об отце, который бешено мчится по лесу, неся на своих плечах ребенка, ужаленного змеей; или какой-нибудь миссионер повествует об отчаянии родителей при потере ребенка, которого он же спас от принесения в жертву, тотчас же после рождения; или же узнаете, что «дикарки»-матери обыкновенно кормят детей до четырехлетнего возраста, и что на Ново-Гебридских островах, в случае смерти особенно любимого ребенка, его мать или тетка убивают себя, чтобы ухаживать за своим любимцем на том свете^[126], и т. д., без конца.

Подобные факты упоминаются во множестве; а потому, когда мы видим, что те же самые любящие родители практикуют детоубийство, мы необходимо должны признать, что такой обычай (каковы бы ни были его позднейшие видоизменения) возникший под прямым давлением необходимости, как результат чувства долга по

отношению к роду и ради возможности выращивать уже подрастающих детей. Вообще говоря, дикари вовсе «не плодятся без меры», как выражаются некоторые английские писатели. Напротив, они принимают всякого рода меры для уменьшения рождаемости. Именно в этих видах существует у них целый ряд самых разнообразных ограничений, которые европейцам, несомненно показались бы даже излишне стеснительными, и, тем не менее, строго соблюдаются дикарями. Но при всем том первобытные народы не в силах выкармливать всех рождающихся детей, и тогда они прибегают к детоубийству. Впрочем, не раз было замечено, что как только им удастся увеличить свои обычные средства существования, они тотчас же перестают прибегать к этому средству; вообще родители очень неохотно подчиняются этому обычаю, и при первой возможности прибегают ко всякого рода компромиссам, лишь бы сохранить жизнь своих новорожденных. Как уже было прекрасно указано моим другом Эли Реклю в прекрасной, к сожалению, недостаточно известной книге о дикарях^[127], они выдумывают ради этого счастливые и несчастные дни рождения, чтобы пощадить хотя жизнь детей, рожденных в счастливые дни; они всячески пытаются отложить умерщвление на несколько часов и потом говорят, что если ребенок уже прожил сутки, ему суждено прожить всю жизнь^[128]. Им слышатся крики маленьких детей, будто бы доносящиеся из леса, и они утверждают, что если послышится такой крик, он предвещает несчастье для целого рода; а так как у них нет ни специалистов по производству «ангелов», ни «яслей», которые помогали бы им отделяться от детей, то каждый из них содрогается при необходимости выполнить жестокий приговор, и потому они предпочитают выставить младенца в лес, чем отнять у него жизнь насильственным образом. Детоубийство поддерживается, таким образом, недостатком знаний, а не жестокостью; и вместо пичканья дикарей проповедями, миссионеры сделали бы гораздо лучше, если бы последовали примеру Вениаминова, который ежегодно, до глубокой старости, переплывал Охотское море в плохонькой шхуне, для посещения тунгусов и камчадалов или же путешествовал на собаках среди чукчей, снабжая их хлебом и принадлежностями для охоты. Таким образом, ему действительно, удалось совершенно вывести детоубийство^[129].

То же самое справедливо и по отношению к тому явлению, которое поверхностные наблюдатели называют отцеубийством. Мы только что видели, что обычай умерщвления стариков вовсе не так широко распространен, как это рассказывали некоторые писатели. Во всех этих рассказах много преувеличения; но несомненно, что такой обычай встречается, временно, почти у всех дикарей и в таких случаях он объясняется теми же причинами, как и умерщвление детей. Когда старик «дикарь» начинает чувствовать, что он становится бременем для своего рода; когда каждое утро он видит, что достающуюся ему долю пищи отнимают у детей, — а малютки, ведь, не отличаются стоицизмом своих отцов и плачут, когда они голодны; когда каждый день молодым людям приходится нести его на своих плечах по каменистому побережью или через девственный лес, — у дикарей, ведь, нет ни кресел на колесах для больных, ни бедняков, чтобы возить такие кресла, — тогда старик начинает повторять то, что и до сих пор говорят старики-крестьяне в России: «чужой век заедаю — пора на покой!» И он идет на покой. Он поступает так же, как в таких случаях поступает солдат. Когда спасение отряда зависит от его

дальнейшего движения вперед, а солдат не может дальше идти, и знает, что должен будет умереть, если останется позади, он умоляет своего лучшего друга оказать ему последнюю услугу, прежде чем отряд двинется вперед. И друг дрожащими руками разряжает ружье в умирающее тело.

Так поступают и дикари. Старик дикарь просит для себя смерти; он сам настаивает на выполнении этой последней своей обязанности по отношению к своему роду. Он получает сперва согласие своих сородичей на это. Тогда он сам роет для себя могилу и приглашает всех сородичей на последний прощальный пир. Так, в свое время, поступил его отец, — теперь его черед, и он дружественно прощается со всеми, прежде чем расстаться с ними. Дикарь до такой степени считает подобную смерть выполнением *обязанности* по отношению к своему роду, что он не только отказывается, чтобы его спасали от смерти (как это рассказывает Моффатт), но даже не признает такого избавления, если бы оно было совершено. Так, когда одна женщина, которая должна была умереть на могиле своего мужа (в силу обряда, упомянутого раньше), была спасена от смерти миссионерами и увезена ими на остров, — она убежала от них ночью, переплыла широкий пролив и явилась к своему роду, чтобы умереть на могиле^[130]. Смерть, в таких случаях, становится у них вопросом религии. Но, вообще говоря, дикарям настолько противно бывает проливать кровь, иначе, как в битве, что даже в этих случаях, ни один из них не возьмет на себя убийство, а потому они прибегают ко всякого рода окольным путям, которых европейцы не понимали и совершенно ложно истолковывали. В большинстве случаев старика, решившегося умереть, оставляют в лесу, выделив ему более чем должную ему долю из общественного запаса. Сколько раз разведочным партиям в полярных экспедициях случалось поступать точно так же, когда они не в силах были более везти заболевшего товарища. «Вот тебе провизия. Проживи еще несколько дней! *Быть может*, откуда-нибудь придет неожиданная помощь!»

Западноевропейские ученые, встречаясь с такими фактами, оказываются решительно неспособными понять их; они не могут примирить их с фактами, свидетельствующими о высоком развитии родовой нравственности, и потому предпочитают набросить тень сомнения на абсолютно надежные наблюдения, касающиеся последней, вместо того, чтобы искать объяснения для совместного существования двоякого рода фактов: высокой родовой нравственности, и рядом с нею — убийства престарелых родителей и новорожденных детей. Но если бы те же самые европейцы, в свою очередь, рассказали дикарю, что люди — чрезвычайно любезные, привязанные к своим детям и настолько впечатлительные, что они плачут, когда видят несчастье, изображаемое на сцене театра — живут в Европе бок о бок с такими лачугами, где дети мрут прямо-таки от недостатка пищи, — то дикарь тоже не понял бы их. Я помню, как тщетно я старался объяснить моим приятелям-тунгусам нашу цивилизацию, построенную на индивидуализме: они не понимали меня и прибегали к самым фантастическим догадкам. Дело в том, что дикарь, воспитанный в идеях родовой солидарности, практикуемой во всех случаях, худых и хороших, точно так же неспособен понять «нравственного» европейца, не имеющего никакого понятия о такой солидарности, как средний европеец не способен понять дикаря. Впрочем, если бы нашему ученому пришлось прожить среди полуголодного рода дикарей, у которых всей наличной пищи не хватило бы

даже для прокормления одного человека на несколько дней, тогда он, может быть понял бы, чем дикари руководятся в своих поступках. Равным образом, если бы дикарь пожил среди нас и получил наше «образование», он, может быть, понял бы наше европейское бездушие по отношению к ближним и наши Королевские комиссии, занимающиеся вопросом о предупреждении различных легальных форм детоубийства, практикуемых в Европе^[131]. «В каменных домах сердца становятся каменные», — говорят русские крестьяне; но дикарю все-таки пришлось бы пожить сперва в каменном доме.

Подобные же замечания можно бы было сделать и относительно людоедства. Если принять во внимание все факты, которые выяснились недавно, во время рассуждений об этом вопросе в Парижском Антропологическом Обществе, а также многие случайные заметки, разбросанные в литературе о «дикарях», мы обязаны будем признать, что людоедство было вызвано настоятельной необходимостью; и что только под влиянием предрассудков и религии оно развилось до тех ужасных размеров, каких оно достигло на островах Фиджи или в Мексике, — без всякой нужды, когда оно стало религиозным обрядом.

Известно, что вплоть до настоящего времени многие дикари бывают вынуждены иногда питаться падалью, почти совершенно разложившеюся, а в случаях совершенного отсутствия пищи некоторым из них приходилось разрывать могилы и питаться человеческими трупами, даже во время эпидемии. Такого рода факты вполне удостоверены. Но если мы перенесем мысленно к условиям, которые приходилось переносить человеку во время ледникового периода, в сыром и холодном климате, не имея в своем распоряжении почти никакой растительной пищи; если примем в расчет страшные опустошения, производимые по сию пору цингой среди голодающих полудиких народов, и вспомним, что мясо и свежая кровь были единственными известными им укрепляющими средствами, мы должны будем допустить, что человек, который сперва был зерноядным животным, стал, по всей вероятности, плотоядным во время ледникового века, когда с севера медленно надвигался громадный ледяной покров и своим холодным дыханием мертвил всю растительность.

Конечно, в то время, вероятно, было изобилие всякого зверя; но известно, что звери часто предпринимают большие переселения в арктических областях^[132], и иногда совершенно исчезают на несколько лет из данной территории. С надвиганием же ледяного покрова звери, очевидно, удалялись к югу, — как теперь это делают косули, бегущие, в случае больших снегов, с северного берега Амура на южный. В таких случаях человек лишался последних средств пропитания. Мы знаем, далее, что даже европейцы, во время подобных тяжелых испытаний, прибегали к людоедству: немудрено, что прибегали к нему и дикари. Вплоть до настоящего времени они, по временам, бывают вынуждены съедать трупы своих покойников, а в прежние времена они, в таких случаях, вынуждены были съедать и умирающих. Старики умирали тогда, убежденные, что своей смертью они оказывают последнюю услугу своему роду. Вот почему некоторые племена приписывают каннибализму божественное происхождение, представляя его, как нечто, внушенное повелением посланника с неба.

Позднее людоедство потеряло характер необходимости и обратилось в суеверное «переживание». Врагов надо было съесть, чтобы унаследовать их храбрость; потом, в более позднюю эпоху, для той же цели съедалось уже одно только сердце врага, или его глаз. В то же время, среди других племен, у которых развилось многочисленное духовенство и выработалась сложная мифология, были придуманы злые боги, жаждущие человеческой крови, и жрецы требовали человеческих жертв для умиловливания богов. В этой религиозной фазе своего существования каннибализм достиг наиболее возмутительных своих форм. Мексика является хорошо известным в этом отношении примером, а на Фиджи, где король мог съесть любого из своих подданных, мы также находим могущественную касту жрецов, сложную теологию^[133] и полное развитие неограниченной власти королей. Таким образом, каннибализм, возникший в силу необходимости, сделался в более поздний период религиозным учреждением, и в этой форме он долго существовал, после того, как давно уже исчез среди племен, которые, несомненно, практиковали его в прежние времена, но не достигли теократической стадии развития. То же самое можно сказать относительно детоубийства и оставления на произвол судьбы престарелых родителей. В некоторых случаях эти явления также поддерживались, как пережиток старых времен, в виде религиозно хранимого предания.

В заключение я упомяну еще об одном чрезвычайно важном и повсеместном обычае, который также дал повод в литературе к самым ошибочным заключениям. Я имею в виду обычай кровавой мести. Все дикари убеждены, что пролитая кровь должна быть отомщена кровью. Если кто-нибудь был убит, то убийца тоже должен умереть; если кто-нибудь был ранен и пролита была его кровь, то кровь нанесшего рану тоже должна быть пролита. Никаких исключений из этого правила не допускается: оно распространяется даже на животных; если охотник пролил кровь — убивая медведя, или белку, — его кровь тоже должна быть пролита, по возвращении его с охоты. Таково понятие дикарей о справедливости — понятие, до сих пор удержавшееся в Западной Европе по отношению к убийству.

Покуда оскорбитель и оскорбленный принадлежат к тому же самому роду, дело решается очень просто: род и потерпевшее лицо сами решают дело^[134]. Но когда преступник принадлежит к другому роду и этот род, по каким-либо причинам, отказывает в удовлетворении, тогда оскорбленный род берет на себя отмщение. Первобытные люди смотрят на поступки каждого в отдельности, как на дело всего его рода, получившее одобрение рода, а потому они считают весь род ответственным за деяния каждого его члена. Вследствие этого отмщение может упасть на любого члена того рода, к которому принадлежит обидчик^[135]. Но часто случается, что месть превзошла обиду. Имея в виду нанести только рану, мстители могли убить обидчика, или же ранить его тяжелее, чем предполагали; тогда получается новая обида другой стороны, которая требует от нее новой родовой мести; дело затягивается, таким образом, без конца. А потому первобытные законодатели очень старательно устанавливали точные границы возмездия: око за око, зуб за зуб и кровь за кровь^[136]. Но не более! Замечательно, однако, что у большинства первобытных народов подобные случаи кровавой мести несравненно реже, чем можно было ожидать; хотя у некоторых из них они достигают совершенно ненормального развития, особенно среди горцев, загнанных в горы иноземными

пришельцами, как например, у горцев Кавказа и в особенности у даяков на Борнео. У даяков — по словам некоторых современных путешественников — дело будто бы дошло до того, что молодой человек не может ни жениться, ни быть объявленным совершеннолетним, прежде чем он принесет хоть одну голову врага. Так, по крайней мере, рассказывал, со всеми подробностями, некий Карл Бокк^[137]. Оказывается, однако, что сведения, сообщаемые в этой книге, до крайности преувеличены. Во всяком случае, то, что англичане называют «охота за головами», представляется в совершенно ином свете, когда мы узнаем, что предполагаемый «охотник» вовсе не «охотится» и даже не руководится личным чувством мести. Он поступает сообразно тому, что считает нравственным обязательством по отношению к своему роду, а потому поступает точно так же, как европейский судья, который, подчиняясь тому же, очевидно, ложному началу: «кровь за кровь», отдает осужденного им убийцу в руки палача. Оба — и даяк, и наш судья — испытали бы даже угрызение совести, если бы из чувства сострадания пощадили убийцу. Вот почему даяки, вне этой сферы убийств, совершаемых под влиянием их понятий о справедливости, оказываются, по единогласному свидетельству всех, кто хорошо познакомился с ними, чрезвычайно симпатичным народом. Сам Карл Бокк, который дал такую ужасную картину «охоты за головами», пишет об них: «Что касается до нравственности даяков, то я должен отвести им высокое место в ряду других народов... Грабежи и воровство совершенно неизвестны среди них. Они также отличаются большой правдивостью... Если я не всегда успевал добиться от них „всей правды“, — все же я никогда не слыхал от них ничего, кроме правды. К сожалению, нельзя сказать того же о малайцах» (стр. 209 и 210).

Свидетельство Бокка вполне подтверждается Идой Пфейфер. «Я вполне поняла, — писала она, — что с удовольствием продолжала бы путешествовать среди них. Я обыкновенно находила их честными, добрыми и скромными... в гораздо большей степени, чем какой-либо из других, известных мне, народов»^[138]. Штольце, говоря о даяках, употребляют почти те же самые выражения. Даяки обыкновенно имеют по одной только жене и хорошо обращаются с нею. Они очень общительны и каждое утро весь род отправляется большими партиями на рыбную ловлю, на охоту или на огородные работы. Их деревни состоят из больших хижин, в каждой из которых помещается около дюжины семейств, а иногда и несколько сот человек, причем все они живут между собою очень миролюбиво. Они с большим уважением относятся к своим женам и очень любят своих детей; когда кто-нибудь заболит — женщины ухаживают за ним поочередно. Вообще они очень умеренны в пище и питье. Таковы даяки в своей действительной повседневной жизни.

Приводить дальнейшие примеры из жизни дикарей значило бы только повторять, еще и еще, то, что уже сказано. Куда бы мы ни обратились, везде мы находим те же общительные нравы, тот же мирской дух. И когда мы пытаемся проникнуть во мрак былых веков, мы видим в них ту же родовую жизнь и те же, хотя бы и очень первобытные, союзы людей для взаимной поддержки. Поэтому Дарвин был совершенно прав, когда видел в общественных качествах человека главную деятельную силу его дальнейшего развития, а вульгаризаторы Дарвина совершенно не правы, когда утверждают противное.

«Сравнительная слабость человека и малая быстрота его движений, — писал

он, — а также недостаточность его природного вооружения и т. д., более чем уравнивались, — во-первых, его умственными способностями (которые, как заметил Дарвин в другом месте, развивались, главным образом, или даже исключительно, в интересах общества); и во-вторых, его общественными качествами, в силу которых он подавал помощь своим собратьям людям и получал ее от них»^[139].

В восемнадцатом веке было в ходу идеализировать «дикарей» и жизнь «в естественном состоянии». Теперь же люди науки впали в противоположную крайность, в особенности с тех пор, как некоторые из них, стремясь доказать животное происхождение человека, но не будучи знакомы с общественностью животных, начали обвинять дикаря во всевозможных воображаемых «скотских» наклонностях. Очевидно однако, что такое преувеличение еще более ненаучно, чем идеализация Руссо. Первобытный человек не может считаться ни идеалом добродетели, ни идеалом «дикости». Но у него есть одно качество, выработанное в нем и укрепленное самыми условиями его тяжелой борьбы за существования; он отождествляет свое собственное существование с жизнью своего рода; и без этого качества человечество никогда не достигло бы того уровня, на котором оно находится теперь.

Первобытные люди, как мы уже сказали выше, до такой степени отождествляют свою жизнь с жизнью своего рода, что каждый из их поступков, как бы он ни был незначителен сам по себе, рассматривается, как дело всего рода. Все их поведение управляется целым рядом устных правил благопристойности, которые являются плодом их общего опыта относительно того, что следует считать добром или злом, т. е., что полезно или вредно для их собственного рода. Конечно, умозаключения, на которых основаны их правила благопристойности, бывают иногда чрезвычайно нелепы. Многие из них имеют свое начало в суевериях. Вообще, что бы дикарь ни делал, он видит одни только ближайшие последствия своих поступков; он не может предвидеть их косвенные и более отдаленные последствия, но в этом он только усиливает ошибку, в которой Бентам упрекал цивилизованных законодателей. Мы можем находить обычное право дикарей нелепым, но они подчиняются его предписаниям, как бы они ни были для них стеснительными. Они подчиняются им даже более слепо, чем цивилизованный человек подчиняется предписаниям своих законов. Обычное право дикаря — это его религия; это — самое свойство его жизни. Мысль о роде всегда присутствует в его уме; а потому самоограничение и самопожертвование в интересах рода — самое обыденное явление. Если дикарь нарушил которое-нибудь из мелких правил, установленных его родом, женщины преследуют его своими насмешками. Если же нарушение имеет более серьезный характер, тогда его день и ночь мучит страх, что он накликал несчастье на весь род, пока род не снимет с него его вины. Если дикарь случайно ранил кого-нибудь из своего собственного рода, и таким образом совершил величайшее из преступлений, он становится совершенно несчастным человеком: он убегает в леса и готов покончить с собой, если род не снимет с него вину, причинивши ему какую-нибудь физическую боль, или проливши некоторое количество его собственной крови^[140]. В пределах рода все делится сообща; каждый кусок пищи, как мы видели, разделяется между всеми присутствующими; даже в лесу дикарь приглашает

всякого желающего разделить с ним пищу^[141].

Короче говоря, в пределах рода правило: «каждый за всех» царствует безусловно, до тех пор, пока возникновение отдельной семьи не начнет разрушать родового единства. Но это правило не распространяется на соседние роды или племена, даже если они вступили в союз для взаимной защиты. Каждое племя или род представляет отдельную единицу. Как у млекопитающих и у птиц, территория не остается нераздельной, а распределяется между отдельными семьями, так и у них она распределяется между отдельными племенами, и за исключением военного времени, эти границы свято соблюдаются. Вступая на территорию соседей, каждый должен показать, что он не имеет дурных намерений и чем громче он возвещает о своем приближении, тем более он пользуется доверием; если же он входит в дом, то должен оставить свой топор у входа. Но ни один род не обязан делиться своей пищей с другими родами: он волен делиться, или нет. Вследствие этого, вся жизнь первобытного человека распадается на два рода отношений, и ее следует рассматривать с двух различных этических точек зрения: отношения в пределах рода и отношения вне его; причем (подобно нашему международному праву) «междуродовое» право сильно отличается от обычного родового права. Вследствие этого, когда дело доходит до войны между двумя племенами, самые возмутительные жестокости по отношению к врагам могут рассматриваться, как нечто заслуживающее высокой похвалы.

Такое двойственное понимание нравственности проходит, впрочем, чрез все развитие человечества, и оно сохранилось вплоть до настоящего времени. Мы, европейцы, кое-что сделали, — не очень-то много, во всяком случае, — чтобы избавиться от этой двойной нравственности; но нужно также сказать, что если мы, до известной степени, распространили наши идеи солидарности — по крайней мере, в теории — на целую нацию и отчасти также на другие нации, мы в то же самое время ослабили узы солидарности в пределах наших наций, и даже в пределах самой нашей семьи.

Появление отдельных семей внутри рода неизбежным образом нарушало установившееся единство. Семья — особняк — неизбежно ведет к отдельной собственности и к накоплению личного богатства. Мы видели, однако, как эскимосы стремятся предотвратить неудобства этого нового элемента в родовой жизни.

В дальнейшем развитии человечества то же стремление принимает новые формы; и проследить различные бытовые учреждения (деревенские общины, гильдии и т. п.), при помощи которых народные массы стремились поддержать родовое единство, вопреки влияниям, стремившимся его разрушить, составило бы одно из самых поучительных исследований. С другой стороны, первые зародыши познания, появившиеся в чрезвычайно отдаленные времена, когда они еще сливались с колдовством, также сделались в руках личности силою, которую можно было направлять против интересов рода. Эти зародыши знаний держались тогда в большом секрете и передавались одним лишь посвященным, в тайных обществах колдунов, шаманов и жрецов, которые мы находим у всех решительно первобытных племен. Кроме того, в то же время, войны и набеги создавали военную власть, а также касту воинов, которых союзы и «клубы» мало-помалу приобретали

громадную силу. Но при всем том никогда, ни в какой период жизни человечества, войны не были *нормальным* условием жизни. В то время как воины истребляли друг друга, а жрецы прославляли эти убийства, народные массы продолжали жить обыденной жизнью и отправлять обычную свою повседневную работу. И проследить эту жизнь масс, изучить средства, при помощи которых они поддерживали свою общественную организацию, основанную на их понятиях о равенстве, взаимопомощи и взаимной поддержке — т. е. на их обычном праве, — даже тогда, когда они были подчинены самой свирепой теократии или автократии в государстве, — изучить эту сторону развития человечества, — самое главное в настоящее время для истинной науки о жизни.

Глава IV

Взаимная помощь среди варваров

Великие переселения • Возникшая необходимость новой организации • Деревенская община • Общинная работа • Судебная процедура • Международное право • Пояснения, заимствованные из теперешней жизни • Буряты • Кабилы • Кавказские горцы • Африканские племена

Изучая первобытных людей, нельзя не удивляться развитию общительности, которую человечество проявило с самых первых шагов своей жизни. Следы человеческих обществ были найдены в остатках каменного века, как позднейшего, так и древнейшего; а когда мы начинаем изучать современных дикарей, образ жизни которых не отличается от образа жизни человека, в позднейшем каменном веке (неолитическом периоде), мы находим, что эти дикари связаны между собой чрезвычайно древнею родовой организацией, которая дает им возможность объединять свои слабые индивидуальные силы, наслаждаться жизнью сообща и подвигаться вперед в своем развитии. Человек, таким образом, не представляет исключения в природе. Он также подчинен великому началу взаимной помощи, которая обеспечивает наилучшие шансы выживания только тем, кто оказывает друг другу наибольшую поддержку в борьбе за существование. Таковы были заключения, к которым мы пришли в предыдущей главе.

Как только, однако, мы переходим к более высокой ступени развития и обращаемся к истории, которая уже может рассказать нам кое-что об этой ступени, мы бываем поражены борьбой и столкновениями, которые раскрывает нам эта история. Старые узы, по-видимому, совершенно порваны. Племена воюют с племенами, одни роды с другими, отдельные личности между собой; и из этой схватки враждебных сил человечество выходит разделенным на касты, поработенное деспотами и распавшееся на отдельные государства, которые всегда готовы вступить в войну одно против другого. И вот, перелистывая такую историю человечества, философ-пессимист с торжеством приходит к заключению, что война и угнетение являются истинной сущностью человеческой природы; что войнолюбивые и хищнические инстинкты человека могут быть, в известных пределах, обузданы только какою-нибудь могучею властью, которая путем силы водворила бы мир, и таким образом дала бы возможность немногим благородным людям готовить лучшую жизнь для человечества в грядущие времена!

А между тем, стоит только подвергнуть повседневную жизнь человека в течение исторического периода рассмотрению более тщательному, как это и было сделано за последнее время многими серьезными исследователями человеческих учреждений, — и жизнь эта немедленно получает совсем иную окраску. Оставляя в стороне предвзятые идеи большинства историков и их видимое пристрастие к драматическим сторонам человеческой жизни, мы видим, что самые документы, которыми они обыкновенно пользуются, по существу таковы, что в них

преувеличивается та часть человеческой жизни, которая отдавалась на борьбу, и совершенно не дается должной оценки мирной работе человечества. Ясные и солнечные дни теряются из виду, ради описания бурь и землетрясений.

Даже в наше время, громоздкие летописи, которые мы припасаем для будущего историка в наших газетах, наших судах, наших правительственных учреждениях и даже в наших романах, повестях, драмах и поэзии, страдают той же односторонностью. Они передадут потомству самые подробные описания каждой войны, каждого сражения и схватки, каждого спора и акта насилия; они сохраняют эпизоды всякого рода личных страданий; но в них едва ли сохранятся отчетливые следы бесчисленных актов взаимной поддержки и самопожертвования, которые каждый из нас знает из личного опыта; в них почти не обращается внимания на то, что составляет истинную сущность нашей повседневной жизни — наши общественные инстинкты и нравы. Неудивительно, поэтому, если летописи прошлых времен оказались такими несовершенными. Летописцы древности неизменно заносили в свои сказания все мелкие войны и всякого рода бедствия, постигавшие их современников; но они не обращали никакого внимания на жизнь народных масс, хотя именно массы занимались больше всего мирным трудом, в то время как немногие предавались возбуждениям борьбы. Эпические поэмы, надписи на памятниках, мирные договоры, — словом, почти все исторические документы носят тот же характер: они имеют дело с нарушениями мира, а не с самим миром. Вследствие этого, даже те историки, которые приступали к изучению прошлого с наилучшими намерениями, бессознательно рисовали изуродованное изображение того времени, которое они стремились изобразить; и для того, чтобы восстановить действительное отношение между борьбой и единением, какое существовало в жизни, мы должны теперь заняться разбором мелких фактов и бледных указаний, случайно сохранившихся в памятниках прошлого, и объяснить их с помощью сравнительной этнологии. После того, как мы столько слышали о том, что разделяло людей, — мы должны воссоздать, камень за камнем, те общественные учреждения, которые соединяли их.

Вероятно, уже недалеко то время, когда всю историю человечества придется написать сызнова, в новом направлении, принимая в расчет оба сейчас указанные течения человеческой жизни и *оценивая роль, которую каждое из них сыграло в развитии человечества*. Но, пока это еще не сделано, мы уже можем воспользоваться громадною подготовительною работою, выполненною в последние годы и уже дающею возможность восстановить, хотя в общих чертах, второе течение, долго остававшееся в пренебрежении. Из тех периодов истории, которые изучены лучше других, мы можем уже набросать несколько картин жизни народных масс и показать в них, какую роль, в течение этих периодов, играла взаимная помощь. Замечу, что краткости ради, мы не обязаны непременно начинать с египетской, или даже греческой и римской истории, потому что в действительности эволюция человечества не имела характера неразрывной цепи событий. Несколько раз случалось так, что цивилизация обрывалась в данной местности, у данной расы, и начиналась снова в ином месте, среди иных рас. Но каждое ее новое возникновение начиналось всегда с того же родового быта, который мы видели сейчас у дикарей. Так что, если взять последнее возникновение нашей теперешней

цивилизации, — с того времени, когда она началась заново, в первых столетиях нынешней эры, среди тех народов, которых римляне называли «варварами», — мы будем иметь полную гамму эволюции, начиная с родового быта, и кончая учреждениями нашего времени. Этим картинам и будут посвящены последующие страницы.

Ученые еще не согласились между собою насчет тех причин, которые около двух тысяч лет тому назад двинули целые народы из Азии в Европу и вызвали великие переселения варваров, положившие конец Западно-Римской империи. Географу, однако, естественно представляется одна возможная причина, когда он созерцает развалины некогда густо населенных городов в теперешних пустынях Средней Азии или же исследует старые русла рек, ныне исчезнувших, и остатки озер, некогда громадных, которые ныне свелись чуть не до размеров небольших прудов. Причина эта — высыхание: совсем недавнее высыхание, продолжающееся и поныне, с быстротой, которую мы раньше считали невозможным допустить^[142]. С подобным явлением человек не мог бороться. Когда обитатели северо-западной Монголии и восточного Туркестана увидели, что вода уходит от них, им не оставалось другого выхода, как спуститься вдоль широких долин, ведущих к низменностям, и теснить на запад обитателей этих низменностей^[143]. Племя за племенем таким образом вытеснялось в Европу, вынуждая другие племена двигаться и передвигаться в течение целого ряда столетий на запад, или же обратно на восток, в поисках за новыми, более или менее постоянными местами жительства. Расы смешивались с расами во время этих переселений, аборигены — с пришельцами, арийцы — с урало-алтайцами; и ничего не было бы удивительного, если бы общественные учреждения, которые объединяли их у себя на родине, совершенно рухнули во время этого наслоения различных рас друг на друга, совершавшегося тогда в Европе и Азии.

Но эти учреждения не были разрушены: они только подверглись такому видоизменению, какого требовали условия жизни.

Общественная организации тевтонцев, кельтов, скандинавов, славян и других народов, когда они впервые пришли в соприкосновение с римлянами, находилась в переходном состоянии. Их родовые союзы, основанные на действительной, или же на предполагаемой общности происхождения, служили для объединения их в течение многих тысячелетий. Но подобные союзы отвечали своей цели только до тех пор, пока в пределах самого рода не появлялось отдельных семейств. Однако же, в силу указанных выше причин, отдельные патриархальные семьи медленно, но неудержимо создавались среди родового быта; и их появление, в конце концов, очевидно вело к индивидуальному накоплению богатств и власти, к их наследственной передаче в семье и к разложению рода. Частые переселения и сопровождавшие их войны могли только ускорить распадение родов на отдельные семьи, а рассеивание племен во время переселений и их смешение с чужеземцами представляли как раз те условия, которыми облегчалось распадение прежних союзов, основанных на узах родства. Варварам, — т. е. тем племенам, которых римляне называли «варварами», и которых, следуя классификации Моргана, я буду называть тем же именем, в отличие от более первобытных племен, т. н. «дикарей», — предстояло, таким образом, одно из двух: либо дать своим родам

разбиться на слабо связанные между собою группы семейств, из которых наиболее богатые семьи (в особенности те, у которых богатство соединялось с функциями жреца, или с военной славой) захватили бы власть над остальными: или же — отыскать какую-нибудь новую форму общественного строя, основанного на каком-нибудь новом начале.

Многие племена были не в силах сопротивляться раздроблению: они рассеялись и были потеряны для истории. Но более энергичные племена не распались: они вышли из испытания, выработавши новый общественный строй, — *деревенскую общину*, — которая и продолжала объединять их в течение следующих пятнадцати, или даже более веков. У них выработалось представление об общей *территории*, о земле, приобретенной ими и защищаемой их общими усилиями, и это представление заступило место угасавшего уже представления об общем происхождении. Их боги постепенно потеряли свой характер *предков* и получили новый — местный, земельный характер. Они становились божествами, или впоследствии святыми, данной местности.

«Земля» отождествлялась с обитателями. Вместо прежних союзов по крови вырастали земельные союзы, и этот новый строй, очевидно, представлял много удобства при данных условиях. Он признавал независимость семьи и даже усиливал эту независимость, так как деревенская община отказывалась от всяких прав на вмешательство в то, что происходило внутри самой семьи; он давал также гораздо больше свободы личному почину; он не был по существу враждебен союзам между людьми различного происхождения, а между тем он поддерживал необходимую связь в действиях и в мыслях общинников; и, наконец, он был достаточно силен, чтобы противостоять властолюбивым наклонностям меньшинства, слагавшегося из колдунов, жрецов и профессиональных или прославившихся воинов, стремившихся к захвату власти. Вследствие этого, новый строй стал первичной клеточкой всей будущей общественной жизни, и у многих народов деревенская община сохранила этот характер вплоть до настоящего времени.

Теперь уже известно — и едва ли кем-либо оспаривается, — что деревенская община вовсе не была отличительной чертой славян или древних германцев. Она была распространена в Англии, как в саксонский, так и в норманнский периоды, и удерживалась местами вплоть до девятнадцатого века^[144]: она же являлась основой общественной организации древней Шотландии, древней Ирландии и древнего Уэльса. Во Франции, общинное владение и общинный передел пахотной земли деревенским мирским сходом держались, начиная с первых столетий нашей эры, до времен Тюрго, нашедшего мирские сходы «чересчур шумными», а потому и начавшего уничтожать их. В Италии, община пережила римское владычество и возродилась после падения римской империи. Она являлась общим правилом среди скандинавов, славян, финнов (в *pittäyä*, и вероятно, в *kihlakunta*), у куров и ливов. Деревенская община в Индии — в прошлом и в настоящем, арийская и не арийская, — хорошо известна, благодаря сделавшим эпоху в этой области трудам сэра Генри Мэна; а Эльфинстон описал ее у афганцев. Мы находим ее также в монгольском «улусе», в кабийском *thaddart'e*, в яванской *dessa*, в малайской *kota* или *tofa* и, под разнообразными наименованиями, в Абиссинии, в Судане, во внутренней Африке, у туземных племен обеих Америк и у всех мелких и крупных

племен на островах Тихого океана. Одним словом, мы не знаем ни одной человеческой расы, ни одного народа, которые не прошли бы в известном периоде через деревенскую общину. Уже один этот факт опровергает теорию, в силу которой деревенскую общину в Европе старались представить порождением крепостного права. Она сложилась гораздо ранее крепостного права, и даже крепостная зависимость не смогла разбить ее. Она представляет всеобщую ступень развития человеческого рода, естественное перерождение родовой организации, — по крайней мере, у всех тех племен, которые играли, или до настоящего времени играют, какую-нибудь роль в истории^[145].

Деревенская община представляла собою естественно выросшее учреждение, а потому полного однообразия в ее построении не могло быть. Вообще говоря, она являлась союзом семей, считавших себя происходящими от одного общего корня и владевших сообща известной землей. Но у некоторых племен, при известных обстоятельствах, семьи чрезвычайно разрастались, прежде чем от них почковались новые семьи; в таких случаях, пять, шесть или семь поколений продолжали жить под одной кровлей или внутри одной загороди, владея сообща хозяйством и скотом и собираясь для еды перед общим очагом. Тогда слагалось то, что известно в этнологии под именем «неделеной семьи» или «неделеного домохозяйства», какие мы до сих пор встречаем по всему Китаю, в Индии, в южно-славянской «задруге» и случайно находим в Африке, в Америке, Дании, Северной России, в Сибири («семейские») и Западной Франции^[146]. У других племен, или же при других обстоятельствах, которые еще в точности не определены, семьи не достигли таких больших размеров; внуки, а иногда и сыновья, выходили из домохозяйства тотчас по вступлении в брак, и каждый из них клал начало своей собственной ячейке. Но как деленые, так и неделимые семьи, как те, которые селились вместе, так и те, которые селились врозь, по лесам, все они соединялись в деревенские общины. Несколько деревень соединялись в роды, или племена, а несколько родов соединялись в союзы, или конфедерации. Таков был общественный строй, который развился среди так называемых «варваров», когда они начали оседать на более или менее постоянное жительство в Европе. Нужно помнить, однако, что слова «варвары» и «варварский период» употребляются здесь, вслед за Морганом и другими антропологами — исследователями жизни человеческих обществ — исключительно для обозначения периода деревенской общины, следовавшего за *родовым бытом* — до образования *современных государств*.

Долгая эволюция потребовалась на то, чтобы род стал признавать отдельное существование в нем патриархальной семьи, живущей в отдельной хижине; но, даже после такого признания, род, все-таки, вообще говоря, еще не признавал личного наследования собственности. При родовом строе, те немногие вещи, которые могли принадлежать отдельной личности, уничтожались на его могиле, или погребались вместе с ним. Деревенская же община, напротив того, вполне признала частное накопление богатства в пределах семьи и наследственную его передачу. Но богатство понималось исключительно в форме движимого имущества, включая сюда скот, орудия и посуду, оружие и жилой дом, который, «подобно всем вещам, могущим быть уничтоженными огнем», причислялся к той же категории^[147]. Что же касается до частной поземельной собственности, то деревенская община не

признавала, и не могла признать ничего подобного и, говоря вообще, не признает такого рода собственности и по настоящее время. Земля была общей собственностью всего рода или целого племени, и сама деревенская община владела своею частью родовой территории лишь до тех пор, пока род или племя — точных границ здесь нельзя установить — не находил нужным нового распределения деревенских участков.

Так как расчистка земли из-под леса и распашка целины в большинстве случаев производились целыми общинами, или, по крайней мере, объединенным трудом нескольких семей, — всегда с разрешения общины, — то вновь очищенные участки оставались за каждой семьей на четыре, на двенадцать, на двадцать лет, после чего они уже рассматривались как части пахотной земли, принадлежащей всей общине. Частная собственность, или «вечное» владение землею, были так же несовместимы с основными понятиями и религиозными представлениями деревенской общины, как ранее они были несовместимы с понятиями родového быта; так что потребовалось продолжительное влияние римского права и христианской церкви, — которая вскоре восприняла законы языческого Рима, чтобы освоить варваров с возможностью частной земельной собственности^[148]. Но даже тогда, когда частная собственность или владение на неопределенное время было признано, собственник отдельного участка оставался в то же время совладельцем общинных пустошей, лесов и пастбищ. Мало того, мы постоянно видим, в особенности в истории России, что когда несколько семейств, действуя совершенно порознь, завладели какой-нибудь землей, принадлежавшей племенам, на которых они смотрели как на чужаков, семьи захватчиков вскоре объединялись между собой и образовывали деревенскую общину, которая в третьем или четвертом поколении уже верила в общность своего происхождения. Сибирь по сию пору полна таких примеров.

Целый ряд учреждений, отчасти унаследованных от *родового периода*, начал теперь вырабатываться на этой основе общинного владения землей, и продолжал вырабатываться за те долгие ряды столетий, которые потребовались, чтобы подчинить общинников власти государств, организованных по римскому или византийскому образцу. Деревенская община была не только союзом для обеспечения каждому справедливой доли в пользовании общинно, землею; она была также союзом для общей обработки земли, для взаимной поддержки во всевозможных формах, для защиты от насилия и для дальнейшего развития знаний, национальных уз и нравственных понятий; причем каждое изменение в юридических, военных, образовательных или экономических правах общины решалось всеми — на мирском сходе деревни, на родовом вече, или на вече конфедерации родов и общин. Община, будучи продолжением рода, унаследовала все его функции. Она представляла *universitas*, — «мир» в себе самой.

Охота сообща, рыбная ловля сообща, и общественная обработка насаждений фруктовых деревьев были общим правилом при старых родовых порядках. Общественная обработка полей стала таким же правилом в деревенских общинах варваров. Правда, что прямых свидетельств в этом направлении мы имеем очень мало, и что в древней литературе мы находим всего несколько фраз у Диодора и у Юлия Цезаря, относящихся к обитателям Липарских островов, одному из кельто-иберийских племен, и к свесам. Но за то нет недостатка в фактах, доказывающих,

что общинная обработка земли практиковалась у некоторых германских племен, у франков и у древних шотландцев, ирландцев и валлийцев (Welsh)^[149]. Что же касается до позднейших пережитков общественной обработки, то они — просто бесчисленны. Даже в совершенно романизированной Франции общинная пахота была обычным явлением всего каких-нибудь двадцать пять лет тому назад в Морбигане (Бретань)^[150]. Старинный Уэльский сувар, или сборный плуг, мы находим, напр., на Кавказе, а общинная обработка земли, отведенной в пользование сельского святилища, представляет обычное явление у кавказских племен, наименее затронутых цивилизацией^[151]; подобные же факты постоянно встречаются среди русских крестьян. Кроме того, хорошо известно, что многие племена Бразилии, центральной Америки и Мексики обрабатывали свои поля сообща, и что тот же обычай широко распространен по сию пору среди малайцев, в Новой Каледонии, у некоторых негритянских племен и т. д.^[152] Короче говоря, общинная обработка земли представляет такое обычное явление у многих арийских, урало-алтайских, монгольских, негритянских, краснокожих индейских, малайских и меланезийских племен, что мы должны смотреть на нее, как на всеобщую — хотя и не единственно возможную — форму первобытного земледелия^[153].

Нужно помнить, однако, что общинная обработка земли еще не влечет за собою необходимо общинного потребления. Уже в родовом быте мы часто видим, что, когда лодки, нагруженные фруктами или рыбой, возвращаются в деревню, то привезенная в них пища разделяется между отдельными хижинами и «длинными домами» (в которых помещаются или несколько семейств, или молодежь), причем пища готовится отдельно у каждого отдельного очага. Обычай садиться за трапезу в более узком кругу родственников или сотоварищей, таким образом, проявляется уже в раннем периоде родовой жизни. В деревенской общине он становится правилом.

Даже пищевые продукты, выращенные сообща, обыкновенно делились между домохозяевами, после того, как часть их была отложена в запас для общинного пользования. Впрочем, традиция общественных пиров благочестиво сохранялась. При всяком удобном случае, как напр., в дни, посвященные поминовению предков, во время религиозных празднеств, при начале и по окончании полевых работ, а также по поводу таких событий, как рождение детей, свадьбы и похороны, община собиралась на общественный пир. Даже в настоящее время, в Англии, мы находим пережиток этого обычая, хорошо известный под именем «после-жатвенной вечери» (harvest supper): он удержался дольше всех таких обычаев.

Даже долгое время после того, как поля перестали обрабатываться сообща всею общиной, мы видим, что некоторые земледельческие работы продолжают выполняться миром. Некоторая часть общинной земли до сих пор во многих местах обрабатывается сообща, в целях помощи неимущим, а также для образования общинных запасов, или же для употребления продуктов подобного труда во время религиозных празднеств. Ирригационные каналы и арыки роятся и чинятся сообща. Общинные луга косят миром; и одно из самых вдохновляющих зрелищ представляет русская деревенская община во время такого покоса, когда мужчины соперничают друг с другом в широте размаха косы и быстроте косьбы, а женщины

ворошат скошенную траву и собирают ее в копны; мы видим здесь, чем мог бы быть, и чем должен был бы быть людской труд. Сено, в таких случаях, делится между отдельными домохозяевами, и очевидно, что никто не имеет права брать сено из стога у своего соседа, без разрешения; но ограничение этого общего правила, встречаемое у осетин на Кавказе, очень поучительно: как только начнет куковать кукушка, возвещая в наступлении весны, которая вскоре оденет все луга травой, каждый получает право брать из соседского стога, сколько ему нужно сена для прокормления своего скота^[154]. Таким образом, снова утверждаются древние общинные права, как бы для того, чтобы доказать, насколько неограниченный индивидуализм противоречит человеческой природе.

Когда европеец-путешественник высаживается на каком-нибудь островке Тихого океана и, увидав вдали группу пальмовых деревьев, направляется к ней, его обыкновенно поражает открытие, что маленькие деревушки туземцев соединены между собой дорогами, которые вымощены крупными камнями и вполне удобны для босоногих туземцев, — во многих отношениях они напоминают «старые дороги» в швейцарских горах. Подобные дороги были проложены «варварами» по всей Европе, и надо постранствовать по диким, мало населенным странам, лежащим вдали от главных линий международных сообщений, чтобы понять размеры той колоссальной работы, которую выполнили варварские общины, чтобы победить дикость необозримых лесных и болотистых пространств, какие представляла из себя Европа около двух тысяч лет тому назад. Отдельные семьи, слабые и без нужных орудий, никогда не смогли бы победить дикую тайгу. Лес и болота победили бы их. Одни только деревенские общины, работая сообща, могли осилить эти дикие леса, эти засасывающие трясины и безграничные степи.

Тропы и гати, паромы и легкие мосты, которые зимой снимались и строились снова после весеннего половодья, окопы и частоколы, которыми обносились деревни, земляные крепостцы, небольшие башни и вышки, которыми бывала усыпана территория — все это было делом рук деревенских общин. А когда община разрасталась, начинался процесс ее почкования. На некотором расстоянии от первой вырастала новая община, и таким образом шаг за шагом леса и степи подпадали под власть человека. Весь процесс созидания европейских наций был в сущности плодом такого почкования деревенских общин. Даже в настоящее время, русские крестьяне, если только они не совсем задавлены нуждой, переселяются общинами, миром поднимают целину и миром же сообща роют себе землянки, а потом строят дома, когда селятся в бассейне Амура или же в Канаде. Даже англичане, в начале колонизации Америки, возвращались к старой системе: они селились и жили общинами^[155].

Деревенская община была тогда главным оружием в тяжелой борьбе с враждебной природой. Она также являлась связью, которую крестьяне противопоставляли угнетению со стороны наиболее ловких и сильных, стремившихся усилить свою власть в те тревожные времена. Воображаемый «варвар» — человек, сражающийся и убивающий людей из-за пустяков, так же мало существовал в действительности, как и «кровожадный дикарь» наших книжников.

Варвар-общинник, напротив того, в своей жизни подчинялся целому сложному

ряду учреждений, проникнутых внимательным отношением к тому, что может быть полезным или же пагубным для его племени или конфедерации; причем установления этого рода благоговейно передавались из поколения в поколение в стихах и песнях, в пословицах и трехстишиях (триадах), в изречениях и наставлениях.

Чем более мы изучаем этот период, тем более убеждаемся мы в тесноте уз, связывавших людей в их общинах. Всякая ссора, возникавшая между двумя односельчанами, рассматривалась, как дело, касающееся всей общины — даже оскорбительные слова, которые вырывались во время ссоры, рассматривались, как оскорбление общины и ее предков. Подобные оскорбления надо было окупить извинениями и легкой пеней в пользу обиженного и в пользу общины^[156]. Если же ссора заканчивалась дракой и ранами, то человек, присутствовавший при этом и не вмешавшийся для прекращения ссоры, рассматривался, как если бы он сам нанес причиненные раны^[157].

Юридическая процедура была проникнута тем же духом. Каждый спор, прежде всего, отдавался на рассмотрение посредников, или третейских судей, и в большинстве случаев разрешался ими, так как третейский суд играл чрезвычайно важную роль в варварском обществе. Но если дело было слишком серьезно и не могло быть разрешено посредниками, оно отдавалось на обсуждение мирского схода, который был обязан «найти приговор», и произносил его всегда в условной форме: т. е. «обидчик должен выплатить такое-то возмездие обиженному, если обида будет доказана», обида же доказывалась, или отрицалась, шестью или двенадцатью лицами, которые подтверждали или отрицали факт обиды под присягою; к Божьему суду прибегали только в том случае, если оказывалось противоречие между двумя составами соприсягателей обеих тяжущихся сторон. Подобная процедура, остававшаяся в силе более чем две тысячи лет, достаточно говорит сама за себя; она показывает, насколько тесны были узы, связывавшие между собой всех членов общины.

При этом не мешает помнить, что, кроме своего нравственного авторитета, мирской сход не имел никакой другой силы, чтобы привести свой приговор в исполнение. Единственной возможной угрозой непокорному было бы объявление его изгоем, находящимся вне закона; но даже и эта угроза была обоюдоострым оружием. Человек, недовольный решением мирского схода, мог заявить, что он выходит из своего рода и присоединяется к другому роду, — а это была ужасная угроза, так как, по общему убеждению, она непременно навлекла всевозможные несчастья на род, который мог совершить несправедливость по отношению к одному из своих сочленов^[158]. Сопротивление справедливому решению, основанному на обычном праве, было просто «невообразимо», по очень удачному выражению Генри Мэна, так как «закон, нравственность и факт представляли в те времена нечто нераздельное»^[159]. Нравственный авторитет общины был настолько велик, что даже в гораздо более позднюю пору, когда деревенские общины подпали уже в подчинение феодальным владельцам, они тем не менее удерживали за собой юридическую власть; они только предоставляли владельцу, или его представителю, «находить вышеупомянутые условные приговоры, в согласии с обычным правом,

которое он клялся сохранять в чистоте; причем ему предоставлялось взимать в свою пользу ту пеню (fred), которая прежде взыскивалась в пользу общины»^[160]. Но в течение долгого времени сам феодальный владелец, если он являлся совладельцем общинных пустошей и выгонов, подчинялся в общинных делах решениям общины. Принадлежал ли он к дворянству или к духовенству, он обязан был подчиняться решению мирского схода — «Wer daselbst Wasser, und Weid genusst, muss gehorsam sein» — «кто пользуется здесь правом на воду и пастбища, тот должен повиноваться», — говорит одно старинное изречение. Даже когда крестьяне стали рабами феодальных владельцев, — последние обязаны были являться на мирской сход, если сход вызывал их^[161].

В своих представлениях о правосудии варвары очевидно недалеко ушли от дикарей. Они также считали, что всякое убийство должно повлечь за собой смерть убийцы; что нанесение раны должно быть наказано нанесением точь-в-точь такой же раны, и что обиженная семья обязана сама исполнить приговор, произнесенный в силу обычного права, т. е. убить убийцу, или одного из его сородичей, или же нанести известного рода рану обидчику, или одному из его ближних. Это было для них священной обязанностью, долгом по отношению к предкам, который должен быть выполнен вполне открыто, а никоим образом втайне, и получить возможно широкую огласку. Поэтому, самые вдохновенные места саг и всех вообще произведений эпической поэзии того времени посвящены прославлению того, что тогда считалось правосудием, т. е. родовой мести. Сами боги присоединялись в таких случаях к смертным и помогали им.

Впрочем, преобладающей чертой правосудия варваров является уже, с одной стороны, стремление ограничить количество лиц, которые могут быть вовлечены в войну двух родов из-за кровавой мести, а с другой стороны, — стремление устранить зверскую идею о необходимости отплачивать кровью за кровь и ранами за раны, и желание установить систему вознаграждений обиженному за обиды. Своды «варварских» законов, которые представляли собрания постановлений обычного права, записанных для руководства судей — «сначала допускали, затем поощряли и, наконец, требовали» замены кровавой мести вознаграждением, как это заметил Кёнигсвартер^[162]. Но представлять эту систему судебного возмездия за обиды, как систему штрафов, которые давали, будто бы, богатому человеку *carte blanche*, т. е. полное право поступать, как ему вздумается, — доказывает совершенное непонимание этого учреждения. Вира, т. е. *Wergeid*, выплачивавшаяся обиженному, совершенно отлична от небольшого штрафа, или *fred*^[163], выплачивавшаяся общине или ее представителю. Вира же обыкновенно назначалась такая высокая за всякого рода насилие, что, конечно, она не могла являться поощрением для подобного рода проступков. В случае убийства, вира обыкновенно превышала все возможное имущество убийцы. «Восемнадцать раз восемнадцать коров» — таково вознаграждение у осетин, не умеющих считать свыше восемнадцати; у африканских племен вира за убийство достигает 800 коров, или 100 верблюдов с их приплодом, и только у более бедных племен она спускается до 416 овец^[164]. Вообще, в громадном большинстве случаев, виру за убийство невозможно было уплатить, так что убийце оставалось одно: убедить, своим раскаянием, обиженную семью, чтобы она усыновила его. Даже теперь, на Кавказе, когда родовая война из-за кровавой мести

заканчивается мировой, обидчик прикасается губами к груди старшей женщины в роде, и становится таким образом «молочным братом» всех мужчин обиженной семьи^[165]. У некоторых африканских племен убийца должен отдать свою дочь, или сестру, в замужество одному из членов семьи убитого; у других племен он обязан жениться на вдове убитого; и во всех таких случаях он становится, после этого, членом семьи, мнение которого выслушивается во всех важных семейных делах^[166].

Кроме того, варвары не только не относились с пренебрежением к человеческой жизни, но они вовсе не знали тех ужасающих наказаний, которые были введены позднее светским и духовным законодательством, под влияниями Рима и Византии.

Если право Саксов назначало смертную казнь довольно легко, даже за поджог и вооруженный грабеж, то другие варварские своды законов прибегали к ней только в случаях предательства по отношению к своему роду и святотатства по отношению к общинным богам. В смертной казни видели единственное средство умиловить богов.

Все это, очевидно, очень далеко от предполагаемой «нравственной распущенности варваров». Напротив того, мы не можем не любоваться глубоко-нравственными началами, которые были выработаны древними деревенскими общинами и которые нашли себе выражение в уэльских трехстишиях, в легендах о короле Артуре, в ирландских комментариях (Брегон)^[167], в старых германских легендах и т. д., а также до сих пор выражаются в поговорках современных варваров. В своем введении к «The Story of Burnt Njal» Джордж Дазент очень верно охарактеризовал следующим образом качества норманна, как они определяются на основании саг: «Открыто и мужественно делать предстоящее ему дело, не страшась ни врагов, ни недугов, ни судьбы... быть свободным и отважным во всех своих поступках; быть ласковым и щедрым по отношению к друзьям и сородичам; быть суровым и грозным по отношению к врагам (т. е. к тем, кто подпал под закон кровавой мести), но даже и по отношению к ним выполнять все должные обязанности... Не нарушать перемирия, не быть передатчиком и клеветником. Не говорить за глаза о человеке ничего такого, чего не посмел бы сказать в его присутствии. Не прогонять от своего порога человека, ищущего пищи или крова, хотя бы он был даже твоим врагом»^[168].

Таковыми же, или даже еще более возвышенными началами проникнута вся уэльская эпическая поэзия и триады. Поступать «с кротостью и по принципам беспристрастия» по отношению к людям, без различия, будут ли они врагами или друзьями, и «исправлять причиненное зло» — таковы высшие обязанности человека; «зло — смерть, добро — жизнь», восклицает поэт-законодатель^[169]. «Мир был бы нелепым, если бы соглашения, сделанные на словах, не почитались», — говорит закон Брегона. А смиренный мордвин-шаманист, восхваливши подобные же качества, прибавляет, в своих принципах обычного права, что «между соседями корова и подойник — общее достояние», что «корову надо доить для себя и для того, кто может попросить молока»; что «тело ребенка краснеет от удара, но лицо того, кто бьет ребенка — краснеет от стыда»^[170], и т. д. Можно было бы наполнить много страниц изложением подобных же нравственных начал, которые «варвары» не только выражали, но которым они следовали.

Здесь необходимо упомянуть еще одну заслугу древних деревенских общин. Это то, что они постепенно расширяли круг лиц, тесно связанных между собою. В период, о котором мы говорим, не только роды объединялись в племена, но и племена, в свою очередь, даже хотя бы и различного происхождения, объединялись в союзы, в конфедерации. Некоторые союзы были настолько тесны, что, например, вандалы, оставшиеся на месте, после того, как часть их конфедерации ушла на Рейн, а оттуда перешла в Испанию и Африку, в течение сорока лет охраняли общинные земли и покинутые деревни своих союзников; они не завладевали ими до тех пор, пока не убедились, чрез особых посланцев, что их союзники не намерены более возвратиться. У других варваров мы встречаем, что земля обрабатывалась одною частью племени, в то время, как другая часть сражалась на границах их общей территории или за ее пределами. Что же касается до лиг между несколькими племенами, то они представляли самое обычное явление. Сикамбры соединились с херусками и свевами; квады с сарматами; сарматы с аланами, карпами и гуннами. Позднее, мы видим также, как понятие о нациях постепенно развивается в Европе, гораздо раньше, чем что-либо в роде государства начало слагаться где бы то ни было в той части материка, которая была занята варварами. Эти нации — так как невозможно отказать в имени нации Меровингской Франции, или же России одиннадцатого и двенадцатого века, — эти нации были, однако, объединены между собою ничем иным, как единством языка и молчаливым соглашением их маленьких республик, избирать своих князей (военных защитников и судей из одной только определенной семьи.

Войны, конечно, были неизбежны; переселения неизбежно влекут за собой войну, но уже Генри Мэн, в своем замечательном труде о племенном происхождении международного права, вполне доказал, что «человек никогда не был ни так свиреп, ни так туп, чтобы подчиняться такому злу, как война, не употребивши некоторых усилий, чтобы предотвратить его». Он показал также, как велико было «число древних учреждений, обличавших намерение предупредить войну, или найти для нее какую-нибудь альтернативу^[171]. В сущности, человек, вопреки обычным предположениям, такое невойнолюбивое существо, что, когда варвары, наконец, осели на своих местах, они быстро утратили навык к войне, — так быстро, что вскоре должны были завести особых военных вождей, сопровождаемых особыми *Scholae* или дружинами, для защиты своих сел от возможных нападений. Они предпочитали мирный труд войне, и самое миролюбие человека было причиной специализации военного ремесла, при чем в результате этой специализации получались впоследствии рабство и войны „государственного периода“ в истории человечества.

История встречает большие затруднения в своих попытках восстановить учреждения варварского периода. На каждом шагу историк находит бледные указания на то или на другое учреждение, которых он не может объяснить при

помощи одних лишь исторических документов. Но прошлое тотчас же озаряется ярким светом, как только мы обращаемся к учреждениям многочисленных племен, до сих пор еще живущих под таким общественным строем, который почти тождествен со строем жизни наших предков, варваров. Тут мы встречаем такое обилие материалов, что затруднение является в выборе, так как острова Тихого океана, степи Азии и плоскогорья Африки оказываются настоящими историческими музеями, заключающими образчики всех возможных промежуточных учреждений, пережитых человечеством при переходе от родового быта дикарей к государственной организации. Рассмотрим несколько таких образцов.

Если мы возьмем, например, деревенские общины монголо-бурят, в особенности тех, которые живут в Кудинской степи, на верхней Лене, и более других избежали русского влияния, то мы имеем в них довольно хороший образчик варваров в переходном состоянии, от скотоводства к земледелию^[172]. Эти буряты до сих пор живут „неделеными“ семьями», т. е., хотя каждый сын после женитьбы уходит жить в отдельную юрту, но юрты, по крайней мере, трех поколений находятся внутри одной изгороди, и неделеная семья работает сообща на своих полях и владеет сообща своим неделеным домохозяйством, скотом, а также «телятниками» (небольшие огороженные пространства, на которых сохраняется мягкая трава для выкормки телят). Обыкновенно каждая семья собирается для еды в своей юрте; но когда жарится мясо, то все члены неделеного домохозяйства, от двадцати до шестидесяти человек, пируют вместе.

Несколько таких больших семей, живущих в одном урочище, а также меньшего размера семьи, поселившиеся в том же месте (в большинстве случаев они представляют остатки неделеных семей, разбившихся по какой-нибудь причине), составляют улус, или деревенскую общину. Несколько улусов составляют «род» — вернее, племя, — а все сорок шесть «родов» Кудинской степи объединены в одну конфедерацию. В случае надобности, вызываемой теми или другими специальными нуждами, несколько «родов» вступают в меньшие, но более тесные союзы. Эти буряты не признают частной поземельной собственности — землей владеют улусы сообща, или, точнее, ею владеет вся конфедерация, и в случае необходимости происходит передел земли между различными улусами, на сходе всего рода, а между сорока шестью родами — на вече конфедерации. Следует заметить, что та же самая организация существует у всех 250 000 бурят Восточной Сибири, хотя они уже более трехсот лет находятся под властью России и хорошо знакомы с русскими порядками.

Несмотря на все сказанное, имущественное неравенство быстро развивается у бурят, особенно с тех пор, как русское правительство начало придавать преувеличенное значение избираемым бурятами «тайшам» (князьям), которых оно считает ответственными сборщиками податей и представителями конфедераций в их административных и даже коммерческих сношениях с русскими. Таким образом открываются многочисленные пути к обогащению немногих, идущему рука об руку с обеднением массы, вследствие захвата русскими бурятских земель. Тем не менее у бурят, особенно Кудинских, держится обычай (а обычай — сильнее закона), согласно которому, если у семьи пал скот, то более богатые семьи дают ей несколько коров и лошадей, на поправку. Что же касается бедняков, бессемейных, то они едят у

своих сородичей; бедняк входит в юрту, занимает — по праву, а не из милости — место у огня и получает свою долю пищи, которая всегда самым добросовестным образом делится на равные части; спать он остается там, где ужинал. Вообще, русские завоеватели Сибири были настолько поражены коммунистическими обычаями бурят, что они назвали их «братскими» и доносили в Москву: «у них все сообща; все, что у них есть, они делят между всеми».

Даже в настоящее время, Кудинские буряты, когда они продают свою пшеницу, или же посылают свой скот для продажи русскому мяснику, все семьи улуса или даже рода ссыпают пшеницу в одно место и сгоняют скот в одно стадо, продавая все оптом, как бы принадлежащее одному лицу. Кроме того, каждый улус имеет свой запасной хлебный магазин для ссуд на случай надобности, свои общинные печи, чтобы печь хлеб (*four banal* французских общин) и своего кузнеца, который, подобно кузнецу в индийских селах^[173], будучи членом общины, никогда не получает платы за работу в пределах общины. Он должен выполнять всю нужную кузнечную работу даром, а если он употребит свои часы досуга на выделку чеканных посеребренных железных пластинок, служащих у бурят для украшения одежды, то при случае он может продать их женщине из другого рода; но женщине, принадлежащей к его собственному роду, он может только подарить их. Купля-продажа вовсе не может иметь места в пределах общины, и это правило соблюдается так строго, что когда какая-нибудь зажиточная бурятская семья нанимает работника, он должен быть взят из другого рода, или же из русских. Замечу, что такой обычай насчет купли-продажи существует не у одних бурят: он так широко распространен между современными общинниками — «варварами», — арийцами и урало-алтайцами, что он должен был быть всеобщим у наших предков.

Чувство единения в пределах конфедерации поддерживается общими интересами всех родов, их общими вечами и празднествами, обыкновенно происходящими в связи с вечами. То же самое чувство поддерживается, впрочем, и другим учреждением, — племенной охотой, *аба*, которая очевидно представляет отголосок очень отдаленного прошлого. Каждую осень все сорок шесть Кудинских родов сходятся для такой охоты, добыча которой делится потом между всеми семьями. Кроме того, время от времени созывается национальная *аба*, для утверждения чувства единства у всей бурятской нации. В таких случаях, все бурятские роды, разбросанные на сотни верст к востоку и к западу от озера Байкала, обязаны выслать специально для этой цели своих выбранных охотников. Тысячи людей собираются на эту национальную охоту, причем каждый привозит провизии на целый месяц. Все доли провизии должны быть равны, а потому, прежде чем сложить вместе все запасы, каждая доля взвешивается выборным старшиной (непременно — «от руки»: весы были бы отступлением от древнего обычая). Вслед за тем охотники разделяются на отряды, по двадцати человек в каждом, и начинают охоту, согласно заранее установленному плану. В таких национальных охотах вся бурятская нация переживает эпические традиции того времени, когда она была объединена в один могущественный союз. Могу также прибавить, что подобные же охоты — обычное явление у краснокожих индейцев и у китайцев на берегах Уссури (*каба*)^[174].

У кабиллов, образ жизни которых был так хорошо описан двумя французскими

исследователями^[175], мы имеем представителей «варваров», подвинувшихся несколько дальше в своем земледелии. Их поля орошаются арыками, удобряются и вообще хорошо возделаны, а в гористых областях каждый кусок удобной земли обрабатывается заступом. Кабилы пережили немало превратностей в своей истории; они следовали некоторое время мусульманскому закону о наследовании, но не могли примириться с ним, и лет полтораста тому назад вернулись к своему прежнему родовому обычному праву. Вследствие этого, землевладение имеет у них смешанный характер, и частная земельная собственность существует наряду с общинным владением. Во всяком случае, основой теперешнего общественного строя является деревенская община (*thaddart*), которая обыкновенно состоит из нескольких неделимых семей (*kharouba*), признающих общность своего происхождения, а также из нескольких, меньшего размера, семей чужаков. Деревни группируются в роды, или племена, (*ârch*); несколько родов составляют конфедерацию (*thak'ebilt*); и, наконец, несколько конфедераций иногда слагаются в союз — главным образом, для целей вооруженной защиты.

Кабилы не знают никакой другой власти, кроме своей *djemtâa*, или мирского схода деревенской общины. В нем принимают участие все взрослые мужчины, и они собираются ради этого, или прямо под открытым небом, или же в особом здании, имеющем каменные скамьи. Решения *djemtâa*, очевидно, должны быть приняты единогласно, т. е. обсуждение продолжается до тех пор, пока все присутствующие согласятся принять известное решение, или подчиниться ему. Так как в деревенской общине не бывает такой власти, которая могла бы заставить меньшинство подчиниться решению большинства, то система единогласных решений практиковалась человечеством везде, где только существовали деревенские общины, и практикуется по сию пору там, где они продолжают существовать, т. е. у нескольких сот миллионов людей на всем пространстве земного шара. Кабильская *djemtâa* сама назначает свою исполнительную власть — старшину, писаря и казначея; она сама раскладывает подати и заведует распределением общинных земель, равно как и всякими общепольными работами.

Значительная часть работ производится сообща; дороги, мечети, фонтаны, оросительные каналы, башни для защиты от набегов, деревенские ограды и т. п., — все это строится деревенской общиной, тогда как большие дороги, мечети более крупных размеров и большие базары являются делом целого рода. Многие следы общинной обработки земли существуют до сих пор, и дома продолжают строиться всем селом, или же с помощью всех мужчин и женщин своего села. Вообще, к «помочам» прибегают чуть ли не ежедневно, для обработки полей, для жатвы, для построек и т. п. Что же касается ремесленных работ, то каждая община имеет своего кузнеца, которому дается часть общинной земли, и он работает для общины. Когда подходит время пахоты, он обходит все дома и чинит плуги и другие земледельческие орудия бесплатно; выковать же новый плуг считается благочестивым делом, которое не может быть вознаграждено деньгами, или вообще какой-либо платой.

Так как у кабилы уже существует частная собственность, то среди них, очевидно, есть и богатые, и бедные. Но, подобно всем людям, живущим в тесном общении и знающим, как и откуда начинается обеднение, они считают бедность

такую случайностью, которая может посетить каждого. «От сумы да от тюрьмы не отказывайся», — говорят русские крестьяне; кабилы прилагают к делу эту поговорку, и в их среде нельзя подметить ни малейшей разницы в обращении между бедными и богатыми; когда бедняк созывает «помочь» — богач работает на его поле, совершенно так же, как бедняк работает в подобном же случае на поле богача^[176]. Кроме того, djetmâa отводит известные сады и поля, иногда возделываемые сообща, для пользования беднейших членов общины. Много подобных обычаев сохранилось до сих пор. Так как более бедные семьи не в состоянии покупать для себя мяса, то оно регулярно покупается на суммы, составляющиеся из штрафных денег, из пожертвований в пользу djetmâa, или из платы за пользование общинным бассейном для выжимки оливкового масла, и это мясо распределяется поровну между теми, кто по бедности не в состоянии купить его для себя. Точно также, когда какая-нибудь семья убивает овцу и быка не в базарный день, деревенский глашатай выкрикивает об этом по всем улицам, чтобы больные люди и беременные женщины могли получить сколько им нужно мяса.

Взаимная поддержка проходит красной нитью по всей жизни кабилов, и если один из них, во время путешествия за пределами родной страны, встречает другого кабила в нужде, он обязан прийти к нему на помощь, хотя бы и рисковал для этого собственным имуществом и жизнью. Если же такая помощь не была оказана, то община, к которой принадлежит пострадавший от подобного эгоизма, может жаловаться, и тогда община эгоиста тотчас же вознаграждает потерпевшего. В данном случае мы наталкиваемся, таким образом, на обычай, хорошо известный тем, кто изучал средневековые купеческие гильдии.

Всякий чужеземец, являющийся в кабийскую деревню, имеет право зимой на убежище в доме, а его лошади могут пастись в течение суток на общинных землях^[177]. В случае нужды, он может, впрочем, рассчитывать почти на безграничную поддержку. Так, во время голода 1867–1868 годов, кабилы принимали и кормили всякого, без различия происхождения, кто только искал убежища в их деревнях. В области Деллис собралось не менее 12 000 человек, пришедших не только из всех частей Алжирии, но даже из Марокко, причем кабилы кормили их всех. В то время, как по всей Алжирии люди умирали с голода, в кабийской земле не было ни одного случая голодной смерти; кабийские общины, часто лишая себя самого необходимого, организовали помощь, не прося никакого пособия от правительства и не жалуясь на обременение; они смотрели на это, как на свою естественную обязанность. И в то время, как среди европейских колонистов принимались всевозможные полицейские меры, чтобы предотвратить воровство и беспорядки, возникавшие вследствие наплыва чужестранцев, никакой подобной охраны не потребовалось на кабийской территории: джеммы не нуждались ни в защите, ни в помощи извне^[178].

Я могу лишь вкратце упомянуть о двух других чрезвычайно интересных чертах кабийской жизни: а именно, об установлении, именуемом **аная**, имеющих целью охрану в случае войны колодцев, оросительных арыков, мечетей, базарных площадей и некоторых дорог, а также об учреждении **соф** (sof), о котором я скажу ниже. В «аная» мы собственно имеем целый ряд установлений, стремящихся

уменьшить зло, причиняемое войной, и предупреждать войны. Так, базарная площадь — **аная**, в особенности, если она находится близ границы и служит местом, где встречаются кабилы с чужеземцами; никто не смеет нарушать мира на базаре, и если возникают беспорядки, они тотчас же усмиряются самими чужестранцами, собравшимися в городе. Дорога, по которой ходят деревенские женщины к фонтану за водой, также считается **аная** в случае войны и т. д. Такое же учреждение встречается на островах Тихого Океана.

Что же касается до *соф*'а, то это установление представляет широко распространенную форму объединения, в некоторых отношениях сходного с средневековыми товариществами и гильдиями (*Burgschaften* или *Gegilden*), а также представляет общество, существующее, как для взаимной защиты, так и для различных целей, умственных, политических, религиозных, нравственных и т. д., которые не могут быть удовлетворены организацией) общины, рода или конфедерации. Соф не знает ограничений; он набирает своих членов в различных, даже среди чужеземцев, и он оказывает своим членам защиту во всех случаях жизни. Вообще, он является попыткой дополнения объединения, группировкою вне-территориальной, в целях выражение взаимному сродству всякого рода стремлений, за пределами данной. Таким образом, свободные международные ассоциации вкусов и идей, мы считаем одним из лучших проявлений нашей современной жизни, ведут начало из древнего варварского периода.

Жизнь кавказских горцев дает другой ряд чрезвычайно поучительных примеров того же рода. Изучая современные обычаи осетин — их неделимые семьи, их общины их юридические понятия — профессор М. Ковалевский, в замечательной работе, «Современный обычай и древнее право», мог шаг за шагом сравнивать их с подобными же установлениями древних варварских законов и даже имел возможность подметить первоначальное зарождение феодализма, У других кавказских племен мы иногда находим указание на способы зарождения деревенской общины, в тех случаях, когда она не была родовой, а выросла из добровольного союза между семьями разного происхождения. Такой случай наблюдался, например, недавно, в хевсурских деревнях, обитатели которых принесли клятву «общности и братства»^[179]. В другой части Кавказа, в Дагестане, мы видим зарождение феодальных отношений между двумя племенами, причем оба остаются в то же время сложеными в деревенские общины, сохраняя даже следы «классов» родовой быта.

В этом случае мы имеем, таким образом, живой пример тех форм, который принимало завоевание Италии и Галлии варварами. Победители лезгины, покорившие несколько грузинских и татарских деревень в Закатальском округе, не подчинили эти деревни власти отдельных семей; они организовали феодальный клан, состоящий теперь из 12 000 домохозяев в трех деревнях и владеющий сообще не менее чем двадцатью грузинскими и татарскими деревнями. Завоеватели разделили свою собственную землю между своими родами, а роды в свою очередь поделили ее на равные части между семьями; но они не вмешиваются в дела общин своих данников, которые до сих пор практикуют обычай, упоминаемый Юлием Цезарем, а именно: община решает ежегодно, какая часть общинной земли должна быть обработана, и эта земля разделяется на участки, по количеству семей, причем

самые участки распределяются по жребию. Следует заметить, что хотя пролетарии не являются редкостью среди лезгин, — живущих при системе частной поземельной собственности и общего владения рабами, — они очень редки среди крепостных грузин, продолжающих держать свою землю в общинном владении^[180].

Что же касается до обычного права кавказских горцев, то оно очень схоже с правом лангобардов и салических франков, причем некоторые его постановления бросают новый свет на юридическую процедуру варварского периода. Отличаясь очень впечатлительным характером, обитатели Кавказа употребляют все усилия, чтобы ссоры не доходили у них до убийства; так, например, у хевсуров дело скоро доходит до обнаженных мечей; но если выбежит женщина и бросит среди ссорящихся кусок полотна, служащий ей женским головным убором, шашки тотчас же опускаются в ножны, и ссора прекращается. Головной убор женщины является в данном случае «аная». Если ссора не была прекращена вовремя и кончилась убийством, то вира, налагаемая на убийцу, бывает так значительна, что виновник будет разорен на всю жизнь, если его не усыновит семья убитого; если же он прибегнул к кинжалу в мелкой ссоре и нанес раны, он навсегда теряет уважение своих сородичей.

Во всех возникающих ссорах ведение дела поступает в руки посредников: они выбирают судей из среды своих сородичей, — шесть в маловажных делах и от десяти до пятнадцати в делах более серьезных, — и русские наблюдатели свидетельствуют об абсолютной неподкупности судей. Клятва имеет такое значение, что люди, пользующиеся общим уважением, освобождаются от нее, — простое утверждение совершенно достаточно, тем более, что в важных делах хевсур никогда не поколеблется признать свою вину (я имею, конечно, в виду хевсура, еще не затронутого т. н. «культурой»). Клятва, главным образом, сохраняется для таких дел, как споры об имуществе, в которых, кроме простого установления фактов, требуется еще известного рода оценка их. В подобных случаях люди, которых утверждение повлияет решающим образом на разрешение спора, действуют с величайшей осмотрительностью. Вообще можно сказать, что «варварские» общества Кавказа отличаются честностью и уважением к правам сородичей.

Различные африканские племена представляют такое разнообразие в высшей степени интересных обществ, стоящих на всех промежуточных ступенях развития, начиная с первобытной деревенской общины и кончая деспотическими варварскими монархиями, что я должен оставить всякую мысль дать хотя бы главные результаты сравнительного изучения их учреждений^[181]. Достаточно сказать, что, даже при самом жестоком деспотизме королей, мирские сходы деревенских общин и их обычное право остаются полноправными в широком круге всяких дел. Закон государственный позволяет королю отнять жизнь у любого подданного, просто из каприза, или даже для удовлетворения прожорливости, но обычное право народа продолжает сохранять ту же сеть учреждений, служащих для взаимной поддержки, которая существует среди других «варваров», или же существовала у наших предков. А у некоторых, наиболее благоприятно поставленных племен (в Борну, Уганде, Абиссинии) и в особенности у богосов, некоторые требования обычного права одухотворены действительно изящными и утонченными чувствами.

Деревенские общины туземцев обеих Америк носили тот же характер. Бразильские тупи, когда они были открыты европейцами, жили в «длинных домах», занятых целыми родами, которые сообща возделывали свои зерновые посевы и маниоковые поля. Арани, подвинувшиеся гораздо дальше на пути цивилизации, обрабатывали свои поля сообща; также и уаки, которые, оставаясь при системе первобытного коммунизма и «длинных домов», научились проводить хорошие дороги и в некоторых областях домашнего производства не уступали ремесленникам раннего периода средневековой Европы^[182]. Все они жили, повинаясь тому же обычному праву, образчики которого были даны на предыдущих страницах.

На другом конце мира мы находим малайский феодализм, который, однако, оказался бессильным искоренить негарию, т. е. деревенскую общину, с ее общинным владением, по крайней мере, частью земли, и перераспределением ее между негариями целого рода^[183]. У альфурусов Минегасы мы находим общинную трехпольную систему обработки земли; у индейского племени уайандотов (Wyandots) мы встречаем периодическое перераспределение земли всем родом. Главным образом, во всех тех частях Суматры, где мусульманское право еще не успело вполне разрушить старый родовой строй, мы находим неделимую семью (suca) и деревенскую общину (kota), сохраняющую свои права на землю, даже в таких случаях, когда часть ее была расчищена без разрешения со стороны общины^[184]. Но сказать это, значит сказать, вместе с тем, что все обычаи, служащие для взаимной защиты и для предупреждения родовых войн из-за кровавой мести и вообще всякого рода войн, — обычаи, на которые мы вкратце указали выше, как на типичные обычаи для общины, — также существуют и в данном случае. Мало того: чем полнее сохранилось общинное владение, тем лучше и мягче нравы. De-Stuers положительно утверждает, что везде, где деревенская община была менее подавлена завоевателями, наблюдается меньшее неравенство материального благосостояния, и самые предписания кровавой мести отличаются меньшей жестокостью; и, наоборот, везде, где деревенская община была окончательно разрушена, «жители страдают от невыносимого гнета со стороны деспотических правителей»^[185]. И это вполне естественно. Так что, когда Waitz заметил, что те племена, которые сохранили свои родовые конфедерации, стоят на высшем уровне развития и обладают более богатою литературою, чем те племена, у которых эти узы разрушены, он высказал именно то, что можно было предвидеть заранее.

Приводить отдельные примеры, значило бы уже повторяться — так поразительно походят друг на друга варварские общины, невзирая на разность климатов и рас. Один и тот же процесс развития совершался во всем человечестве, с удивительным однообразием. Когда, разрушаемый изнутри отдельной семьей, а извне — расчленением переселявшихся родов и необходимостью для них принимать в свою среду чужаков, родовой строй начал разлагаться, на смену ему выступила деревенская община, основанная на понятии об общей территории. Этот новый строй, выросший естественным путем из предыдущего родового строя, позволил варварам пройти через самый смутный период истории, не разбившись на отдельные семьи, которые неизбежно погибли бы в борьбе за существование. При новой организации развились новые формы обработки земли; земледелие достигло такой высоты, которая большинством населения земного шара не была превзойдена

вплоть до настоящего времени; ремесленное домашнее производство достигло высокой степени совершенства. Дикая природа была побеждена; чрез леса и болота были проложены дороги, и пустыня заселилась деревнями, отроившимися от материнских общин. Рынки, укрепленные города, церкви выросли среди пустынных лесов и равнин. Мало-помалу стали вырабатываться представления о более широких союзах, распространявшихся на целые племена и на группы племен, различных по своему происхождению. Старые представления о правосудии, сводившиеся просто к мести, медленным путем подверглись глубокому видоизменению, и обязанность исправить нанесенный ущерб заступила место мысли об отмщении.

Обычное право, которое по сию пору остается законом повседневной жизни для двух третей человечества, если не более, выработалось понемногу при этой организации, равно как и система обычаев, стремившихся к предупреждению угнетения масс меньшинством, силы которого росли по мере того, как росла возможность личного накопления богатств.

Такова была новая форма, в которую вылилось стремление масс к взаимной поддержке. И мы увидим в следующих главах, что прогресс — хозяйственный, умственный и нравственный — которого достигло человечество при этой новой народной форме организации, был так велик, что когда, позднее, начали слагаться государства, они просто завладели, в интересах меньшинства, всеми юридическими, экономическими и административными функциями, которые деревенская община уже отправляла на пользу всем.

Глава V

Взаимная помощь в средневековом городе

Зарождение и развитие власти в варварском обществе • Рабство в деревнях • Восстание укрепленных городов: их освобождение; их хартии • Гильдии • Двойственное происхождение свободного средневекового города • Его автономный суд и самоуправление. Почетное положение, занятое трудом • Торговля, производившаяся гильдиями и городом

Общительность и потребность во взаимной помощи и поддержке настолько приурочены человеческой природе, что мы не находим в истории таких времен, когда бы люди жили врозь, небольшими обособленными семьями, борющимися между собою из-за средств к существованию. Напротив, современные исследования доказали, как мы это видели в двух предыдущих главах, что, с самых ранних времен своей до-исторической жизни, люди собирались уже в роды, которые держались вместе идеей об единстве происхождения всех членов рода и поклонением их общим предкам. В течение многих тысячелетний родовой строй служил, таким образом, для объединения людей, хотя в нем не имелось решительно никакой власти, чтобы сделать его принудительным; и эта бытовая организация наложила глубокую печать на все последующее развитие человечества.

Когда узы общего происхождения стали ослабевать, вследствие частых и далеких переселений, причем развитие отдельной семьи в пределах самого рода также разрушало древнее родовое единство, — тогда новая форма объединения, основанная на земельном начале, — т. е. деревенская община, — была вызвана к жизни общественным творчеством человека. Это установление, в свою очередь, послужило для объединения людей в продолжение многих столетий, давая им возможность развивать более и более свои общественные учреждения и вместе с тем способствуя им пройти чрез самые мрачные периоды истории, не разбившись на ничем не связанные между собою сборища семей и личностей. Благодаря этому, как мы видели уже в предыдущих двух главах, человек мог сделать дальнейшие шаги в своем развитии и выработать целый ряд второстепенных общественных учреждений, из которых многие дожили вплоть до настоящего времени.

Теперь нам предстоит проследить дальнейшее развитие той же, всегда присущей человеку, склонности ко взаимной помощи. Взявши деревенские общины так называемых варваров, в тот период, когда они вступали в новый период цивилизации, после падения Западной Римской империи, мы должны теперь изучить те новые формы, в которые вылились общественные потребности масс в течение средних веков, — особенно *средневековые гильдии в средневековом городе*.

Так называемые варвары первых столетий нашего летосчисления, так же, как и многие монгольские, африканские, арабские и т. п. племена, до сих пор находящиеся на том же уровне развития, не только не походили на кровожадных животных, с которыми их часто сравнивают, но напротив того, неизменно предпочитали мир

войне. За исключением немногих племен, которые во время великих переселений были загнаны и бесплодные пустыни или на высокие нагорья, и таким образом вынуждены были жить периодическими набегами на своих более счастливых соседей, — за исключением этих племен, громадное большинство германцев, саксов, кельтов, славян и т. д., как только они осели на своих ново-завоеванных землях, немедленно вернулись к сохе или заступу и к своим стадам. Самые ранние варварские Уложения уже изображают нам общества, состоящие из мирных земледельческих общин, а вовсе не из беспорядочных орд людей, находящихся в непрерывной войне друг с другом.

Эти варвары покрыли занятые ими страны деревнями и фермами^[186]; они расчищали леса, строили мосты чрез дикие потоки, прокладывали гати чрез болота и колонизовали совершенно необитаемую до того пустыню; рискованные же военные занятия они предоставляли братствам, *scholae*, или дружинам беспокойных людей, собиравшихся вокруг временных вождей, которые переходили с места на место, предлагая свою страсть к приключениям, свое оружие и знание военного дела для защиты населения, желавшего одного: чтобы ему предоставили жить в мире. Отряды таких воителей приходили и уходили, ведя между собою родовые войны из-за кровавой мести; но главная масса населения продолжала пахать землю, обращая очень мало внимания на своих мнимых вождей, пока они не нарушали независимости деревенских общин^[187]. И эта масса новых засельщиков Европы выработала тогда уже системы землевладения и способы обработки земли, которые до сих пор остаются в силе и в употреблении у сотен миллионов людей. Они выработали свою систему возмездия за причиненные обиды, вместо древней родовой кровавой мести: они научились первым ремеслам; и, укрепивши свои деревни частоколами, земляными городками и башнями, куда можно было скрываться в случае новых набегов, они вскоре предоставили защиту этих башен и городков тем, кто из войны сделал себе ремесло.

Именно это миролюбие варваров, а отнюдь не их будто бы войнолюбивые инстинкты, стало, таким образом, источником, последовавшего затем порабощения народов военным вождям. Очевидно, что самый образ жизни вооруженных братств давал дружинникам гораздо больше случаев к обогащению, чем их могло представляться хлебопашцам, жившим мирною жизнью в своих земледельческих общинах. Даже теперь мы видим, что вооруженные люди по временам предпринимают разбойничьи набеги, чтобы перестрелять африканских матабэлов и отнять у них их стада, хотя матабэлы стремятся лишь к миру и готовы купить его, хотя бы дорогой ценой; что в старину же дружинники, очевидно, не отличались большею добросовестностью, чем их современные потомки. Так приобретали они скот, железо (имевшее в то время очень высокую ценность) и рабов^[188]; и хотя большая часть награбленного добра растрачивалась тут же, в тех достославных пирах, которые воспевает эпическая поэзия — все же некоторая часть оставалась и служила для дальнейшего обогащения.

В то время было еще множество невозделанной земли, и не было недостатка в людях, готовых обрабатывать ее, лишь бы только достать необходимый скот и орудия. Целые села, доведенные до нищеты болезнями, падежами скота, пожарами

или нападениями новых пришельцев, бросали свои дома и шли вразброд, в поисках за новыми местами для поселения, — подобно тому, как в России, по настоящее время, села бредут врозь по тем же причинам. И вот, если кто-нибудь из *hirdmen*'ов, т. е. старших дружинников, предлагал выдавать крестьянам несколько скота для начала нового хозяйства, железа для выковки плуга, а не то и самый плуг, а также свою защиту от набегов и грабежей, и если он объявлял, что на столько-то лет новые поселщики будут свободны от всяких платежей, прежде чем начать выплату долга, то переселенцы охотно садились на его землю. Впоследствии же, когда, после упорной борьбы с недородами, наводнениями и лихорадками, эти пионеры начинали уплачивать свои долги, они легко попадали в крепостную зависимость у защитника этой области.

Так накапливались богатства; а за богатством всегда следует власть ^[189]. Но все-таки, чем больше мы проникаем в жизнь тех времен — шестого и седьмого столетий, — тем более мы убеждаемся, что для установления власти меньшинства потребовался, помимо богатства и военной силы, еще один элемент. Это был элемент закона и права — желание масс сохранить мир и установить то, что они считали правосудием; и это желание дало вождям дружин, — князьям, герцогам, королям и т. п. — ту силу, которую они приобрели двумя или тремя столетиями позже. Та же идея правосудия, выросшая в родовом периоде, но понимаемого теперь как должное возмездие за причиненную обиду, прошла красной нитью через историю всех последовавших установлений; и в значительно большей мере, чем военные или экономические причины, она послужила основой, на которой развилась власть королей и феодальных владетелей.

Действительно, главной заботой варварских деревенских общин было тогда (как и теперь, у современных нам народов, стоящих на той же ступени развития), быстрое прекращение семейных войн, возникавших из-за кровавой мести, вследствие ходячих в то время представлений о правосудии. Как только возникала ссора между двумя общинниками, в нее немедленно вступалась община, и мирской сход, выслушавши дело, назначал размер виры (*wergeld*), т. е. возмездия, которое следовало выплатить пострадавшему, или его семье, а равным образом и размер пени (*fred*) за нарушение мира, которая уплачивалась общине. Внутри самой общины раздоры легко улаживались таким путем. Но когда являлся случай кровавой мести между двумя различными племенами, или двумя конфедерациями племен, тогда — несмотря на все меры, принимавшиеся для предупреждения подобных войн ^[190], — трудно было найти такого посредника, или знатока обычного права, которого решение было бы приемлемо обеими сторонами, по доверию к его беспристрастию и знакомству с древнейшими законами. Затруднение еще более осложнялось тем, что обычное право различных племен и конфедераций не одинаково определяло размеры виры в различных случаях.

Вследствие этого явился обычай брать судью из среды таких семей, или таких родов, которые были известны тем, что они сохраняют древний закон во всей чистоте, — что они обладают знанием песен, стихов, саг и т. д., при помощи которых закон удерживался в памяти. Сохранение закона таким путем стало своего рода искусством, «мистерией», тщательно передаваемой из поколения в поколение в известных семьях. Так, например, в Исландии и в других скандинавских странах на

всяком Allthing, или национальном вече, *lovsogmathr* (сказитель прав) распевал на память все обычное право, для поучения собравшихся; в Ирландии, как известно, существовал особый класс людей, имевших репутацию знатоков древних преданий, и вследствие этого пользовавшихся большим авторитетом в качестве судей^[191]. Поэтому, когда мы находим в русских летописях известие, что некоторые племена северо-западной России, видя все возраставшие беспорядки, происходившие от того, что «род восстал на род», обратились к норманнским варягам (*varingiar*) и просили их стать судьями и начальниками дружин; когда мы видим далее князей, выбираемых неизменно в течение следующих двух столетий из одной и той же норманнской семьи, мы должны признать, что славяне допускали в этих норманнах лучшее знакомство с законами того обычного права, которое различные славянские роды признавали для себя подходящим^[192]. В этом случае, обладание рунами, служившими для записи древних обычаев, являлось тогда положительным преимуществом на стороне норманнов; хотя в других случаях имеются также указания на то, что за судьями обращались к «старшему» роду, т. е. к ветви, считавшейся материнскою, и что решения этих судей считались самыми справедливыми^[193]. Наконец, в более позднюю пору, мы видим явную склонность выбирать судей из среды христианского духовенства, которое в то время еще придерживалось основного, теперь забытого, начала в христианстве, — что месть не составляет акта правосудия. В то время христианское духовенство открывало свои церкви, как места убежища для людей, убегавших от кровавой мести, и оно охотно выступало в качестве посредников в уголовных делах, всегда противясь старому родовому началу — «жизнь за жизнь и рана за рану».

Одним словом, чем глубже мы проникаем в историю ранних установлений, тем меньше мы находим оснований для военной теории происхождения власти, которой держится Спенсер. Судя по всему, даже та власть, которая позднее стала таким источником угнетения, имела свое происхождение в мирных наклонностях масс.

Во всех случаях суда, пеня (*fred*), которая часто доходила до половины размера виры (*wergeld*), поступала в распоряжение мирского схода или веча, и с незапамятных времен она употреблялась для работ общепользных, или служивших для защиты. До сих пор она имеет то же назначение (возведение башен) у кабиллов и у некоторых монгольских племен; и мы имеем прямые исторические свидетельства, что даже гораздо позднее судебные пошлины, в Пскове и в некоторых французских и германских городах, шли на поправку городских стен^[194]. Поэтому, совершенно естественно было, чтобы штрафы вручались тем судьям, — князьям, графам и т. п., которые одновременно обязаны были поддерживать дружину вооруженных людей, содержащуюся для защиты территории, а также обязаны были приводить приговоры в исполнение. Это стало всеобщим обычаем в восьмом и девятом веке, даже в тех случаях, когда судьей был выборный епископ. Таким образом появлялись зачатки соединения в одном лице того, что мы теперь называем судебною и исполнительною властью.

Впрочем, власть короля, князя, графа и т. п. строго ограничивалась этими двумя отправлениями. Он вовсе не был правителем народа — верховная власть все еще принадлежала вечу; он не был даже начальником народной милиции, так как, когда

народ брался за оружие, он находился под начальством отдельного, также выбранного вождя, который не был подчинен королю, или князю, но считался равным ему^[195]. Король или князь являлся полновластным господином лишь в своих личных вотчинах. Фактически, в языке варваров, слово *knung*, *konung*, *koning*, *cyning* — синоним латинского *rex*, — не имело другого значения, как только временного вождя, или предводителя отряда людей. Начальник флотилии судов, или даже отдельного пиратского судна, был также *konung*; даже теперь, в Норвегии, рыбак, заведующий местной рыбной ловлей, называется *Not-kong* — «король сетей»^[196]. Почтения, которым впоследствии стали окружать личность короля, в то время еще не существовало, и тогда как изменнический поступок по отношению к роду наказывался смертью, за убийство короля накладывалась только вира, причем король лишь оценивался во столько-то раз выше обыкновенного вольного человека^[197]. А когда король Кну (или Канут) убил одного из своих дружинников, то сага изображает его, созывающего дружинников на сходку (*thing*), во время которой он стал на колени, умоляя о прощении. Ему простили его вину, но лишь после того когда он согласился уплатить виру, в девять раз более обычной виры, причем из этой виры одну треть получал он сам, за потерю своего дружинника, одна треть была отдана родственникам убитого и одна треть (в виде *fred*, т. е. пени) — дружине^[198]. В сущности, нужно было, чтобы совершилась полнейшая перемена в ходячих понятиях, под влиянием Церкви и изучения римского права, прежде чем идея о святой неприкосновенности начала прилагаться к личности короля.

Я вышел бы, однако, за пределы настоящих очерков, если бы захотел проследить постепенное развитие власти из вышеуказанных элементов. Такие историки, как Грин и г-жа Грин для Англии, Огюстен Тьерри, Мишлэ и Люшер для Франции, Кауфман, Янссен и даже Нич для Германии, Лео и Ботта для Италии, Беляев, Костомаров и их последователи для России, и многие другие, подробно рассказали об этом. Они показали, как население, вполне свободное и только соглашавшееся «кормить» известное количество своих военных защитников, постепенно впадало в крепостную зависимость от этих покровителей; как отдача себя под покровительство церкви, или феодального владельца (*commendation*), становилась тяжелою необходимостью для свободных граждан, будучи единственною защитой от других феодальных грабителей; как замок каждого феодального владельца и епископа становился разбойничьим гнездом, — словом, как вводилось ярмо феодализма — и как крестовые походы, освобождая всех, кто носил крест, дали первый толчок к народному освобождению. Но нам нет надобности здесь рассказывать все это, так как главная наша задача — проследить теперь работу *построительного гения народных масс*, в их учреждениях, служивших делу взаимной помощи.

В то самое время, когда, казалось, последние следы свободы исчезали у варваров, и Европа, подпавшая под власть тысячи мелких правителей, шла прямо к установлению таких теократий и деспотических государств, какие обыкновенно следовали за варварской стадией в предыдущие эпохи цивилизации, или же шла к созданию варварских монархий, какие мы теперь видим в Африке, — в это самое время жизнь в Европе приняла новое направление. Она пошла по направлению, подобному тому, которое однажды уже принято было цивилизацией в городах

древней Греции. С единодушием, которое кажется нам теперь почти непонятным, и которое очень долгое время действительно не замечалось историками, городские поселения, вплоть до самых маленьких посадок, начали свергать с себя иго своих светских и духовных господ. Укрепленное село восстало против замка феодального владельца: сперва оно свергло его власть, затем — напало на замок и, наконец, разрушило его. Движение распространялось от одного города к другому, и в скором времени в нем приняли участие все европейские города. Менее чем в сто лет свободные города возникли на берегах Средиземного, Немецкого и Балтийского морей, Атлантического океана и у фиордов Скандинавии; у подножья Апеннин, Альп, Шварцвальда, Грампианских и Карпатских гор; в равнинах России, Венгрии, Франции и Испании. Везде вспыхивало то же самое восстание, имевшее везде одни и те же черты, везде проходившее приблизительно чрез те же формы и приводившее к одним и тем же результатам.

В каждом местечке, где только люди находили, или думали найти некоторую защиту в своих городских стенах, они вступали в «со-присягательства» (co-jurations) «братства» и «дружества» (amicia), объединенные одною общею мыслью, и смело шли навстречу новой жизни взаимной помощи и свободы. И они успели в осуществлении своих стремлений настолько, что в триста или четыреста лет вполне изменился самый вид Европы. Они покрыли страну городами, где возвели прекрасные, роскошные здания, являвшиеся выражением гения свободных союзов свободных людей, — зданиями, которых мы до сих пор не превзошли по красоте и выразительности. Они оставили в наследие последующим поколениям совершенно новые искусства и ремесла, и вся наша современная образованность, со всеми достигнутыми ею и ожидаемыми в будущем успехами, представляет лишь дальнейшим развитием этого наследия. И когда мы теперь стараемся определить, какие силы произвели эти великие результаты, мы находим их — не в гении отдельных героев, не в мощной организации больших государств и не в политических талантах их правителей, но в том же самом потоке взаимной помощи и взаимной поддержки, работу которого мы видели в деревенской общине и который оживился и обновился в средние века нового рода союзами, — гильдиями, вдохновленными тем же духом, — но отлился уже в новую форму.

В настоящее время хорошо известно, что феодализм не повлек за собой разложения деревенской общины. Хотя правителям-феодалам и удалось наложить ярмо крепостного труда на крестьян и присвоить себе права, которые раньше принадлежали деревенской общине (подати, выморочные имущества, налоги на наследства и браки), крестьяне, тем не менее, удержали за собой два основных общинных права: общинное владение землей и собственные суды. В былые времена, когда король посылал своего фогта (судью) в деревню, крестьяне встречали нового судью с цветами в одной руке и оружием в другой, и задавали ему вопрос — какой закон намерен он применять: тот ли, который он найдет в деревне, или тот, который он принес с собой? В первом случае ему вручали цветы и принимали его, а во втором — вступали с ним в бой^[199]. Теперь же крестьянам приходилось принимать судью, посылаемого королем или феодальным владельцем, так как не принять его они не могли; но они все-таки сохраняли право судебного разбирательства за мирским сходом, и сами назначали шесть, семь, или двенадцать судей, которые

действовали совместно с судьей феодального владельца, в присутствии мирского схода, в качестве посредников, или лиц, «находящих приговор». В большинстве случаев, королевскому или феодальному судье не оставалось даже ничего другого, как только подтвердить решение общинных судей и получать обычный штраф (fred).

Драгоценное право собственного судопроизводства, которое в то время влекло за собой и право на собственную администрацию и на собственное законодательство, сохранилось среди всех столкновений и войн. Даже законники, которыми окружил себя Карл Великий, не могли уничтожить этого права: они были вынуждены подтвердить его. В то же самое время, во всех делах, касавшихся общинных владений, мирской сход удерживал за собой верховное право, и, как было показано Маурером, он часто требовал подчинения себе со стороны самого феодального владельца, в делах, касавшихся земли. Самое сильное развитие феодализма не могло сломить сопротивления деревенской общины: она твердо держалась за свои права; и когда, в девятом и десятом столетиях, нашествия норманнов, арабов и венгерцев ясно показали, что военные дружины в сущности не в силах охранять страну от набегов, — по всей Европе крестьяне сами начали укреплять свои поселения каменными стенами и крепостцами. Тысячи укрепленных центров были воздвигнуты тогда, благодаря энергии деревенских общин; а раз вокруг общин воздвиглись валы и стены, и в этом новом святилище создались новые общие интересы, — жители быстро поняли, что теперь, за своими стенами, они могут сопротивляться не только нападениям внешних врагов, но и нападениям внутренних врагов, т. е. феодальных владельцев. Тогда новая, свободная жизнь начала развиваться внутри этих укреплений. Родился средневековый город^[200].

Ни один период истории не служит лучшим подтверждением созидательных сил народа, чем десятый и одиннадцатый век, когда укрепленные деревни и торговые местечки, представлявшие своего рода «оазисы в феодальном лесу», начали освобождаться от ярма феодалов и медленно вырабатывать будущую организацию города. К несчастью, исторические сведения об этом периоде отличаются особенною скудностью: нам известны его результаты, но очень мало дошло до нас о том, какими средствами эти результаты были достигнуты^[201]. Под защитой своих стен, городские веча — иные совершенно независимо, другие же под руководством главных дворянских или купеческих семей — завоевали и утвердили за собой право выбора военного защитника города (*defensor municipii*) и верховного судьи, или, по крайней мере, право выбирать между теми, кто изъявлял желание занять это место. В Италии, молодые коммуны постоянно изгоняли своих защитников (*defensores* или *domini*), причем общинам приходилось даже сражаться с теми, которые не соглашались добровольно уйти. То же самое происходило и на востоке. В Богемии, как бедные, так богатые (*Bohemicae gentis magni et parvi, nobiles et ignobiles*) одинаково принимали участие в выборах^[202]; а веча русских городов регулярно сами избирали своих князей — всегда из одной и той же семьи, Рюриковичей, — вступали с ними в договоры (ряду) и выгоняли князя, если он вызывал неудовольствие^[203]. В то же самое время, в большинстве городов Западной и Южной Европы было стремление назначать в качестве защитника города (*defensor*) епископа, которого избирал сам город; причем епископы так часто стояли

первыми в защите городских привилегий (иммунитетов) и вольностей, что многие из них, после смерти, были признаны святыми, или же специальными покровителями различных городов. Св. Утельред в Винчестере, св. Ульрик в Аугсбурге, св. Вольфганг в Ратисбоне, св. Хериборк в Кёльне, св. Адальберт в Праге, и т. д., и множество аббатов и монахов стали святыми своих городов, за то, что защищали народные права^[204]. И при помощи этих новых защитников, светских и духовных, граждане завоевывали для своего веча полные права на независимость в суде и администрации^[205].

Весь процесс освобождения подвигался понемногу, благодаря непрерывному ряду поступков, где проявлялась преданность общему делу, и совершаемых людьми, выходящими из среды народных масс — неизвестными героями, самые имена которых не сохранились в истории. Поразительное движение, известное под названием «Божьего мира» (*treuga Dei*), при помощи которого народные массы стремились положить предел бесконечным родовым войнам из-за кровавой мести, продолжавшимся в среде знатных фамилий, зародилось в юных вольных городах, причем епископы и граждане пытались распространить на дворянство тот мир, который они установили у себя, внутри своих городских стен^[206].

Уже в этом периоде торговые города Италии, и в особенности Амальфи (который имел выборных консулов с 844 года и часто менял своих дожей в десятом веке)^[207], выработали обычное морское и торговое право, которое позднее стало образцом для всей Европы. Равенна выработала в ту же пору свою ремесленную организацию, а Милан, который первую свою революцию произвел в 980 году, стал крупным торговым центром, причем его ремесла пользовались полной независимостью уже с одиннадцатого века^[208]. То же можно сказать относительно Брюгге и Гента, а также нескольких французских городов, в которых *Mahl* или *forum* (вече) уже стало совершенно независимым учреждением^[209]. И уже в течение этого периода началась работа артистического украшения городов произведениями архитектуры, которым мы удивляемся поныне, и которые громко свидетельствуют об умственном движении, совершавшемся в ту пору. «Почти по всему миру были тогда возобновлены храмы», — писал в своей хронике Рауль Глабер, и некоторые из самых чудных памятников средневековой архитектуры относятся к этому периоду: удивительная древняя церковь Бремена была построена в девятом веке; собор святого Марка в Венеции был закончен постройкой в 1071 году, а прекрасный собор в Пизе — в 1063 году. В сущности, умственное движение, которое описывалось под именем Возрождения двенадцатого века^[210] и Рационализма двенадцатого века^[211], и было предшественником реформации, берет свое начало в этом периоде, когда большинство городов представляло еще простые кучки небольших деревенских общин, обнесенных одною общею стеною, а некоторые уже стали независимыми коммунами.

Но еще один элемент, кроме деревенской общины, требовался, чтобы придать этим зарождавшимся центрам свободы и просвещения единство мысли и действия и ту могучую силу почина, которые создали их могущество в двенадцатом и тринадцатом веке. При возраставшем разнообразии в занятиях, ремеслах и искусствах и увеличении торговли с далекими странами, требовалась новая форма

единения, которой еще не давала деревенская община, и этот необходимый новый элемент был найден в гильдиях. Много томов было написано об этих союзах, которые, под именем гильдий, братств, дружеств, минне, артелей в России, еснафов в Сербии и Турции, амкари в Грузии и т. д., получили такое развитие в средние века. Но историкам пришлось проработать более шестидесяти лет над этим вопросом, прежде чем была понята всеобщность этого учреждения и выяснен его истинный характер. Только теперь, когда уже напечатаны и изучены сотни гильдейских статутов и определена их связь с римской *collegia*, а также с еще более древними союзами в Греции и Индии, мы можем с полной уверенностью утверждать, что эти братства являлись лишь дальнейшим развитием тех же самых начал, проявление которых мы видели уже в родовом строе и в деревенской общине^[212].

Ничто не может лучше обрисовать эти средневековые братства, чем те временные гильдии, которые возникали на торговых кораблях. Когда ганзейский корабль, вышедший в море, пройдет, бывало, первые полдня по выходе из порта, капитан или же шкипер (*Schiffer*) обыкновенно собирал на палубе весь экипаж и пассажиров и обращался к ним, по свидетельству одного современника, со следующей речью: «Так как мы теперь находимся в воле Бога и волн, — говорил он, — то все мы должны быть равны друг другу. И так как мы окружены бурями, высокими волнами, морскими разбойниками и другими опасностями, то мы должны поддерживать строгий порядок, дабы довести наше путешествие до благополучного конца. Поэтому мы должны помолиться о попутном ветре и о добром успехе и, согласно морскому закону, избрать тех, которые займут судейские места (*Schoffenstellen*)». Вслед за тем экипаж выбирал фогта и четырех *scabini*, которые и становились судьями. В конце плавания фогт и *scabini* слагали с себя обязанности и обращались к экипажу с следующей речью: — «Все, что случилось на корабле, мы должны простить друг другу и считать как бы мертвым (*totd und ab sein lassen*). Мы судили по справедливости и в интересах правосудия. Поэтому просим вас всех, во имя честного правосудия, забыть всякую злобу, какую можете питать друг на друга и поклясться на хлебе и соли, что не будете вспоминать о прошлом с враждой. Но если кто-нибудь считает себя обиженным, то пусть он обратится к ландфогту (судье на суше) и до заката солнца просит у него правосудия». По высадке на берег все взысканные в пути штрафы (*fred*) передавались портовому фогту для раздачи бедным^[213].

Этот простой рассказ, быть может, лучше всего характеризует дух средневековых гильдий. Подобные организации возникали повсюду, где только появлялась группа людей, объединенных каким-нибудь общим делом: рыбаков, охотников, странствующих купцов, строителей, оседлых ремесленников и т. д. Как мы видели, на корабле имела уже морская власть, в руках капитана; но ради успеха общего предприятия, все собравшиеся на корабле, богатые и бедные, хозяева и экипаж, капитан и матросы, соглашались быть равными в своих личных отношениях, — соглашались быть просто людьми, обязанными помогать один другому, — и обязывались разрешать все могущие возникнуть между ними несогласия при помощи судей, избранных всеми ими. Точно так же, когда некоторое количество ремесленников — каменщиков, плотников, каменотесов и т. п. — собиралось вместе, для постройки, скажем, собора, то, хотя все они являлись

гражданами города, имевшего свою политическую организацию, и хотя каждый из них, кроме того, принадлежал к своему цеху, тем не менее, сойдясь на общем предприятии — на деле, которое они знали лучше других, — они соединялись еще в организацию, скрепленную более тесными, хотя и временными узами: они основывали гильдию, артель, для постройки собора^[214]. Мы видим то же самое и в настоящее время, в кабийском софе^[215]: у кабилов есть своя деревенская община, но она оказывается недостаточной для удовлетворения всех политических, коммерческих и личных потребностей объединения; вследствие чего устанавливается другое, более тесное, братство, в форме софа.

Что же касается до братского характера средневековых гильдий, то для выяснения его можно воспользоваться любым гильдейским статутом. Если взять, например, *skraa* какой-нибудь древней датской гильдии, мы прочтем в ней, во-первых, что в гильдии должны господствовать общие братские чувства; затем идут правила относительно собственного суда в гильдии, в случае ссоры между двумя гильдейскими братьями, или же между братом и посторонним; и наконец, перечисляются общественные обязанности братьев. Если у брата сгорит дом, если он потеряет свое судно, или пострадает во время богомолья, то все братья должны прийти ему на помощь. Если брат опасно заболит, то два брата должны пребывать у его постели, пока не минует опасность; а если он умрет, то братья должны похоронить его — немаловажная обязанность в те времена частых эпидемий — и проводить его до церкви и до могилы. После смерти брата, если оказывалось необходимым, они обязаны были позаботиться о его детях; очень часто вдова становилась сестрою в гильдии^[216].

Вышеуказанные две главные черты встречаются в каждом из братств, основанных для какой бы то ни было цели. Во всех случаях члены именно так и относились друг к другу и называли друг друга братьями и сестрами^[217]. В гильдии все были равны. Гильдии сообща владели некоторою собственностью (скотом, землей, зданиями, церквами или «общими сбережениями»). Все братья клялись позабыть все прежние родовые столкновения из-за кровавой мести; и, не налагая друг на друга невыполнимого обязательства, никогда больше не ссориться, они вступали в соглашение, чтобы ссора никогда не переходила в семейную вражду, со всеми последствиями родовой мести, и чтобы за разрешением ссор братья не обращались ни к какому иному суду, кроме гильдейского суда самих братьев. В случае же, если брат вовлекался в ссору с посторонним для гильдии лицом, то братья были обязаны поддерживать брата, во что бы то ни стало; был ли он справедливо или несправедливо обвинен в нанесении обиды, братья должны были оказать ему поддержку и стараться довести дело до миролюбивого решения. Если только насилие, совершенное братом, не было тайным — в последнем случае он был бы вне закона — братство стояло за него^[218]. Если родственники обиженного человека хотели немедленно мстить обидчику нападением на него, то братство снабжало его лошадью для побега, или же лодкой, парой весел, ножом и сталью для высекания огня; если он оставался в городе, его повсюду сопровождала охрана из двенадцати братьев; а тем временем, братство всячески старалось устроить примирение (*composition*). Когда дело доходило до суда, братья шли в суд, чтобы клятвенно подтвердить правдивость показаний обвиняемого; если же суд находил

его виновным, они не давали ему впасть в полное разорение, или попасть в рабство вследствие невозможности уплатить присужденную виру: они все участвовали в уплате виры, совершенно так же, как это делал в древности весь род. Только в том случае, если брат обманывал доверие своих собратьев по гильдии, или даже других лиц, он изгонялся из братства «с именем негодного» (tha seal han maeles af brodrescap met nidings nafn^[219]). Гильдия служила, таким образом, продолжением прежнего «рода».

Таковы были руководящие идеи этих братств, которые постепенно распространялись на всю средневековую жизнь. Действительно, нам известны гильдии, возникавшие среди людей всех возможных профессий: гильдии рабов^[220], гильдии свободных граждан и гильдии смешанные, состоявшие из рабов и свободных граждан; гильдии, организованные для специальных целей — охоты, рыбной ловли или данной торговой экспедиции, распадавшиеся, когда специальная цель была достигнута, и гильдии, существовавшие в течение столетий, в данном ремесле или отрасли торговли. И по мере того, как жизнь выдвигала все большее и большее разнообразие целей, соответственно росло и разнообразие гильдий. Вследствие этого, не только торговцы, ремесленники, охотники и крестьяне объединялись в гильдии, но мы находим гильдии священников, живописцев, учителей в народных школах и в университетах, гильдии для сценической постановки «Страстей Господних», для постройки церквей, для развития «мистерии» данной школы искусства или ремесла, гильдии для специальных развлечений — даже гильдии нищих, палачей и проституток, причем все эти гильдии были организованы по тому же двойному принципу собственного суда и взаимной поддержки^[221]. Что же касается до России, то мы имеем положительные свидетельства, указывающие, что самое дело созидания России было настолько же делом рыболовных, охотничьих и промышленных артелей, сколько и результатом почкования деревенских общин. Вплоть до настоящего дня Россия покрыта артелями^[222].

Уже из вышеприведенных замечаний видно, насколько ошибочен был взгляд ранних исследователей гильдий, когда они считали сущностью этого учреждения годовое празднество, обыкновенно устраиваемое братьями. В действительности, общая трапеза всегда бывала в самый день, или на другой день после того, когда происходило избрание старшин, обсуждение нужных изменений в уставах и очень часто обсуждение тех ссор, которые возникали между братьями^[223]; наконец, в этот день иногда возобновляли присягу на верность гильдии. Общая трапеза, подобно пиру на древнем родовом мирском сходе, — *mahl* или *malum*, — или бурятской «аба», или приходскому празднику и пиру по окончании жатвы, служила просто для утверждения братства. Она символизировала те времена, когда все было в общем владении рода. В этот день, по крайней мере, все принадлежало всем; все садились за один и тот же стол, всем подавалась одна и та же пища. Даже в гораздо более поздний период обитатели богадельни одной из Лондонских гильдий садились в этот день за общий стол, рядом с богатым альдерменом.

Что же касается до различия, которое некоторые исследователи пытались установить между старыми саксонскими «гильдиями миролюбия» (*frith guild*) и так

называемыми «общительными» или «религиозными» гильдиями, то относительно этого можно сказать, что все они были гильдиями миролюбия в вышеуказанном смысле^[224], и все они были религиозны в том смысле, в каком деревенская община или город, поставленные под покровительство специального святого, являются социальными и религиозными. Если институция гильдии получила такое обширное распространение в Азии, Африке и Европе, если она просуществовала тысячелетия, снова и снова возникая всякий раз, когда сходные условия вызывали ее к жизни, то это объясняется тем, что гильдия представляла собою нечто гораздо большее, чем простую ассоциацию для совместной еды, или для хождения в церковь в известный день, или дня устройства похорон на общий счет. Она отвечала глубоко вкорененной потребности человеческой природы; и она совмещала в себе все те атрибуты, которые впоследствии государство присвоило своей бюрократии и полиции, и еще многое другое. Гильдия была ассоциацией для взаимной поддержки, «делом и советом», во всех обстоятельствах и во всех случайностях жизни; и она была организацией для утверждения правосудия; с тем, однако, отличием в данном случае от государства, что в дело суда она вводила человеческий, братский элемент, вместо элемента формального, являющегося существенной характерной чертой государственного вмешательства. Даже когда гильдейский брат являлся пред гильдейским судом, он был судим людьми, которые знали его хорошо, стояли с ним рядом при совместной работе, сидели не раз за общей трапезой и вместе исполняли всякие братские обязанности: он отвечал пред людьми равными ему и действительными братьями, а не пред теоретиками закона, или защитниками чьих-то иных интересов [См. Приложение XIV].

Очевидно, что такое учреждение, как гильдия, прекрасно приспособленное для удовлетворения потребности в объединении, не лишая при том личность ее самобытности и почина, должно было расширяться, расти и укрепляться. Затруднение было только в том, чтобы найти форму, которая позволяла бы союзам гильдий объединяться между собою, не входя в столкновение с союзами деревенских общин, и соединила бы и те и другие в одно стройное целое. И когда подходящая форма была найдена — в свободном городе, — и ряд благоприятных обстоятельств дал городам возможность заявить и утвердить свою независимость, они выполнили это с таким единством мысли, которое вызвало бы удивление, даже в наш век железных дорог, телеграфных сообщений и печати. Сотни хартий, которыми города утверждали свое соединение, дошли до нас, и во всех этих хартиях проводятся одни и те же руководящие мысли, — несмотря на бесконечное разнообразие подробностей, зависевших от большей или меньшей полноты освобождения. Везде город организовывался, как двойная федерация — небольших деревенских общин и гильдий.

«Все принадлежащие к содружеству города, — так говорится, например, в хартии, выданной в 1188 году гражданам города Эр (Aire) Филиппом, графом Фландрским, — обещались и подтвердили клятвой, что они будут помогать друг другу, как братья, во всем полезном и честном; что если один обидит другого, словом или делом, то обиженный не будет мстить, ни сам, ни его сородичи... он принесет жалобу, и обидчик заплатит должное возмездие за обиду, согласно решению, произнесенному двенадцатью выборными судьями, действующими в

качестве посредников. И если обидчик или обиженный, после третьего предостережения, не подчинится решению посредников, он будет исключен из содружества, как порочный человек и клятвопреступник»^[225].

«Каждый из членов общины будет верен своим соприсягавшим и будет подавать им помощь и совет, согласно тому, что ему подскажет справедливость», — так говорится в Амьенской и Аббевильской хартиях. — «Все будут помогать друг другу, каждый по мере своих сил, в границах общины, и не допустят, чтобы один брал что-либо у другого общинника, или один заставлял другого платить какие-нибудь поборы (contributions)», — читаем мы в хартиях Суассона, Компьеня, Санлиса и многих других городов того же типа^[226].

«Коммуна, — писал защитник старого порядка Гильбер де-Ножан, — есть присяга во взаимной помощи (mutui adjutori conjuratio)»... «Новое и отвратительное слово. Благодаря ей крепостные (capite sensi) освобождаются от всякой крепостной зависимости; благодаря ей, они освобождаются от платы тех поборов, которые обыкновенно всегда платились крепостными»^[227].

Та же самая освободительная волна прокатилась в десятом, одиннадцатом и двенадцатом веке по всей Европе, захватывая как богатые, так и самые бедные города. И если мы можем сказать, что, вообще говоря, первыми освободились итальянские города (многие еще в одиннадцатом, а некоторые и в десятом веке), то мы все-таки не можем указать центра, из которого распространилось бы это движение. Очень часто маленький посад, где-нибудь в центральной Европе, становился во главе движения своей области, и большие города принимали его хартию за образец для себя. Так, напр., хартия маленького городка Лорриса (Lorris) была принята 83-мя городами в юго-восточной Франции, а хартия Бомона (Beaumont) послужила образцом более, чем для пятисот городов и городков в Бельгии и во Франции. Города сплошь да рядом отправляли специальных депутатов в соседний город, чтобы получить копию с его хартии, и на основании ее выработывали собственную конституцию. Впрочем, города не довольствовались простым списыванием хартий друг у друга: они составляли свои хартии, в соответствии с уступками, которые им удалось вырвать у своих феодальных владельцев; и в результате, как заметил один историк, хартии средневековых коммун отличаются таким же разнообразием, как и готическая архитектура их церквей и соборов. Та же руководящая идея во всех, — так как городской собор символически представлял собой союз приходов, или малых общин, и гильдий в вольном городе, и в каждом соборе — бесконечно-богатое разнообразие в деталях его отделки.

Самым существенным пунктом для освобождавшегося города было его собственное право суда (собственная юрисдикция), которое влекло за собой и собственную администрацию. Но город не был просто «автономной» частью государства — подобные двусмысленные слова еще не были изобретены в то время, — он составлял государство само по себе. Он имел право объявлять войну и заключать мир, право заключать союзы со своими соседями и вступать с ними в федерации. Он был самодержавным в своих собственных делах и не вмешивался в чужие.

Верховная политическая власть в городе большею частью находилась всецело в

руках демократического веча (форума), как это было, например, в Пскове, где вече посылало и принимало посланников, заключало договоры, призывало и изгоняло князей, или вовсе обходилось без них целые десятилетия. Или же высшая политическая власть была передана в руки нескольких знатных, купеческих или даже дворянских семей; или же она была захвачена ими, как это бывало в сотнях городов Италии и Средней Европы. Но основные начала оставались те же: город являлся государством, и — что, пожалуй, еще более замечательно — если власть в городе бывала захвачена, или постепенно присвоена торговой аристократией, или даже дворянством, внутренняя жизнь города и демократизм его повседневных отношений терпели от этого мало ущерба: они мало зависели от того, что можно назвать политической формой государства.

Секрет этого кажущегося противоречия заключается в том, что средневековый город не был централизованным государством. В течение первых столетий своего существования, город едва ли можно было назвать государством, поскольку дело шло об его внутреннем строе, так как средние века вообще так же чужды были нашей современной централизации должностей, как и нашей централизации губерний и областей в руках центрального правительства. Каждая группа имела тогда свою долю верховной власти.

Обыкновенно город был разделен на четыре квартала или же на пять, шесть или семь «концов» (секторов), расходившихся от центра, где стоял собор и очень часто крепость (кремль). При этом, каждый квартал или конец, в общем, представлял известный род торговли или ремесла, преобладавший в нем, хотя в то же время в каждом квартале или конце, могли жить люди, занимавшие различные общественные положения и предававшиеся различным занятиям — дворянство, купцы, ремесленники и даже полукрепостные. Каждый конец, или квартал, представлял, однако, совершенно независимую единицу. В Венеции каждый остров представлял независимую политическую общину, которая имела свою организацию ремесел и торговли, свою торговлю солью и хлебом (покупаемыми для своих граждан), свой собственный суд, свою администрацию и свое собственное вече, или форум. Поэтому избрание всею Венециею того или другого дожа, т. е. верховного военачальника и правителя, ничего не изменяло во внутренней независимости каждой из этих единичных общин^[228].

В Кёльне жители разделялись на *Geburschaften* и *Heimschaften (viciniae)*, т. е. соседские гильдии, образование которых относится к франконскому периоду, и каждая из этих гильдий имела своего судью (*Burrichter*) и обычных двенадцать выборных заседателей (*Schoffen*), своего фогта (род полицейского начальства) и своего *greve*, или начальника гильдейской милиции^[229].

«История древнего Лондона, до норманнского завоевания в одиннадцатом веке, — говорит Грин, — является историей нескольких маленьких групп, рассеянных на пространстве, окруженном городскими стенами, причем каждая группа сама по себе развивалась, со своими учреждениями, гильдиями, судом, церквями и т. д., и только мало-помалу эти группы объединялись в муниципальный союз»^[230]. А когда мы обращаемся к летописям русских городов, Новгорода и Пскова, которые отличаются, и те и другие, обилием чисто местных подробностей,

мы узнаем, что и «концы», в свою очередь, состояли из независимых «улиц», из которых каждая, хотя и была преимущественно населена рабочими известного ремесла, тем не менее имела среди своих жителей также и купцов и землевладельцев, и составляла отдельную общину. Улица несла общую ответственность за всех своих членов в случае преступления; она обладала собственным судом и администрацией, в лице «уличанских старост», имела собственную печать (*символ государственной власти*), и в случае нужды собиралось ее уличанское вече. У нее была, наконец, своя собственная милиция, выбранные ею священники, и она имела свою собственную коллективную жизнь и свои коллективные предприятия^[231].

Таким образом, средневековый город являлся *двойной федерацией*: всех домохозяев, объединенных в небольшие земельные союзы — улицу, приход, конец, — и отдельных личностей, объединенных общою клятвою в своих гильдиях, сообразно их профессиям. Первая федерация была плодом деревенско-общинного происхождения города; вторая же была плодом последующего роста, вызванного новыми условиями.

В этом была вся сущность устройства вольных средневековых городов, которым Европа обязана роскошным развитием, принятым ее цивилизацией.

Главною задачею средневекового города было обеспечение свободы, самоуправления и мира; главною же основою городской жизни, как мы сейчас увидим, когда будем говорить о ремесленных гильдиях, являлся труд. Но «производство» не поглощало всего внимания средневекового экономиста. Своим практическим умом он понимал, что надо гарантировать «потребление», чтобы возможно было производство; а потому обеспечение «всеобщей потребности в пище и помещении, для бедных и для богатых» (*gemeine notdurft und gemach armer und richer*)^[232] было основным началом для каждого города. Скупать пищевые продукты и другие предметы первой необходимости (уголь, дрова и т. п.), прежде чем они попадут на рынок, или скупать их при особенно благоприятных условиях, недоступных для других, — словом, *greempcio*, спекуляция — совершенно воспрещалось. Все должно было идти сперва на рынок и там быть предоставлено для покупки всем, вплоть до того времени, когда звон колокола возвестит о закрытии рынка. Только тогда мог мелочной торговец покупать оставшиеся продукты; но и в этом случае, его прибыль при продаже должна была быть «честной прибылью»^[233]. Кроме того, если хлебник, по закрытии рынка, покупал зерно оптом, то каждый гражданин имел право потребовать для себя известное количество этого зерна (около половины полумеры) по оптовой цене, если он заявит подобное требование до окончательного заключения торга; но, равным образом, и каждый хлебопекарь мог предъявить подобное же требование, если горожанин покупал рожь для перепродажи. Чтобы смолотить зерно, достаточно было привезти его на городскую мельницу, где оно бывало смолото в свой черед, по определенной цене; хлеб же можно было печь в *four banal*, т. е. в общинной печи^[234]. Одним словом, если город терпел нужду, то от нее терпели, более или менее, все; но помимо подобных несчастий, пока существовали свободные города, в их стенах никто не мог умереть от голода, как это, к несчастью, чересчур часто случается в наше время.

Впрочем, все эти правила относятся уже к позднейшим периодам жизни городов; так как в начале своей жизни вольные города обыкновенно сами закупали все пищевые продукты для потребления горожан. Документы, недавно опубликованные Чарльзом Гроссом, содержат совершенно определенные данные на этот счет и подтверждают его вывод, что прибывавшие в город грузы пищевых продуктов «покупались особыми городскими чиновниками, от имени города, и затем распределялись между горожанами; — купцами, причем никому не позволялось покупать товары, выгруженные в порте, куда муниципальные власти не откажутся купить их. Таков, — прибавляет Гросс, — был, по-видимому, общераспространенный прием в Англии, в Ирландии, в Уэльсе и в Шотландии»^[235]. Даже в шестнадцатом столетии мы видим, что в Лондоне производилась общинная покупка зерна, «для удобства и выгоды во всяких видах Города и Палаты Лондона и всех граждан и жителей его, насколько это от нас зависит», — как писал мэр в 1565 году^[236].

В Венеции вся торговля зерновым хлебом, как теперь хорошо известно, находилась в руках города; а «кварталы», по получении зернового хлеба из управления, которое заведовало ввозом, должны были разослать по домам всех граждан квартала количество, приходившееся на долю каждого^[237]. Во Франции, город Амьен закупал соль и распределял ее между всеми гражданами по покупной цене^[238]; и даже в настоящее время мы встречаем во многих французских городах halles, которые раньше были муниципальными депо для ссыпки зерна и соли^[239]. В России, это также было обычным явлением в Новгороде в Пскове.

Надо сказать, что весь вопрос об общинных покупках, для потребления граждан, и о способах, какими совершались эти закупки, до сих пор не получил еще должного внимания со стороны историков; но там и сям встречаются очень поучительные факты, проливающие новый свет на этот вопрос. Так, среди документов Гросса имеется устав города Килькенни, относящийся к 1367 году, и из этого документа мы узнаем, как устанавливались цены на товары. «Купцы и матросы, — говорит Гросс, — должны были под присягою показать покупную цену своих товаров и издержки, сделанные на перевозку. Тогда мэр города и два добросовестных назначали цену (named the price), по которой товары должны были продаваться». То же правило соблюдалось и в Торсо для товаров, приходивших «с моря или с суши». Этот способ «назначения цены» так хорошо согласуется именно с представлениями о торговле, преобладавшими в средние века, что он должен был быть во всеобщем ходу. Установление цены третьим лицом было очень древним обычаем; и для всякого рода обмена в пределах города несомненно прибегали также очень часто к определению цен, не продавцом или покупателем, а третьим лицом, — «добросовестным». Но этот порядок вещей отодвигает нас к еще более раннему периоду в истории торговли, а именно, к тому времени, когда вся торговля главными продуктами велась целым городом, и купцы были лишь комиссионерами, доверенными от города для продажи товаров, которые город вывозил. Так, Уотерфордский устав, также опубликованный Гроссом, говорит, что «все товары, какого бы то ни было рода... должны быть покупаемы мэром [городским головою] и судебными приставами (balives), которые назначены общинными покупщиками [для города] в данное время, и должны быть распределены между всеми

свободными гражданами города (за исключением только собственного добра свободных граждан и жителей)». Этот устав едва ли можно истолковывать иначе, как допустивши, что вся внешняя торговля города производилась его доверенными агентами. Кроме того, у нас имеется прямое свидетельство, что именно так было поставлено дело в Новгороде и Пскове. Господин Великий Новгород и Господин Великий Псков сами посылали свои купеческие караваны в дальние страны.

Нам известно также, что почти во всех средневековых городах Средней и Западной Европы каждая ремесленная гильдия обыкновенно покупала сообща все сырые продукты для своих братьев, и продавала продукты их работы чрез посредство выборных; и едва ли допустимо, чтобы внешняя торговля не велась тем же порядком, — тем более, что как хорошо известно историкам, вплоть до тринадцатого века, не только все купцы данного города считались в чужой стране ответственными, как корпорация, за долги, сделанные кем-либо из них, но также и весь город был ответственным за долги, сделанные каждым из его граждан-купцов. Только в двенадцатом и тринадцатом веке Рейнские города вошли в специальные договоры, которыми уничтожалась эта круговая порука^[240]. И наконец, мы имеем замечательный Ипсвичский документ, напечатанный Гроссом, из которого видно, что торговая гильдия этого города состояла из всех тех, кто числился свободными гражданами города и изъявил согласие платить свой взнос (свою «hanse») в гильдию, причем вся община обсуждала сообща, как лучше поддержать торговую гильдию и какие дать ей привилегии. Торговая гильдия (the Merchant guild) Ипсвича является, таким образом, скорее корпорацией доверенных города, чем обыкновенною частного гильдиею.

Одним словом, чем более мы знакомимся с средневековым городом, тем более мы убеждаемся, что он не был простою политическою организацией для охраны известных политических свобод. Он представлял попытку — в более широком размере, чем это было сделано в деревенской общине, — тесного союза для целей взаимной помощи и поддержки, для потребления и производства, и для общительной жизни вообще, — не налагая для этого на людей оковы государства, но предоставляя, наоборот, полную свободу для проявления созидательного гения каждой отдельной группы людей в области искусства, ремесел, науки, торговли и политического строя.

Насколько эта попытка была успешна, мы лучше всего увидим, рассмотрев в следующей главе организацию труда в средневековом городе и отношения городов к окружавшему их крестьянскому населению.

Глава VI

Взаимная помощь в средневековом городе (Продолжение)

Сходства и различия между средневековыми городами
Ремесленные гильдии: атрибуты государства в каждой из них • Отношение города к крестьянам; попытки освободить их • Феодалные владельцы • Результаты, достигнутые средневековым городом: в области искусств, в области образования • Причины упадка

Средневековые города не были организованы по какому-нибудь заранее намеченному плану, в силу воли какого-нибудь постороннего населению законодателя. Каждый из этих городов был плодом естественного роста в полном смысле этого слова: он был постоянно видоизменяющимся результатом борьбы между различными силами, снова и снова приспособлявшимися друг к другу, соответственно живой силе каждой из них, а также согласно случайностям борьбы и согласно поддержке, которую они находили в окружающей их среде. Вследствие этого, не найдется двух городов, которых внутренний строй и исторические судьбы были бы тождественны; и каждый из них, взятый в отдельности, меняет свою физиономию из века в век. Тем не менее, если окинуть широким взглядом все города Европы, то местные и национальные различия отходят вдаль, и мы поражаемся существующим между всеми ими удивительным сходством, хотя каждый из них развивался сам по себе, независимо от других и в иных условиях. Какой-нибудь маленький городок на севере Шотландии, населенный бедными рабочими и рыбаками; или же богатый город Фландрии, с его мировой торговлею, роскошью, любовью к удовольствиям и одушевленную жизнью; итальянский город, разбогатевший от сношений с Востоком и вырабатывающий в своих стенах утонченный художественный вкус и утонченную цивилизацию, и, наконец, бедный, главным образом занимающийся земледелием, город в болотно-озерной области России, — по-видимому, мало имеют общего между собою. А между тем руководящие черты их организации и дух, которым они проникнуты, поражают своим семейным сходством.

Везде мы находим те же самые федерации маленьких общин, или приходов, и гильдий; те же самые «пригороды» вокруг «города»-матери; то же самое вече; те же внешние знаки независимости — печать, хоругвь и т. д. Защитник (defensor) города, под различными наименованиями и в различных одеяниях, представляет одну и ту же власть, защищая одни и те же интересы; заготовка пищевых запасов, труд, торговля — организованы в тех же самых общих чертах; внутренние и внешние столкновения зарождаются из тех же побуждений; мало того, самые лозунги, выдвинутые во время этих столкновений, и даже формулы, употребляемые в городских летописях, уставах, документах, оказываются те же; и архитектурные памятники, будут ли они по стилю готическими, римскими или византийскими,

выражают те же самые стремления и те же идеалы; они задуманы были, чтобы выразить ту же мысль, и строились они тем же путем. Многие несходства оказываются просто различиями в возрасте двух городов, а те несходства между городами в одной и той же области, — например, Псков и Новгород, Флоренция и Рим, — которые имели реальный характер, повторяются в различных частях Европы. Единство руководящей идеи и одинаковые причины зарождения сглаживают различия, являющиеся результатом климата, географического положения, богатства, языка и религии. Вот почему мы можем говорить о *средневековом городе вообще*, как о вполне определенной фазе цивилизации; и хотя в высшей степени желательны исследования, указывающие на местные и индивидуальные особенности городов, мы все же можем указать главные черты развития, которые были общи всем им^[241].

Нет никакого сомнения, что защита, которая обыкновенно и повсеместно оказывалась торжищу, еще со времен ранней варварской эпохи, играла важную, хотя и не исключительную, роль в деле освобождения средневековых городов. Варвары раннего периода не знали торговли внутри своих деревенских общин; они торговали лишь с чужестранцами, в известных определенных местах и в известные, заранее определенные, дни. И чтобы чужестранец мог являться на место обмена, не рискуя быть убитым в какой-нибудь расправе, ведущейся двумя родами из-за кровавой мести, торжище всегда ставилось под особое покровительство всех родов. Оно было так же неприкосновенно, как и место религиозного поклонения, под сенью которого оно обыкновенно устраивалось. У кабиллов рынок до сих пор *аппауа*, подобно тропинке, по которой женщины носят воду из колодцев; ни на рынок, ни на тропинку нельзя появляться вооруженным, даже во время междуплеменных войн. В средневековые времена, рынок обыкновенно пользовался точно такую же защитой^[242]. Родовая месть никогда не должна была преследоваться на площади, где собирался народ для торговых целей, а, равным образом, в известном радиусе вокруг этой площади; и если в разношерстной толпе продавцов и покупателей возникала какая-нибудь ссора, ее следовало предоставить на разбор тем, под покровительством которых находился рынок, т. е. суду общины, или же судье епископа, феодального владельца, или короля. Чужеземец, являвшийся с торговыми долями, был гостем, и даже носил это имя: на торжище он был неприкосновенным. Даже феодальный барон, который, не задумываясь, грабил купцов на большой дороге, относился с уважением к *Weichbild*, к вечевому знаку, т. е. к шести, который стоял на рыночной площади и на верхушке которого находился либо королевский герб, либо перчатка рыцаря, либо образ местного святого, или же просто к кресту, — смотря по тому, находился ли рынок под покровительством короля, веча или местной церкви^[243].

Легко понять, каким образом собственная судебная власть города могла развиваться из специальной судебной власти на рынке, когда эта власть была уступлена, добровольно или нет, самому городу. Понятно также, что такое происхождение городских вольностей, которое можно проследить во многих случаях, неизбежно наложило свой отпечаток на их дальнейшее развитие. Оно дало преобладание торговой части общины. Горожане, владевшие в данное время домом в городе и бывшие совладельцами городских земель, очень часто организовывали тогда торговую гильдию, которая и держала в своих руках торговлю города; и хотя

вначале каждый гражданин, бедный или богатый, мог вступить в торговую гильдию, и даже самая торговля велась в интересах всего города, его доверенными, тем не менее, торговая гильдия постепенно превратилась в своего рода привилегированную корпорацию. Она ревниво не допускала в свои ряды пришлое население, которое вскоре начало стекаться в свободные города, и все выгоды, получавшиеся от торговли, она удерживала в пользу немногих «семей» («les familles», «старожилы»), которые были гражданами во время провозглашения городом своей независимости. Таким образом очевидно грозила опасность возникновения торговой олигархии. Но уже в десятом веке, а еще более того в одиннадцатом и двенадцатом столетиях, главные ремесла также организовались в гильдии, которые и могли, в большинстве случаев, ограничить олигархические тенденции купцов^[244].

Ремесленная гильдия в те времена обыкновенно сама продавала произведенные ее членами товары и сообща покупала для них сырые материалы, причем ее членами одновременно состояли как купцы, так и ремесленники. Вследствие этого преобладание, полученное старыми ремесленными гильдиями, с самого начала вольной жизни городов, дало ремесленному труду то высокое положение, которое он занимал впоследствии в городе. Действительно, в средневековом городе ремесленный труд не являлся признаком низшего общественного положения; напротив того, он не только носил следы высокого уважения, с каким к нему относились раньше, в деревенской общине; но быстрое развитие художественности в произведениях всех ремесел: ювелирного, ткацкого, каменотесного, архитектурного и т. д. делало то, что к ремесленнику-художнику относились с глубоким личным уважением все, стоявшие у власти в свободных республиках того времени.

Вообще ручной труд рассматривался в средневековых «мистериях» (артелях, гильдиях), как благочестивый долг по отношению к согражданам, как общественная функция (Amt), столь же почетная, как и всякая другая. Идея «справедливости» по отношению к общине и «правды» по отношению к производителю и к потребителю, которая показалась бы такой странной в наше время, тогда проникала весь процесс производства и обмена. Работа кожевника, медника, сапожника должна быть «правдивая», добросовестная, писали тогда. Дерево, кожа, или нитки, употребляемые ремесленниками, должны быть «честными»; хлеб должен быть выпечен «по совести» и т. д. Перенесите этот язык в нашу современную жизнь, и он покажется неестественным, деланным; но он был совершенно естественным и лишенным всякой деланности в то время, так как средневековый ремесленник производил не на неизвестного ему покупателя, он не выбрасывал своих товаров на неведомый ему рынок; он прежде всего производил для своей собственной гильдии, которая вначале сама продавала, в своей палате суконщиков, слесарей и т. д., товар, выделанный гильдейскими братьями; для братства людей, в котором все знали друг друга, в котором были знакомы с техникой ремесла и, назначая цену продукту, каждый мог оценить искусство, вложенное в производство данного предмета и затраченный на него труд. Кроме того, не отдельный производитель предлагал общине товары для покупки, — их предлагала гильдия; община же, в свою очередь, предлагала братству объединенных общин те товары, которые вывозились ею и за качество которых она отвечала перед ними.

При такой организации, для каждого ремесла являлось делом самолюбия, не предлагать товаров низкого качества; технические же недостатки товара, или подделки, затрагивали всю общину, так как, по словам одного устава, «они разрушают общественное доверие»^[245]. Производство, таким образом, являлось *общественной обязанностью* и было поставлено под контроль всей *amitas*, — всего содружества, — вследствие чего ручной труд, покуда существовали вольные города, не мог опуститься до того низменного положения, до которого он часто доходит теперь.

Различие между мастером и учеником, или между мастером и подмастерьем (*compaune, Geselle*) существовало уже с самых времен основания средневековых вольных городов; но вначале это различие было лишь различие в возрасте и степени искусства, а не во власти и богатстве. Пробыв семь лет учеником и доказав свое знание и способности в данном ремесле специально выполненною работою, ученик сам становился мастером. И только гораздо позднее, в шестнадцатом веке, когда королевская власть уже разрушала городскую и ремесленную организацию, можно было стать мастером просто по наследству или в силу богатства. Но это была уже пора всеобщего упадка средневековой промышленности и искусства.

В ранний, цветущий период средневековых городов, в них не было много места для наемного труда и для индивидуальных наемщиков. Работа ткачей, оружейников, кузнецов, хлебопек и т. д. производилась для гильдии и для города; а когда в строительных ремеслах нанимались ремесленники со стороны, они работали, как временные корпорации (как это и в настоящее время наблюдается в русских артелях), труд которых оплачивался всей артели целиком. Работа на отдельного хозяина стала распространяться позднее; но и в этих случаях работник оплачивался лучше, чем он оплачивается теперь, даже в Англии, и гораздо лучше, чем он оплачивался обыкновенно во всей Европе в первой половине девятнадцатого столетия. Торольд Роджерс в достаточной степени ознакомил английских читателей с этим фактом^[246]; но то же самое следует сказать и о континентальной Европе, как это доказывается исследованиями Фальке а Шёнберга, а также многими случайными указаниями. Даже в пятнадцатом столетии каменщик, плотник или кузнец получал в Амьене поденную плату в размере четырех *sols*, соответствовавших 48 фунтам хлеба или 1/8 части маленького быка (*bouvard*). В Саксонии плата *Geselle* (подмастерья) в строительном ремесле была такова, что, выражаясь словами Фальке, рабочий мог купить на свой шестидневный заработок три овцы и пару сапог^[247]. Приношения рабочих (*Geselle*) в различных соборах также являются свидетельством их сравнительной зажиточности, не говоря уже о роскошных приношениях некоторых ремесленных гильдий и об их расходах на празднества и пышные процессии^[248]. Действительно, чем более мы изучаем средневековые города, тем более мы убеждаемся, что никогда труд не оплачивался так хорошо и не пользовался общим уважением, как в то время, когда жизнь вольных городов стояла на высшей точке развития.

Мало того. Не только многие стремления наших современных радикалов были уже осуществлены в средние века, но даже многое из того, что теперь считается утопическим, принималось тогда, как нечто вполне естественное. Над нами

смеются, когда мы говорим, что работа должна быть приятна; но по словам средневекового Куттенбергского устава, «каждый должен находить удовольствие в своей работе и никто не должен, проводя время в безделье (*minichts thun*), присваивать для себя то, что произведено прилежанием и работой других, ибо законы должны быть щитом для ограждения прилежания и труда»^[249]. И среди всех современных разговоров о восьмичасовом рабочем дне не мешало бы вспомнить об уставе Фердинанда I, относящемся к императорским каменноугольным копям; согласно этому уставу рабочий день рудокопа полагался в восемь часов, «как это ведется исстари» (*wie vor Altera herkommen*), а работа после полудня субботы была совершенно запрещена. Более продолжительный рабочий день был очень редок, говорит Янссен, тогда как более краткий случался довольно часто. По словам Роджерса, в Англии, в пятнадцатом веке, «рабочие работали лишь 48 часов в неделю»^[250]. Субботний полупраздник, который мы считаем современной победой, был в сущности древним средневековым учреждением; это был банный день для значительной части членов общины, а послеобеденное время по средам было банным временем для подмастерьев (*Geselle*)^[251]. И хотя в то время еще не существовало школьных завтраков — вероятно, потому, что детей не посылали в школу голодными, — выдача денег на баню детям, если этот расход был затруднителен для их родителей, введена была в разных городах.

Что касается до рабочих конгрессов, то они были обычным явлением в средние века. В некоторых частях Германии ремесленники одного и того же ремесла, но принадлежавшие к различным общинам, обыкновенно собирались ежегодно для обсуждения вопросов, относящихся к их ремеслу, для определения сроков ученичества, заработной платы, условий путешествия по своей стране, считавшегося тогда обязательным для всякого рабочего, заканчивавшего свое образование, и т. д. В 1572 году города, принадлежавшие к Ганзейскому союзу, формально признали за ремесленниками право собираться периодически на съезды и принимать всякого рода резолюции, поскольку последние не будут противоречить городским уставам, определявшим качество товаров. Известно, что такие рабочие конгрессы, отчасти международные (как и сама Ганза), были созваны хлебопеками, литейщиками, кожевниками, кузнецами, шпажниками и бочарами^[252].

Организация гильдий требовала, конечно, тщательного надзора над ремесленниками со стороны гильдии, и для этой цели всегда назначались специальные присяжные. Замечательно, однако, то обстоятельство, что пока города жили свободной жизнью, не слышно было жалоб на этот надзор; между тем, как, когда в дело вмешалось государство, и конфисковало собственность гильдий и разрушило их независимость в пользу собственной бюрократии, жалобы становятся просто бесчисленными^[253]. С другой стороны, огромный прогресс в области всех искусств, достигнутый при средневековой гильдейской системе, является наилучшим доказательством того, что система эта не была препятствием для развития личной инициативы^[254]. Дело в том, что средневековая гильдия, подобно средневековому приходу, «улице» или «концу», не была корпорацией граждан, поставленных под контроль государственных чиновников; она была союзом всех людей, объединенных данным производством, и в состав ее входили: присяжные

закупщики сырых продуктов, продавцы произведенных товаров и ремесленники — мастера, подмастерья («Сотраунес») и ученики. Для внутренней организации данного производства собрание этих лиц обладало верховными правами, пока оно не затрагивало других гильдий, в каком случае дело переносилось на рассмотрение гильдии гильдий, т. е. города. Помимо указанных сейчас функций, гильдия представляла еще и нечто другое. Она имела собственную юрисдикцию, т. е. собственное право суда в своих делах и собственную военную силу; имела свои общие собрания, или вече, собственные традиции борьбы, славы и независимости и собственные сношения с другими гильдиями того же ремесла, или занятия, в других городах. Одним словом, она жила полной органической жизнью, которая происходила от того, что она обхватывала полностью всю жизнь этого союза. Когда город призывался к оружию, гильдия выступала как отдельный отряд (Schaar), вооруженная принадлежавшим ей оружием (а в более позднюю эпоху — с собственными пушками, с любовью изукрашенными гильдией), под начальством ею же избранных начальников. Одним словом, гильдия была такая же независимая единица федерации, какой была республика Ури, или Женевы, пятьдесят лет тому назад в Швейцарской конфедерации. Ввиду этого, сравнивать гильдии с современными трэд-юнионами, или профессиональными союзами, лишенными всех атрибутов государственной верховной власти и сведенными к выполнению двух-трех второстепенных функций, — столь же неразумно, как сравнивать Флоренцию или Брюгге с какой-нибудь французской деревенской общиной, влачащей жалкое существование под гнетом префекта и наполеоновского кодекса, или же с русским городом, управляющимся по городскому уложению Екатерины II. Французская деревушка и русский город также имеют своего выборного голову, как имели Флоренция и Брюгге, а русский город имел даже и ремесленные цехи; но разница между ними — вся та разница, какая существует между Флоренцией, с одной стороны, и какой-нибудь деревушкой Гусиные Ключи во Франции или Царевококшайском, с другой; или же между Венецианским дожем и современным деревенским мэром, снимающим шапку пред писцом господина субпрефекта.

Средневековые гильдии были в состоянии отстаивать свою независимость; а когда, позднее, особенно в четырнадцатом веке, вследствие некоторых причин, на которые мы сейчас укажем, старая городская жизнь начала претерпевать глубокие изменения, тогда более молодые ремесла оказались достаточно сильными, чтобы завоевать себе, в свою очередь, должную долю в управлении городскими делами. Массы, организованные в «младшие» гильдии, восставали, чтобы вырвать власть из рук растущей олигархии, и в большинстве случаев они добивались успеха, — и тогда они открывали новую эру расцвета вольных городов. Правда, в некоторых городах восстание младших гильдий было потоплено в крови, и тогда рабочим беспощадно рубили головы, как это было в 1306 году в Париже и в 1371 году в Кёльне. В таких случаях городские вольности, после такого поражения, быстро приходили в упадок, и город подпадал под иго центральной власти. Но в большинстве городов было достаточно жизненных сил, чтобы выйти из борьбы обновленными и с запасом свежей энергии. Новый период юношеского обновления был тогда их наградой. В города вливалась волна новой жизни, которая и находила себе выражение в великолепных новых архитектурных памятниках, в новом периоде преуспевания, во внезапном прогрессе техники и изобретений и в новом

интеллектуальном движении, которое вскоре и повело к эпохе Возрождения и Реформации^[255].

Жизнь средневекового города была целым рядом тяжелых битв, которые пришлось вести горожанам, чтобы добыть себе свободу и удержать ее. Правда, во время этой суровой борьбы развилась крепкая и стойкая раса граждан; правда, что эта борьба воспитала любовь и обожание родного города, и что великие деяния, совершенные средневековыми общинами, вдохновлялись именно этою любовью. Но жертвы, которые пришлось понести общинам в борьбе за свободу, были, тем не менее, очень тяжелы, и выдержанная общинами борьба внесла глубокие источники раздоров в самую их внутреннюю жизнь. Очень немногие города успели, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, добиться свободы сразу, причем они, в большинстве случаев, так же легко и потеряли ее. Громадному же большинству городов пришлось бороться по пятидесяти и по сто лет, а иногда и более, чтобы добиться первого признания своих прав на свободную жизнь, и еще другую сотню лет, пока им удалось утвердить свою свободу на прочном основании: хартии двенадцатого века были только первыми ступенями к свободе^[256]. В действительности средневековой город оставался укрепленным оазисом среди страны, погруженной в феодальное подчинение, и ему приходилось силою оружия утвердить свое право на жизнь.

Вследствие причин, вкратце указанных в предыдущей главе, каждая деревенская община постепенно подпала под иго какого-нибудь светского или духовного властелина. Дом такого властелина мало-помалу обратился в замок, а его собратьями по оружию становились теперь наихудшего сорта наемные бродяги, всегда готовые грабить крестьян. Помимо барщины, т. е. трех дней в неделю, которые крестьяне должны были работать на господина, с них взыскивали теперь всякого рода поборы за все: за право сеять и жать, за право грустить или веселиться, за право жить, жениться и умирать. Но хуже всего было то, что их постоянно грабили вооруженные люди, принадлежавшие к дружинам соседних помещиков-феодалов, которые смотрели на крестьян, как на домочадцев их господина, а потому, если у них вспыхивала родовая война из-за кровавой мести с их владельцем — вымещали все на крестьянах, на их скоте и их посевах. А между тем все луга, все поля, все реки и дороги — все вокруг города, и каждый человек, сидевший на земле, были под властью какого-нибудь феодального владельца.

Ненависть горожан к феодальным помещикам нашла себе очень меткое выражение в некоторых хартиях, которые они заставили своих бывших владельцев подписать. Генрих V, например, должен был подписать в хартии, данной городу Шпейеру в 1111 году, что он освобождает бюргеров от «отвратительного и негодного закона о выморочном владении, которым город был доведен до глубочайшей нищеты» — *Von dem scheusslichen und nichtswürdigen Gesetze, welches gemein Budel genannt wird*^[257]... В *coutume*, т. е. уставе, города Байонны имеются такие строки: «народ древнее господ. Народ, численностью своей превосходящий другие сословия, желая мира, создал господ для обуздания и усмирения могущественных», и т. д.^[258] Хартия, предложенная для подписания королю Роберту, не менее характерна. Его заставили сказать в ней: «Я не буду грабить ни быков, ни других

животных. Я не буду захватывать купцов, отнимать у них деньги или налагать на них выкуп. От Благовещения до дня Всех Святых я не буду захватывать на лугах ни лошадей, ни кобыл, ни жеребят. Я не буду сжигать мельниц и не буду грабить муку... Я не буду оказывать покровительства вора», и т. д. (Pfister напечатал этот документ, воспроизведенный также у Luchaire). Хартия, «дарованная» восставшему против него городу Безансонским архиепископом Hugues, в которой он должен был перечислить все бедствия, причиненные его правами на крепостное владение, не менее характерна^[259]. Много можно было бы привести таких примеров.

Удержать свою свободу среди такого, окружавшего их, своеволия феодальных баронов, было бы невозможно, а потому вольные города были вынуждены начать войну вне своих стен. Горожане стали посылать своих людей, чтобы поднимать деревни против помещиков и руководить восстанием; они принимали деревни в состав своих корпораций; и, наконец, они начали прямую войну против дворянства. В Италии, где земля была густо усеяна феодальными замками, война приняла героические размеры и велась обеими сторонами с суровым ожесточением. Флоренции пришлось целые семьдесят семь лет вести кровавые войны, чтобы освободить свой contado (т. е. свою провинцию) от дворян; но когда борьба была победоносно закончена (в 1181 году), все пришлось начинать сызнова. Дворянство собралось с силами и образовало свои собственные лиги, в противовес лигам городов, и, получая свежую поддержку то от императора, то от папы, затянуло войну еще на 130 лет. То же самое произошло в Римской области, в Ломбардии, в Генуэзской области — по всей Италии.

Чудеса храбрости, смелости и настойчивости были совершены горожанами во время этих войн. Но лук и боевые топоры городских ремесленников не всегда брали верх над одетыми в латы рыцарями, и многие замки успешно выдержали осаду, несмотря на замысловатые осадные машины и настойчивость осаждавших горожан. Некоторые города, — как, напр., Флоренция, Болонья и многие другие во Франции, Германии и Богемии, — успели освободить окружающие их деревни, и замечательное благосостояние и спокойствие были им наградою за их усилия. Но даже в этих городах, а тем более в городах менее могучих, или менее предприимчивых, купцы и ремесленники, истощенные войной и ложно понимая свои собственные выгоды, заключили с баронами мир, — так сказать, продавши им крестьян. Они заставляли барона принять присягу на верность городу; его замок сносился до основания, и он давал согласие выстроить дом и жить в городе, где он становился теперь согражданином (com-bourgeois, con-cittadino); но взамен он сохранял большинство своих прав над крестьянами, которые таким образом получали лишь частичное облегчение от лежавшего на них крепостного бремени. Горожане не поняли, что им следовало дать равные права гражданства крестьянину, на которого им приходилось полагаться в деле снабжения города пищевыми продуктами; и вследствие этого непонимания, между городом и деревней образовалась с тех пор глубокая пропасть. В некоторых случаях крестьяне только переменили владельцев, так как город выкупал права барона и продавал их по частям своим собственным гражданам^[260]. Крепостная зависимость оставалась, таким образом; и только гораздо позднее, к концу тринадцатого века, революция младших ремесел положила ей конец; но уничтоживши личную крепостную

зависимость, эта революция в то же время нередко отнимала у крестьян землю^[261]. Едва ли нужно прибавлять, что города вскоре почувствовали на себе роковые последствия такой близорукой политики; деревня стала врагом города.

Война против замков имела еще одно вредное последствие. Она втянула города в продолжительные войны между собою, что и дало возможность сложиться у историков теории, бывшей в ходу до недавнего времени, согласно которой города потеряли свою независимость вследствие взаимной зависти и борьбы друг с другом. Особенно поддерживали эту теорию историки-империалисты, но она сильно поколеблена новейшими исследованиями. Несомненно, что в Италии города воевали друг с другом с упорным ожесточением; но нигде, кроме Италии, междоусобия городов не принимали таких размеров; да и в самой Италии городские войны, в особенности в раннем периоде, имели свои специальные причины. Они были (как это уже показали Сисмонди и Феррари) продолжением войны против замков — неизбежным продолжением борьбы свободного муниципального и федеративного начала против феодализма, империализма и папства, т. е. против крепостников, поддерживаемых — одни германским императором, а другие — папою. Многие города, освободившиеся только отчасти из-под власти епископа, феодального владельца, или императора, были силою втянуты в борьбу против свободных городов дворянами, императором и церковью, политика которых сводилась к тому, чтобы не давать городам объединиться, и вооружать их друг против друга. Эти особливые условия (отчасти отразившиеся и на Германии) объясняют, почему итальянские города, из которых одни искали поддержки у императора для борьбы с папой, а другие — у церкви для борьбы с императором, вскоре разделились на два лагеря, Гибеллинов и Гвельфов, и почему то же разделение проявилось и внутри каждого города^[262].

Огромный экономический прогресс, достигнутый большинством итальянских городов, как раз в то время, когда эти войны были в самом разгаре^[263], и легкость, с которою заключались союзы между городами, дают еще более верное понятие о борьбе городов и еще более подрывают вышеупомянутую теорию. Уже в 1130–1150 годах начали слагаться могущественные **союзы** или **лиги городов**; и немного лет спустя, когда Фридрих Барбаросса напал на Италию и, поддерживаемый дворянством и несколькими отсталыми городами, пошел на Милан, народный энтузиазм с силою пробудился во многих городах, под влиянием народных проповедников. Кремона, Пиаченца, Брешиа, Тортонна и др. пришли на выручку; знамена гильдий Вероны, Падуи, Виченцы и Тревизы развевались вместе в лагере городов, против знамен императора и дворянства. В следующем году образовался **Ломбардский союз**, а лет через шестьдесят мы уже видим, что эта лига усилилась союзами со многими другими городами и представляла прочную организацию, хранившую половину своей военной казны в Генуе, а другую половину — в Венеции^[264]. В Тоскане, Флоренция стояла во главе другой могущественной лиги, **Тосканской**, к которой принадлежали Лукка, Болонья, Пистойя и др. города, и которая играла важную роль в поражении дворянства в средней Италии. Более мелкие лиги были в то же время самым обычным явлением. Таким образом, несомненно, что хотя и существовало соперничество между городами, и не трудно было посеять раздоры между ними, но это соперничество не мешало городам

объединяться для общей защиты своей свободы. Только позднее, когда города стали каждый маленьким государством, между ними начались войны, как это всегда бывает, когда государства начинают бороться между собою за преобладание или из-за колоний.

Подобные же лиги сформировались с тою же целью в Германии. Когда, при наследниках Конрада, страна стала поприщем нескончаемых родовых войн из-за кровавой мести между баронами, города **Вестфалии** образовали союз против рыцарей, причем одним из пунктов договора было обязательство никогда не давать займы денег рыцарю, который продолжал бы укрывать краденые товары^[265]. В то время, как «рыцари и дворянство жили грабежом и убивали, кого хотели», как говорится в Вормской Жалобе (Wormser Zorn), рейнские города (Майнц, Кёльн, Шпейер, Страсбург и Базель) взяли на себя инициативу образования лиги для преследования грабителей и поддержания мира, которая вскоре насчитывала шестьдесят вошедших в союз городов. Позднее, **союз Швабских городов**, разделенных на три «мирных округа» (Аугсбург, Констанц и Ульм) стал преследовать ту же цель. И хотя эти союзы были сломлены^[266], они продержались довольно долго, чтобы показать, что в то время, как предполагаемые миротворцы — короли, императоры и церковь — возбуждали раздоры и сами были беспомощны против разбойничавших рыцарей, толчок к восстановлению мира и к объединению исходил из городов. Города, — а не императоры, — были действительными созидателями национального единства^[267].

Подобные же союзы — вернее, федерации, с однородными целями, организовывались и между деревнями; и теперь, когда Luchaire обратил внимание на это явление, можно надеяться, что мы вскоре узнаем больше подробностей об этих федерациях. Нам известно, что деревни объединились в небольшие союзы, в области (contado) Флоренции; также в подчиненных Новгороду и Пскову областях. Что же касается Франции, то имеется положительное свидетельство о федерации семнадцати крестьянских деревень, просуществовавшей в Ланнэ (Laonnais) в течение почти ста лет (до 1256 г.) и упорно боровшейся за свою независимость. Кроме того, в окрестностях города Лаон существовали три крестьянские республики, имевшие присяжные хартии, по образцу хартий Лана и Суассона, — причем, так как их земли были смежными, они поддерживали друг друга в своих освободительных войнах. Вообще Люшэр полагает, что многие подобные союзы возникли во Франции в двенадцатом и тринадцатом веке, но в большинстве случаев документальные известия о них утеряны. Конечно, не защищенные, как города, стенами, деревенские союзы легко разрушались королями и баронами; но при некоторых благоприятных обстоятельствах, когда они находили поддержку в союзах городов, или защиту в своих горах, подобные крестьянские республики становились независимыми, как это произошло в Швейцарской Конфедерации^[268].

Что же касается до союзов, заключавшихся городами ради разных специальных целей, то они были самым обычным явлением. Сношения, установившиеся в период освобождения, когда города списывали друг у друга хартии, не прерывались впоследствии. Иногда, когда судьи какого-нибудь германского города должны были вынести приговор в новом для них и сложном деле и объявляли, что не могут найти

решения (des Urtheiles nicht weise zu sein), они посылали делегатов в другой город с целью подыскать подходящее решение. То же самое случилось и во Франции^[269]. Мы знаем также, что Форли и Равенна взаимно натурализовали своих граждан и дали им полные права в обоих городах.

Отдавать спор, возникший между двумя городами, или внутри города, на решение другой общине, которую приглашали действовать в качестве посредника, было также в духе времени^[270]. Что же касается до торговых договоров между городами, то они были самым обычным делом^[271]. Союзы для упорядочения производства и определения объема бочек, употреблявшихся в торговле вином, «селедочные союзы» и т. д. были предшественниками большой торговой федерации Фламандской Ганзы, а позднее — великой Северо-Германской Ганзы, в которую входили Великий Новгород и несколько польских городов. История этих двух обширных союзов в высшей степени интересна и поучительна, но она потребовала бы многих страниц, чтобы рассказать их сложную и многообразную жизнь. Замечу только, что, благодаря Ганзейским союзам и лигам Итальянских городов, средневековые города сделали больше для развития международных сношений, мореплавания и морских открытий, чем все государства первых семнадцати веков нашей эры.

Подводя итоги сказанному, союзы и объединения между маленькими земскими единицами, а равно и между людьми, соединявшимися ввиду общих целей в соответственные гильдии, а также федерации между городами и группами городов составляли самую сущность жизни и мысли в течение всего этого периода. Первые пять веков второго тысячелетия нашего летосчисления (XI по XVI) могут быть рассматриваемы, таким образом, как колоссальная попытка обеспечить взаимную помощь и взаимную поддержку в крупных размерах, на началах объединения и сотрудничества, проводимых чрез все проявления человеческой жизни в во всевозможных степенях. Эта попытка в значительной мере увенчалась успехом. Она объединила людей, раньше того разъединенных, она обеспечила им значительную свободу, она удесятерила их силы. В ту пору, когда множество всяких влияний воспитывали в людях стремление уйти от других в свою ячейку, и было такое обилие причин для раздоров, отрадно видеть и отметить, что у городов, рассеянных по всей Европе, оказалось так много общего, и что они с такою готовностью объединялись для преследования столь многих общих целей. Правда, что, в конце концов, они не устояли пред мощными врагами. Они широко практиковали начала взаимной помощи; но все-таки, отделяясь от крестьян-земледельцев, они недостаточно широко прилагали в жизни эти начала и, лишившись поддержки крестьян, города не могли устоять против насилия зарождавшихся королевств и царств. Но погибли они не от вражды друг к другу, и их ошибки не были следствием недостаточного развития среди них федеративного духа.

Новое направление, принятое человеческою жизнью в средневековом городе, дало громадные результаты для развития всей цивилизации. В начале одиннадцатого века города Европы представляли только маленькие кучи жалких хижин, ютившихся вокруг низеньких, неуклюжих церквей, строители которых едва умели вывести арку. Ремесла, сводившиеся, главным образом, к ткачеству и ковке, были в зачаточном

состоянии; наука находила себе убежище лишь в немногих монастырях. Но через триста пятьдесят лет самый вид Европы совершенно изменился. Страна была уже усеяна богатыми городами, и эти города были окружены широко раскинувшимися, толстыми стенами, которые были украшены вычурными башнями и воротами, представлявшими, каждая из них, произведения искусства. Соборы, задуманные в грандиозном стиле и покрытые бесчисленными декоративными украшениями, поднимали к облакам свои высокие колокольни, причем в их архитектуре проявлялась такая смелость воображения и такая чистота формы, каких мы тщетно стремимся достигнуть в настоящее время. Ремесла и искусства поднялись до такого совершенства, что даже теперь мы едва ли можем сказать, чтобы мы во многом превзошли их, если только не ставить быстроты фабрикации выше изобретательного таланта работника и законченности его работы. Суда свободных городов бороздили во всех направлениях северное и южное Средиземное море; еще одно усилие — и они пересекли океан. На обширных пространствах благосостояние заступило место прежней нищеты; выросло и распространилось образование.

Рядом с этим выработался научный метод исследования, — положительный, естественнонаучный, вместо прежней схоластики — и положены были основания механике и физическим наукам. Мало того, — подготовлены были все те механические изобретения, которыми так гордится девятнадцатый век! Таковы были волшебные перемены, совершившиеся в Европе менее чем в четыреста лет. И потери, понесенные Европою, когда пали ее свободные города, можно оценить вполне, если сравнивать семнадцатый век с четырнадцатым, или даже тринадцатым. В семнадцатом веке благосостояние, которым отличались Шотландия, Германия, равнины Италии, исчезло. Дороги пришли в упадок, города опустели, свободный труд превратился в рабство, искусства заглохли, даже торговля пришла в упадок ^[272].

Если бы после средневековых городов не осталось никаких письменных памятников, по которым можно было бы судить о блеске их жизни, если бы после них остались одни только памятники их архитектурного искусства, которые мы находим рассеянными по всей Европе, от Шотландии до Италии и от Героны в Испании до Бреславля на славянской территории, то и тогда мы могли бы сказать, что эпоха независимых городов была временем величайшего расцвета человеческого ума в течение всех веков христианства, вплоть до конца восемнадцатого века. Глядя, например, на средневековую картину, изображающую Нюрнберг, с его десятками башен и высоких колоколен, носящих на себе, каждая из них, печать свободного творческого художества, мы едва можем себе представить, чтобы всего за триста лет до этого Нюрнберг был только кучею жалких хижин. То же самое — относительно всех без исключения вольных средневековых городов. И наше удивление растет, по мере того, как мы вглядываемся в детали архитектуры и украшений каждой из бесчисленных церквей, колоколен, городских ворот и ратушей, рассеянных по всей Европе, начиная с Англии, Голландии, Бельгии, Франции и Италии и доходя на востоке до Богемии и до мертвых теперь городов Польской Галиции. Не только Италия, — эта мать искусства, — но вся Европа переполнена подобными памятниками. Чрезвычайно знаменателен, впрочем, уже тот факт, что из всех искусств архитектура — искусство по преимуществу общественное — достигла в эту эпоху наивысшего развития. И действительно, такое развитие архитектуры было

возможно только как результат высоко-развитой общественности в тогдашней жизни.

Средневековая архитектура достигла такого величия не только потому, что она являлась естественным развитием художественного ремесла, как на этом справедливо настаивал Рёскин; не только потому, что каждое здание и каждое архитектурное украшение были задуманы людьми, знавшими по опыту своих собственных рук, какие артистические эффекты могут дать камень, железо, бронза, или даже просто бревна и цемент, смешанный с галькою; не только потому, что каждый памятник был результатом сборного коллективного опыта, накопленного в каждом художестве или ремесле, — средневековая архитектура была велика потому, что она являлась выражением великой идеи^[273]. Подобно греческому искусству, она возникла из представления о братстве и единстве, воспитываемых городом. Она обладала смелостью, которая могла быть приобретена лишь смелой борьбой городов с их притеснителями и победами; она дышала энергиею, потому что энергией была проникнута вся жизнь города. Собор или городская ратуша воплощали, символизировали организм, в котором каждый каменщик и каменотес являлись строителями. Средневековое здание никогда не представляло собою замысел отдельной личности, над выполнением которого трудились тысячи рабов, исполняя урочную работу по чужой идее: весь город принимал участие в его постройке. Высокая колокольня была частью величавого здания, в котором билась жизнь города; она не была посажена на не имеющую смысла платформу, как парижское сооружение Эйфеля; она не была фальшивою каменною постройкою, возведенною с целью скрыть безобразие основной железной структуры, как это сделано недавно на Тауэрском мосту, в Лондоне. Подобно афинскому Акрополю, собор средневекового города имел целью прославление величия победоносного города; он воплощал и одухотворял союз ремесел; он был выражением чувства каждого гражданина, который гордился своим городом, так как он был его собственное создание. Нередко случалось также, что, совершив успешно свою вторую революцию младших ремесел, город начинал строить новый собор, с целью выразить новое, глубже идущее и более широкое единение, проявившееся в его жизни.

В средневековых соборах и ратушах есть еще одна поразительная черта. Наличные средства, с которыми города начинали свои великие постройки, бывали большею частью несоразмерно малы. Кёльнский собор, например, был начат при ежегодной издержке всего в 500 марок: дар в 100 марок был записан как крупное приношение^[274]. Даже когда работа подходила к концу, ежегодный расход едва доходил до 5000 марок и никогда не превышал 14 000. Собор в Базеле был построен на такие же незначительные средства. Но зато каждая корпорация жертвовала для их *общего памятника* свою долю камня, работы и декоративного гения. Каждая гильдия выражала в этом памятнике свои политические взгляды, рассказывая в камне или бронзе историю города, прославляя принципы «Свободы, Равенства и Братства»^[275], восхваляя союзников города и посылая в вечный огонь его врагов. И каждая гильдия выказывала свою любовь к общему памятнику, богато украшая его цветными окнами, живописью, «церковными вратами, достойными быть вратами рая», — по выражению Микель Анджело, — или же каменными украшениями на

каждом малейшем уголке постройки^[276]. Маленькие города и даже самые маленькие приходы^[277] соперничали в этого рода работах с большими городами, и соборы в Лаон или в Saint Ouen едва ли уступают Реймскому собору, Бременской ратуше или Бреславльской вечевой колокольне. «Ни одна работа не должна быть начата коммуной, если она не была задумана в соответствии с великим сердцем коммуны, слагающимся из сердец всех ее граждан, объединенных одной общей волей», — таковы были слова городского Совета во Флоренции; и этот дух проявляется во всех общинных работах, имеющих общепольное назначение, как, например, в каналах, террасах, виноградниках и фруктовых садах вокруг Флоренции, или в оросительных каналах, пробежавших по равнинам Ломбардии, в порте и водопроводе Генуи и, в сущности, во всех общественных постройках, предпринимавшихся почти в каждом городе^[278].

Все искусства сделали подобные же успехи в средневековых городах, и наши теперешние приобретения в этой области в большинстве случаев являются лишь продолжением того, что выросло в то время. Благосостояние фламандских городов основывалось на выделке тонких шерстяных тканей. Флоренция, в начале четырнадцатого века, до эпидемии «черной смерти» (чумы), выдывала от 70 000 до 100 000 кусков шерстяных изделий, оценивавшихся в 1 200 000 золотых флоринов^[279]. Чеканка драгоценных металлов, искусство отливки, художественнаяковка железа — были созданием средневековых гильдий (мистерий), которые достигли в соответствующих областях всего, чего можно было достигнуть путем ручного труда, не прибегая к помощи могучего механического двигателя. Ручного труда — и изобретательности, так как, говоря словами Ювелля, «Пергамент и бумага, печатание и гравировка, усовершенствованное стекло и сталь, порох, часы, телескоп, морской компас, реформированный календарь, десятичная система, алгебра, тригонометрия, химия, контрапункт (открытие, равнявшееся новому созданию в музыке), — все это мы унаследовали от той эпохи, которую так презрительно именуют периодом застоя»^[280].

Правда, как заметил Ювелль, ни одно из этих открытий не вносило какого-нибудь нового принципа; но средневековая наука сделала нечто большее, чем действительное открытие новых принципов. Она подготовила открытие всех тех новых принципов, которые известны нам в настоящее время в области механических наук: она приучила исследователя наблюдать факты и делать из них выводы. Тогда создавалась индуктивная наука, и хотя она еще не вполне уяснила себе значение и силу индукции, она положила основание как механике, так и физике. Франсис Бэкон, Галилей и Коперник были прямыми потомками Роджера Бэкона и Майкеля Скота, как паровая машина была прямым продуктом исследований об атмосферном давлении, произведенных в итальянских университетах, и того математического и технического образования, которым отличался Нюрнберг.

Но нужно ли в самом деле еще распространяться и доказывать прогресс наук и искусств в средневековом городе? Не достаточно ли просто указать на соборы в области искусства, и на итальянский язык и поэму Данте в области мысли, чтобы сразу дать меру того, что *создал* средневековый город в течение четырех веков своего существования?

Нет никакого сомнения — средневековые города оказали громадную услугу европейской цивилизации. Они помешали Европе дойти до теократических и деспотических государств, которые создались в древности в Азии; они дали ей разнообразие жизненных проявлений, уверенность в себе, силу инициативы и ту огромную интеллектуальную и моральную энергию, которой она ныне обладает и которая является лучшей порукой в том, что европейская цивилизация сможет отразить всякое новое нашествие Востока.

Но почему же эти центры цивилизации, пытавшиеся найти ответы на самые глубокие потребности человеческой природы и отличавшиеся такой полнотой жизни, не могли продолжать своего существования? Почему же в шестнадцатом веке их охватила старческая дряблость, и почему, после того, как они отразили столько внешних нападений и сумели черпать новую энергию даже из своих внутренних раздоров, эти города, в конце концов, пали жертвой внешних нападений и внутренних усобиц?

Различные причины вызвали это падение, причем некоторые из них имели свой корень в отдаленном прошлом, тогда как другие были результатом ошибок, совершенных самими городами. Толчок в этом направлении был дан сперва тремя нашествиями на Европу: монгольским на Россию, в тринадцатом веке, турецким на Балканский полуостров и западных славян, в пятнадцатом веке, и нашествием мавров на Испанию и южную Францию уже с IX по XII век. Остановить эти нашествия оказалось очень трудно; отогнать же монголов, турок и мавров, утвердившихся в различных частях Европы, удалось только тогда, когда в Испании и Франции, Австрии и Польше, в Украине и в России мелкие и слабые князья, графы, герцоги и т. д., покоряемые более сильными из них, начали складываться в государства, способные двинуть против восточных завоевателей многочисленные полчища.

Таким образом, в конце пятнадцатого века в Европе начал возникать ряд небольших государств, складывавшихся по древнеримскому образцу. В каждой стране и в каждой области который-нибудь из феодальных владельцев, более хитрый чем другие, более склонный к скопидомству, а часто и менее совестливый, чем его соседи, успевал приобрести в личное владение более богатые вотчины, с большим количеством крестьян в них, а также собрать вокруг себя большее количество рыцарей и дружинников и скопить больше денег в своих сундуках. Такой барон, король или князь обыкновенно выбирал для своего местожительства не города, управлявшиеся вечем, а группы деревень, с выгодным географическим положением, еще не освоившиеся с порядками свободной городской жизни — Париж, Мадрид, Москва, ставшие центрами больших государств, были именно в таких условиях; и при помощи крепостного труда он создавал здесь королевский укрепленный город, в который он привлекал, щедрою раздачею деревень «в кормление», военных сподвижников, а также и купцов, пользовавшихся покровительством, которое он оказывал торговле.

Так создавались, пока еще в зачаточном состоянии, будущие государства, которые и начинали понемногу поглощать другие такие же центры. Законники, воспитанные на изучении римского права, охотно стекались в такие города: упрямая

и честолюбивая раса людей, выделившихся из горожан и одинаково ненавидевших как высокомерие феодалов, так и проявление того, что они называли беззаконием крестьянства. Уже самые формы деревенской общины, неизвестные их кодексам, самые принципы федерализма были ненавистны им, как наследие «варварства». Их идеал был цезаризм, поддерживаемый фикцией народного одобрения и — особенно — силою оружия; и они усердно работали для тех, на кого они полагались, для осуществления этого идеала^[281].

Христианская церковь, раньше восстававшая против римского права, а теперь обратившаяся в его союзницу, работала в том же направлении. Так как попытка образовать теократическую империю в Европе, под главенством папы, не увенчалась успехом, то более интеллигентные и честолюбивые епископы начали оказывать теперь поддержку тем, кого они считали способными восстановить могущество царей Израиля и константинопольских императоров. Церковь облекла возвышавшихся правителей своей святостью; она короновала их, как представителей Бога на земле; она отдала им на службу ученость и государственные таланты своих слугителей; она принесла им свои благословения и свои проклятия, свои богатства и те симпатии, которые она сохранила среди бедняков. Крестьяне, которых города не смогли или не захотели освободить, видя, что горожане не в силах положить конец бесконечным войнам между рыцарями — за которые крестьянам приходилось так дорого расплачиваться, — теперь возлагали свои надежды на короля, на императора, на великого князя; и помогая им сокрушить могущество феодальных владетелей, они, вместе с тем, помогали им в установлении централизованного государства. Наконец, войны, которые пришлось вести в продолжение двух веков против монголов и турок, и священная война против мавров в Испании, а равным образом и те страшные войны, которые вскоре начались среди каждого народа между вырвавшимися центрами верховной власти: Иль-де-Франсом и Бургундией, Шотландией и Англией, Англией и Францией, Литвой и Польшей, Москвой и Тверью, и т. д., вели, в конце концов, к тому же. Возникли могущественные государства, и городам пришлось теперь вступать в борьбу не только со слабо связанными между собою федерациями феодальных баронов или князей, но и с могуче-организованными центрами, имевшими в своем распоряжении целые армии крепостных.

Хуже всего было, однако, то, что вырвавшиеся центры единодержавия находили себе поддержку в усобицах, которые возникали внутри самых городов. В основу средневекового города несомненно была положена великая идея; но она была понята недостаточно широко. Взаимная помощь и поддержка не могут быть ограничены пределами небольшой ассоциации; они должны распространяться на все окружающее, иначе окружающее поглотит ассоциацию; и в этом отношении средневековый гражданин с самого начала совершил громадную ошибку. Вместо того, чтобы смотреть на крестьян и ремесленников, собиравшихся под защиту его стен, как на помощников, которые смогут внести свою долю в дело созидания города, — что они и сделали в действительности, — «фамилии» старых горожан поспешили резко отделить себя от новых пришельцев. Первым, т. е. основателям города, предоставлялись все благодеяния общегородской торговли и пользования городскими землями, а вторым не оставляли ничего, кроме права свободно

проявлять искусство своих рук. Город, таким образом, разделился на «граждан», или «общинников», и на «обывателей», или «жителей»^[282]. Торговля, носившая ранее общинный характер, стала теперь привилегией купеческих и ремесленных фамилий: «Купецкой гильдии» и нескольких гильдий так называвшихся «старых ремесел»; и следующая ступень — переход к личной торговле, или к привилегиям капиталистических, угнетательских компаний — трестов — стала неизбежной.

То же самое разделение возникло и между городом, в собственном смысле этого слова, и окружающими его деревнями. Средневековые коммуны пытались, было, освободить крестьян; но их войны против феодалов мало-помалу превратились, как уже сказано выше, скорее в войны за освобождение самого города от власти феодалов, чем в войны за освобождение крестьян. Тогда города оставили за феодалами их права над крестьянами, при условии, чтобы они более не причиняли вреда городу и стали «согражданами». Но дворянство, «воспринятое» городом и перенесшее свою резиденцию вовнутрь городской ограды, внесло старые свои фамильные войны в пределы города. Оно не мирилось с мыслью, что дворяне должны подчиняться суду простых ремесленников и купцов, и оно продолжало вести на городских улицах свои старые родовые войны из-за кровавой мести. В каждом городе теперь были свои Колонны и Орсини, свои Монтекки и Капулетти, свои Оверштольцы и Визы. Извлекая большие доходы из имений, которые они успели удержать за собой, феодальные владельцы окружили себя многочисленными клиентами и внесли феодальные нравы и обычаи в жизнь самого города. Когда же в городах начало возникать недовольство среди ремесленных классов против старых гильдий и фамилий, феодалы стали предлагать обеим партиям свои мечи и своих многочисленных прислужников, чтобы решать возникавшие столкновения путем войн, вместо того, чтобы дать недовольству мирный исход, теми путями, которые до тех пор оно всегда находило, не прибегая к оружию.

Величайшею и самую роковою ошибкою большинства городов было также обоснование их богатства на торговле и промышленности рядом с пренебрежительным отношением к земледелию. Таким образом, они повторили ошибку, уже однажды совершенную городами древней Греции, и вследствие этого впали в те же преступления^[283]. Но отчуждение городов от земли по необходимости вовлекло их в политику, враждебную земледельческим классам, которая стала особенно очевидной в Англии, во времена Эдуарда III^[284], во Франции во времена жакерии (больших крестьянских восстаний), в Богемии — в гуситских войнах, и в Германии во время крестьянской войны XVI века.

С другой стороны, торговая политика вовлекла также городские народоправства в отдаленные предприятия и развила страсть к обогащению колониями. Возникли колонии, основанные итальянскими республиками на юго-востоке, в Малой Азии и по берегам Черного моря, немецкими — на востоке в славянских землях, и славянскими, т. е. Новгородом и Псковом, на дальнем северо-востоке. Тогда понадобилось держать армии наемников для колониальных войн, а затем этих наемников употребили и для угнетения самих же горожан. Ради той же цели города стали заключать займы в таких размерах, что они скоро оказали глубоко деморализующее влияние на граждан: города становились данниками и нередко

послушными орудиями в руках нескольких своих капиталистов. Попасть во власть становилось очень выгодно, и внутренние усобицы разрастались все в больших размерах при каждом выборах, во время которых главную роль играла колониальная политика в интересах немногих фамилий. Разделение между богатыми и бедными, между «лучшими» и «худшими» людьми, все расширялось, и в шестнадцатом веке королевская власть нашла в каждом городе готовых союзников и помощников — иногда среди «фамилий», борющихся за власть, а очень часто и среди бедняков, которым она обещала смирить богатых.

Была, однако, еще одна причина упадка коммунальных учреждений, глубже лежавшая, чем все остальные. История средневековых городов представляет один из наиболее поразительных примеров могущественного влияния *идей и основных начал, признаваемых людьми*, на судьбы человечества. Равным образом она учит нас также тому, что при коренном изменении в руководящих идеях общества получают совершенно новые результаты, изменяющие жизнь в новом направлении. Вера в свои силы и федерализм; признание свободы и самоуправления за каждую отдельную группу и вообще построение политического тела от простого к сложному — таковы были руководящие мысли одиннадцатого века. Но с того времени понятия подверглись полному изменению. Ученые законники (легисты), изучавшие римское право, и правители церкви, тесно сплотившиеся со времени Иннокентия III, успели парализовать идею, — античную греческую идею свободы и федерации, — которая преобладала в эпоху освобождения городов и легла сперва в основание этих республик.

В течение двух или трех столетий, законники и духовенство стали учить с амвона, с университетской кафедры и в судах, что спасение людей лежит в сильно централизованном государстве, подчиненном полубожеской власти одного, или немногих ^[285]; что *один человек может и должен быть* спасителем общества, и во имя общественного спасения он может совершать любое насилие: жечь людей на кострах, убивать их медленной смертью в неопишуемых пытках, повергать целые области в самую отчаянную нищету. При этом они не скупались на наглядные уроки в крупных размерах, и с неслыханной жестокостью давали эти уроки везде, куда лишь могли проникнуть меч короля или костер церкви. Вследствие этих учений и соответственных примеров, постоянно повторяемых и насильственно внедряемых в общественное сознание под сенью веры, власти и того, что считалось наукой, самые умы людей начали принимать новый склад. Граждане начали находить, что никакая власть не может быть чрезмерной, никакое постепенное убийство — чересчур жестоким, если дело идет об «общественной безопасности». И при этом новом направлении умов, при этой новой вере в силу единого правителя, древнее федеральное начало теряло свою силу, а вместе с ним вымер и созидательный гений масс. Римская идея победила, и при таких обстоятельствах централизованные военные государства нашли себе в городах готовую добычу.

Флоренция пятнадцатого века представляет типичный образец подобной перемены. Раньше, народная революция бывала началом нового, дальнейшего прогресса. Теперь же, когда доведенный до отчаяния народ восстал, он уже более не обладал созидательным творчеством, и народное движение не дало никакой свежей идеи. Вместо прежних четырехсот представителей в общинном совете, введена была

тысяча представителей; вместо прежних восьмидесяти членов синьории (signoria), в нее вошло сто членов. Но эта революция в числах не привела ни к чему. Народное недовольство все возрастало, и последовал ряд новых возмущений. Тогда обратились за спасением к «тирану», он прибег к избиению восставших, но распадение общинного организма продолжалось. И когда, после нового возмущения, флорентийский народ обратился за советом к своему любимцу — Иерониму Савонароле, то монах ответил: «О, народ мой, ты знаешь, что я не могу входить в государственные дела... Очисти свою душу, и если при таком расположении ума ты реформируешь город, тогда, народ Флоренции, ты должен начать реформу по всей Италии!» Маски, надевавшиеся во время гуляний на масленице, и соблазнительные книги были сожжены; был проведен закон о поддержании бедных и другой, направленный против ростовщиков, — но демократия Флоренции оставалась тем же, чем была. Старый творческий дух исчез. Вследствие излишнего доверия к правительству, флорентинцы перестали доверять самим себе: они оказались неспособными обновить свою жизнь. Государству оставалось лишь войти и раздавить их последние вольности. Оно так и сделало.

И все же поток взаимной помощи и поддержки не заглох в массах и продолжал струиться даже после этого поражения вольных городов. Вскоре он поднялся снова с могучей силой, в ответ на коммунистические призывы первых пропагандистов Реформации, и он продолжал существовать даже после того, как массы, опять потерпевши неудачу в своей попытке устроить новую жизнь, вдохновленную реформированною религиею, подпали под власть единодержавия. Он струится даже теперь и ищет путей для нового выражения, которое уже не будет ни государством, ни средневековым городом, ни деревенской общиной варваров, ни родовым строем дикарей, но, отпавляясь от всех этих форм, будет совершеннее всех их по глубине и по широте своих человеческих начал.

Глава VII

Взаимная помощь в современном обществе

Народные возмущения в начале государственного периода
Учреждения взаимной помощи в настоящее время • Деревенская община:
ее борьба против государства, стремящегося ее уничтожить • Обычаи,
сохранившиеся со времени периода деревенской общины и
сохранившиеся в деревнях по настоящее время • Швейцария, Франция,
Германия, Россия

Склонность людей ко взаимной помощи имеет такое отдаленное происхождение, и она так глубоко переплетена со всем прошлым развитием человечества, что люди сохранили ее вплоть до настоящего времени, несмотря на все превратности истории. Эта склонность развилась, главным образом, в периоды мира и благосостояния; но даже тогда, когда на людей обрушивались величайшие бедствия, — когда целые страны бывали опустошены войнами, и целые населения их вымирали от нищеты, или стонали под ярмом давившей их власти, — та же склонность, та же потребность продолжала существовать в деревнях и среди беднейших классов городского населения. Она все-таки скрепляла их и, в конце концов, она оказывала воздействие даже на то правящее, войнолюбивое и разоряющее меньшинство, которое относилось к этой потребности как к сантиментальному вздору. И всякий раз, когда человечеству приходилось выработать новую социальную организацию, приспособленную к новому фазису его развития, созидательный гений человека всегда черпал вдохновение и элементы для нового выступления на пути прогресса все из той же самой, вечно живой склонности ко взаимной помощи. Все новые экономические и социальные учреждения, поскольку они являлись созданием народных масс, все новые учения нравственности и новые религии, — все они происходят из того же самого источника. Так что нравственный прогресс человеческого рода, если рассматривать его с широкой точки зрения, представляется постепенным распространением начал взаимной помощи, от первобытного рода к нации и к союзам народов, т. е. к группировкам племени и людей, все более и более обширным, пока, наконец, эти начала не охватят все человечество, без различия вер, языков и рас.

Пройдя период родового быта и следовавший за ним период деревенской общины, европейцы выработали в средние века новую форму организации, которая имела за себя большое преимущество. Она допускала большой простор для личного почина, и в то же время в значительной мере отвечала потребности человека во взаимной поддержке. В средневековых городах была вызвана к жизни федерация деревенских общин, покрытая сетью гильдий и братств, и при помощи этой новой формы двойного союза были достигнуты огромные результаты в общем благосостоянии, в промышленности, в искусстве, науке и торговле. Мы рассмотрели эти результаты довольно подробно в двух предыдущих главах, и я сделал попытку объяснить, почему, к концу пятнадцатого века, средневековые республики, —

окруженные владениями враждебных феодалов, неспособные освободить крестьян от крепостного ига и постепенно развращенные идеями римского цезаризма, — неизбежно должны были сделаться добычей растущих военных государств, создававшихся, чтобы дать отпор нашествиям монголов, турок и арабов.

Однако, прежде чем подчиниться, на следующие триста лет, всепоглощающей власти государства, народные массы сделали грандиозную попытку перестройки общества, сохраняя притом прежнюю основу взаимной помощи и поддержки. Теперь хорошо уже известно, что великое движение Реформации вовсе не было одним только возмущением против злоупотреблений католической церкви. Движение это выставило также и свой строительный идеал, и этим идеалом была — жизнь в свободных братских общинах. Писания и речи проповедников раннего периода Реформации, находившие наибольший отклик в народе, были пропитаны идеями экономического и социального братства людей. Известные «двенадцать пунктов» немецких крестьян, выставленные ими в войне против помещиков и князей, и подобные им символы веры, распространенные среди германских и швейцарских крестьян и ремесленников, требовали не только установления права каждого — толковать Библию, согласно своему собственному разумению, но заключали в себе также требование возврата общинных земель деревенским общинам и уничтожения феодальных повинностей; причем эти требования всегда ссылались на «истинную» христианскую веру, т. е. веру человеческого братства. В то же самое время десятки тысяч людей вступали, в Моравии, в коммунистические братства, жертвуя в пользу братств все свое имущество и создавая многочисленные и цветущие поселения, основанные на началах коммунизма^[286]. Только массовые избиения, во время которых погибли десятки тысяч людей, могли приостановить это широко распространившееся народное движение, и только при помощи меча, огня и колесования юные государства обеспечили за собой первую и решительную победу над народными массами^[287].

В течение следующих трех столетий, государства, создававшиеся во всей Европе, систематически уничтожали учреждения, в которых стремление людей ко взаимной поддержке находило себе выражение. Деревенские общины были лишены права мирских сходов, собственного суда и независимой администрации; принадлежавшие им земли были конфискованы. У гильдий были отняты их имущества и вольности, они были подчинены контролю государственных чиновников и отданы на произвол их прихотей и взяточничества. Города были лишены своих верховных прав, и самые источники их внутренней жизни, — вече, выборный суд, выборная администрация и верховные права прихода и гильдии, все это было уничтожено. Государственные чиновники захватили в свои руки каждое звено того, что раньше составляло органическое целое.

Вследствие этой роковой политики и порожденных ею войн, целые страны, прежде населенные и богатые, были опустошены. Богатые и людные города превратились в незначительные местечки; даже дороги, соединявшие города между собою, стали непроходимыми. Промышленность, искусство, знание — пришли в упадок. Политическое образование, наука и право были подчинены идее государственной централизации. В университетах и с церковных кафедр стали учить, что учреждения, в которых люди привыкли воплощать до тех пор свою

потребность во взаимной помощи, не могут быть терпимы в надлежаще организованном государстве; что государство и церковь одни могут представлять узы единения между его подданными; что федерализм и «партикуляризм», т. е. забота о местных интересах области или города, были врагами прогресса. Государство — единственный надлежащий двигатель всякого дальнейшего развития.

К концу восемнадцатого века короли на континенте Европы, парламент в Англии и даже революционный конвент во Франции, хотя и находились в войне друг с другом, сходились в утверждении, что в пределах государства не должно быть никаких отдельных союзов между гражданами, кроме тех, которые установлены государством и подчинены ему; что для рабочих, осмеливавшихся вступать в «коалиции», т. е. в союзы для защиты своих прав, единственное подходящее наказание — каторга и смерть. — «Не потерпим государства в государстве!» Только государство и государственная церковь должны заботиться об общих интересах подданных; сами же подданные должны оставаться мало связанными между собою кучками людей, не объединенных никакими особенными узами, и обязанных обращаться к государству всякий раз, когда они имеют какую-нибудь общую потребность. Вплоть до половины девятнадцатого века эта теория и соответственная ей практика господствовали в Европе.

Даже на торговые и промышленные общества все государства глядели с подозрением. Что же касается рабочих, то еще на нашей памяти их союзы считались незаконными, даже в Англии. Той же точки зрения придерживались не далее как двадцать лет тому назад, в конце XIX века, на континенте, даже во Франции; несмотря на пережитые ею революции, сами революционеры были такими же свирепыми государственниками, как королевские и царские чиновники. Вся система нашего государственного образования, вплоть до настоящего времени, даже в Англии, была такова, что значительная часть общества смотрела, как на революционную меру, если народ получал такие права, какими в средние века, пятьсот лет тому назад, пользовался всякий — свободный и крепостной, — на деревенском мирском сходе, в своей гильдии, в своем приходе и в городе.

Поглощение всех общественных отправлений государством роковым образом благоприятствовало развитию необузданного, узкого индивидуализма. По мере того, как обязанности граждан по отношению к государству умножались, граждане, очевидно, освобождались от обязанностей по отношению друг к другу. В гильдии, — а в средние века все принадлежали к какой-нибудь гильдии или братству, — два «брата» обязаны были поочередно ухаживать за больным братом; теперь же достаточно дать больному товарищу по работе адрес ближайшего госпиталя для бедных. В «варварском» обществе присутствовать при драке двух людей, возникшей из-за личной ссоры, и при этом не позаботиться, чтобы драка не имела рокового исхода, значило навлечь на себя обвинение в убийстве; но, согласно теперешней теории всеохраняющего государства, присутствующему при драке нет нужды вмешиваться, — на то имеется полиция. И в то время, как у дикарей, — например, у готтентотов, — считалось бы неприличным приняться за еду, не прокричавши троекратно приглашения желающему присоединиться к трапезе, у нас почтенный гражданин ограничивается уплатою налога для бедных, предоставляя голодающим распорядиться, как им угодно.

Результат получился тот, что везде — в жизни, в законе, в науке, в религии — торжествует теперь утверждение, что каждый может и должен добиваться собственного счастья, не обращая никакого внимания на чужие нужды. Это стало религиею нашего времени, и люди, сомневающиеся в ней, считаются опасными утопистами. Наука громко провозглашает, что борьба каждого против всех составляет руководящее начало природы вообще, и человеческих обществ в частности. Именно этой борьбе теперешняя биология приписывает прогрессивное развитие животного мира. История рассуждает таким же образом; а политико-экономы, в своем наивном невежестве, рассматривают прогресс современной промышленности и механики, как «паразитические» результаты влияния того же начала. Самая религия церковей является религией индивидуализма, слегка смягчаемого более или менее милосердными отношениями к своим ближним — преимущественно по воскресеньям. «Практические» люди и теоретики, люди науки и религиозные проповедники, законоведы и политические деятели, — все согласны в одном — в том, что индивидуализм, т. е. утверждение своей личности в его грубых проявлениях, *можно*, конечно, смягчать благотворительностью, но что *он* является единственным надежным основанием для поддержания общества и его дальнейшего развития.

Казалось бы, поэтому, делом безнадежным разыскивать учреждения взаимной помощи в современном обществе и вообще практические проявления этого начала. Что могло уцелеть от них? А между тем, как только мы начинаем присматриваться, как живут миллионы человеческих существ, и изучаем их повседневные отношения, нас поражает, прежде всего, огромная роль, которую играют в человеческой жизни, даже в настоящее время, начала взаимной помощи и взаимной поддержки. Хотя вот уже триста или четыреста лет и в теории и в самой жизни идет разрушение учреждений и обычаев взаимной помощи, — тем не менее сотни миллионов людей продолжают жить при помощи этих учреждений и обычаев; они благоговейно поддерживают их там, где их удалось сохранить, и пытаются воссоздать их там, где они уничтожены. Мы переживаем, каждый из нас, в наших взаимных отношениях, минуты, когда мы возмущаемся против модного, узколичного индивидуалистского символа веры наших дней; мало того, — поступки, при совершении которых люди руководятся своею склонностью к взаимной помощи, составляют такую огромную часть нашего повседневного обихода, что если бы возможно было внезапно положить им конец, то этим немедленно был бы прекращен весь дальнейший нравственный прогресс человечества. Человеческое общество без взаимной помощи не могло бы продержаться дольше, чем жизнь одного поколения.

Факты такого рода, оставляемые без внимания очень многими, пишущими о жизни обществ, имеют первостепенное значение для жизни и дальнейшего подъема человечества. Мы и рассмотрим их теперь, начиная с существующих установлений взаимной поддержки, и переходя затем к таким актам взаимной помощи, которые исходят из личных или общественных симпатий.

Окидывая широким взглядом современное устройство европейского общества, мы прежде всего поражаемся тем фактом, что, несмотря на все усилия покончить с деревенской общиной, эта форма единения людей продолжает существовать в обширных размерах, как видно будет из последующего, и что в настоящее время

делаются попытки либо восстановить ее в том или ином виде, либо найти что-нибудь в замену. Ходячие теории буржуазных и некоторых социалистических экономистов утверждают, что община умерла в Западной Европе естественной смертью, так как общинное владение землею было найдено несовместимым с современными требованиями возделывания земли. Но истина заключается в том, что *нигде деревенская община не исчезла по доброй воле*; напротив, везде правящим классам потребовалось несколько столетий настойчивых государственных мероприятий с целью искоренить общину и конфисковать общинные земли. Пример таких мероприятий и способов проведения их в жизнь нам дало недавно царское правительство, усердием своего министра Столыпина.

Во Франции, уничтожение независимости деревенских общин и грабеж принадлежащих им земель начались уже в шестнадцатом веке. Впрочем, только в следующем столетии, когда крестьянская масса была доведена, поборами и войнами, до полного порабощения и нищеты, так ярко описанных всеми историками, грабеж общинных земель мог совершаться безнаказанно, и тогда он достиг скандальных размеров. «Каждый брал у них, сколько мог... их делили... чтобы обобрать общины, пользовались подделанными долгами», — так выражался эдикт, обнародованный Людовиком XIV в 1667 году^[288]. И, как и следовало ожидать, государство не нашло иного средства для излечения этих зол, как еще большее подчинение общин своей власти и дальнейшее ограбление их — на этот раз самим государством. В сущности, уже два года спустя все денежные доходы общин были конфискованы королем. Что же касается до захвата общинных земель, то он становился все шире и шире, и в следующем столетии дворянство и духовенство уже оказались владельцами огромных участков земли: согласно некоторым оценкам, они овладели половиною всей годной для обработки площади, причем большинство этих земель оставалось неводеланным^[289]. Но крестьяне все еще сохранили свои общинные учреждения, и вплоть до 1787 года деревенские мирские сходы, состоявшие из всех домохозяев, собирались, обыкновенно под тенью колокольни или дерева, для распределения наделов, или для передела остававшихся в их владении полей, раскладки налогов и избрания общинной администрации, точно так же, как это и до сих пор делает русский «мир». Это вполне доказано теперь исследованиями Бабо^[290].

Французское правительство нашло, однако, общинные мирские сходы «чересчур шумными», т. е. чересчур непослушными, и в 1787 году они были заменены выборными советами, состоявшими из старшины и от трех до шести синдиков, которые избирались из более состоятельных крестьян. Через два года «революционное» Учредительное Собрание (Assemblée Constituante) сходявшееся в этом отношении вполне со старым строем, вполне подтвердило (14 декабря 1789 года) вышеуказанный закон, и *деревенская буржуазия* занялась теперь, в свою очередь, грабежом общинных земель, который и продолжался в течение всего революционного периода. Только 16 августа 1792 года Законодательное Собрание (Assemblée Legislative) под давлением крестьянских восстаний и поднятого настроения парижского народа, после взятия им королевского дворца, решило вернуть общинам отнятые у них земли; но в то же время оно постановило, чтобы из этих возвращенных земель, пахотные были разделены между одними «гражданами», т. е. более зажиточными крестьянами. Мера эта, конечно, вызвала

новые восстания, и она была отменена в следующем же году, когда, после изгнания из Конвента жирондистов, Якобинцы Конвента постановили, 11 июня 1793 г., чтобы все общинные земли, отнятые помещиками и пр. у крестьян, начиная с 1669 года, были возвращены общинам, которые могли, — если решали это большинством двух третей голосов, — разделить общинные земли, но в таком случае поровну между всеми обывателями, как богачами, так и бедняками, как «гражданами», так и «присельщиками»^[291].

Тем не менее законы о разделе общинных земель настолько шли вразрез с представлениями крестьян, что последние не выполняли их, и повсюду, где крестьяне вернулись во владение, хотя бы частью ограбленных у них мирских земель, они владели ими сообща, оставляя их наделенными. Но вскоре наступили долгие годы войн и реакция, и общинные земли были просто конфискованы государством (в 1794 году) для обеспечения государственных займов; часть их была назначена на продажу и, в конце концов, разграблена; затем они снова были возвращены общинам и снова конфискованы (в 1813 году), и только в 1816 году остатки этих земель, составлявшие около 6 000 000 десятин наименее производительной земли, были возвращены деревенским общинам^[292]. Но и это еще не было концом общинных злоключений. Каждый новый режим видел в общинных землях удобный источник для вознаграждения своих сторонников, и три закона (первый в 1837 году, а последний при Наполеоне III) были проведены с целью побудить деревенские общины произвести раздел общинных земель. Три раза эти законы приходилось отменять, вследствие сопротивления, которое они встречали в деревнях, но всякий раз правительству удавалось отхватить что-нибудь от общинных владений; так, Наполеон III, под предлогом покровительства усовершенствованным способам земледелия, отдал крупные общинные владения некоторым из своих фаворитов.

Вот каким рядом насилий поклонники централизма воевали с общиной. И это называется экономистами «естественною смертью общинного землевладения, в силу экономических законов»!

Что же касается до самоуправления деревенских общин, то что могло остаться от него после стольких ударов? Правительство смотрело на старшину и синдиков, как на своих даровых чиновников, выполняющих известные отправления государственной машины. Даже теперь, при третьей республике^[293] деревня лишена всякой самостоятельности, и малейшее действие в пределах деревенской общины не может быть совершено без вмешательства и утверждения чуть ли не всего сложного государственного механизма, включая префектов и министров. Трудно поверить, а между тем в действительности оно так. Если, например, крестьянин намеревается уплатить денежным взносом свою долю труда по починке общинной дороги (вместо того, чтобы самому набить требуемое количество камня), то не менее двенадцати государственных чиновников различного ранга должны дать согласие на это, причем это требует пятидесяти двух бумажных документов, которыми чиновники должны обменяться, прежде чем крестьянину будет разрешено внести денежную уплату в общинный совет. Все остальное носит тот же характер^[294].

То, что случилось во Франции, происходило повсюду в Западной и Средней

Европе. Даже главные годы этого колоссального грабежа крестьянских земель везде совпадают. Для Англии единственное различие заключается в том, что грабеж совершался путем отдельных актов, а не путем общего закона, — словом, дело происходило с меньшею поспешностью, чем во Франции, но зато с большей основательностью. Захват общинных земель помещиками (лендлордами) также начался в пятнадцатом столетии, после подавления крестьянского восстания в 1380 году, как видно из «Historia» Россуса и статута Генриха VII, в которых об этих захватах говорится под заголовком: «Гнусности и злодеяния, вредящие общему благу»^[295]. Позднее, при Генрихе VIII, было начато, как известно, специальное расследование (Great Inquest) с целью прекратить захват общинных земель; но расследование это закончилось утверждением расхищения, в тех размерах, в каких оно уже произошло^[296].

Расхищение общинных земель продолжалось, и крестьян продолжали сгонять с земли. Но только с середины XVIII столетия, в Англии, как и везде в других странах, установилась систематическая политика в видах уничтожения общинного владения; так что следует удивляться не тому, что общинное владение исчезло, а тому, что оно могло сохраниться, даже в Англии, и «преобладало еще на памяти дедов нашего поколения»^[297]. Истинной целью «актов об ограждении» (Enclosure Acts), как показано Seebohm'ом, было устранение общинного владения^[298], и оно было настолько хорошо устранено, когда парламент провел, между 1760-м и 1844-м годом, почти 4000 актов об ограждении, что от него остались теперь только слабые следы. Лорды забрали себе земли деревенских общин, и каждый отдельный случай захвата был утвержден парламентом^[299].

В Германии, в Австрии и в Бельгии деревенская община была точно так же разрушена государством. Примеры того, чтобы общинники сами разделяли между собой общинные земли, были редки^[300], между тем как государства везде понуждали их к подобному разделу, или просто благоприятствовали захвату их земель частными лицами. Последний удар общинному владению в Средней Европе также был нанесен в середине восемнадцатого века. В Австрии правительству пришлось пустить в ход грубую силу в 1768 году, чтобы заставить общины совершить раздел земель, — причем, два года спустя, для этой цели была назначена специальная комиссия. В Пруссии, Фридрих II, в некоторых из своих указов (в 1752, 1763, 1765 и 1769 гг.), рекомендовал судебным камерам (Justizcollegien) производить раздел насильственным путем. В польской области Силезии, с той же целью, была опубликована, в 1771 году, специальная резолюция. То же происходило и в Бельгии, но так как общины оказывали неповиновение, то, в 1847 году, был издан закон, дававший правительству право покупать общинные луга, с целью распродажи их по частям, и производить принудительную продажу общинной земли, если на нее находился покупатель^[301].

Короче говоря, разговоры об естественной смерти деревенских общин в силу экономических законов представляют такую же безобразную шутку, как если бы мы говорили об естественной смерти солдат, убитых на поле битвы. Фактическая сторона дела такова: деревенские общины прожили более тысячи лет, и в тех случаях, когда крестьяне не были разорены войнами и поборами, они постепенно

улучшали методы культуры; но, так как ценность земли возрастала, вследствие роста промышленности, и дворянство, при государственной организации, приобрело такую власть, какой оно никогда не имело при феодальной системе, — оно завладело лучшею частью общинных земель и приложило все усилия, чтобы разрушить общинные установления.

Установления деревенской общины так хорошо соответствуют, однако, нуждам и понятиям тех, кто сам обрабатывает землю, что, несмотря на все, Европа вплоть до настоящего времени покрыта еще *живущими* пережитками деревенских общин, а деревенская жизнь изобилует по сию пору привычками и обычаями, происхождение которых относится к общинному периоду. Даже в Англии, несмотря на все драконовские меры, предпринятые для уничтожения старого порядка вещей, он существовал вплоть до начала XIX столетия. Гоммэ, один из немногих английских ученых, обративших внимание на этот предмет, указывает в своей работе, что в Шотландии сохранились многие следы общинного владения землей, причем *runrig-tenancy*, т. е. фермерское владение полями (права общинника, перешедшие к фермеру) сохранялось в Форфаршайре до 1813 года; а в некоторых деревнях Инвернеса вплоть до 1801 г. было в обычае распахать землю для целой общины, не делая межей и распределяя ее уже после вспашки^[302]. В Килмори раздел и передел полей были в полной силе «вплоть до последних двадцати пяти лет», говорил Гоммэ, и крофтерская комиссия восьмидесятых годов нашла этот обычай еще сохранившимся на некоторых островах^[303]. В Ирландии эта же система преобладала вплоть до эпохи великого голода 1848 года. Что же касается до Англии, то труды Маршалля, остававшиеся незамеченными, пока на них не обратили внимания Нассэ и Мэн, не оставляют ни малейшего сомнения в том, что система деревенской общины пользовалась широким распространением почти во всех областях Англии, еще в начале XIX века^[304].

В семидесятых годах Генри Мэн был «чрезвычайно поражен количеством случаев абнормальных владельческих прав, которые необходимым образом предполагают первоначальное существование коллективного владения и совместной обработки земли», — причем эти случаи обратили на себя его внимание после сравнительно непродолжительного изучения. А так как общинное владение сохранилось в Англии до такого недавнего времени, то несомненно, что в английских деревнях можно было бы найти большое количество обычаев и навыков взаимной помощи, если бы только английские писатели обратили внимание на деревенскую жизнь^[305].

На такие следы недавно было, наконец, указано в одной статье в журнале Статистического Общества (*Journal of the Statistical Society*, vol. IX, June 1897) и в прекрасной статье в новом, одиннадцатом издании Британской Энциклопедии. Из этой статьи мы узнаем, что путем «огораживания» общинных земель и выгонов предполагаемыми владельцами, наследниками феодальных прав, было отнято у общин 1 016 700 дес. с 1709 по 1797 г., преимущественно обрабатываемых полей, 484 390 дес. с 1801 по 1842 г. и 228 910 дес. с 1845 по 1869 г.; кроме того, лесов 37 040 дес.; всего 1 767 140 дес., т. е. больше осьмой части всей поверхности Англии с Уэльсом (13 789 000 дес.) было отнято у народа.

И несмотря на это, общинное землевладение до сих пор сохранилось в некоторых местах Англии и Шотландии, как это показал в 1907 году д-р Гильберт Слэтер, в обстоятельной работе «The English Peasantry and the Enclosure of Common Fields», где даны планы нескольких таких общин, — вполне напоминающие планы в книге П. П. Семёнова, — и описывается их жизнь: трех- или четырехпольная система, причем общинники каждый год решают на сходе, чем засеять пар, и сохраняются «полосы», так же, как в русской общине. Автор статьи в Британской Энциклопедии считает, что до сих пор в общинном владении остается в Англии, полей и, главным образом, выгонов, от 500 000 до 700 000 десятин^[306].

В континентальной части Европы множество общинных установлений, до сих пор сохранивших жизненную силу, встречается во Франции, в Швейцарии, в Германии, Италии, Скандинавских странах и в Испании, не говоря о всей Восточной, славянской Европе. Здесь деревенская жизнь до сих пор проникнута общинными обычаями и привычками, и европейская литература почти ежегодно обогащается серьезными трудами, посвященными этому предмету и сродным с ним. Поэтому мне придется, при выборе примеров, ограничиться лишь несколькими, самыми типичными^[307].

Один из таких примеров дает нам Швейцария. Здесь имеется пять республик — Ури, Швиц, Аппенцель, Гларус и Унтервальден — которые владеют значительной частью своих земель нераздельно, и управляются, каждая, народным сходом всей республики (кантона)^[308]; но и во всех других республиках деревенские общины также пользуются широким самоуправлением, и обширные части федеральной территории до сих пор остаются в общинном землевладении^[309]. Две трети всех альпийских лугов и две трети всех лесов Швейцарии и значительное количество полей, садов, виноградников, торфяников и каменоломен до сих пор остаются общинной собственностью. В Ваадтском кантоне, где все домохозяева имеют право принимать участие, с совещательным голосом, при обсуждении общинных дел, общинный дух проявляется с особенною живостью в избираемых ими общинных советах. К концу зимы в некоторых деревнях вся мужская молодежь отправляется на несколько дней в леса, для рубки деревьев и спуска их вниз по крутым склонам гор (подобно катанью с гор на салазках), причем строевой лес и лес для отопления распределяется между всеми домохозяевами, или же продается в их пользу. Эти экскурсии являются настоящими праздниками мужественного труда. На берегах Женевского озера часть работы, необходимой для поддержания в порядке террас виноградников до сих пор выполняется сообща; а весной, когда термометр угрожает упасть ниже нуля перед восходом солнца и мороз мог бы погубить лозы виноградников, ночной сторож будит всех домохозяев, которые зажигают костры из соломы и навоза, и охраняют, таким образом, виноградники от мороза, окутывая их облаками дыма.

В Тессинской республике леса состоят в общинном владении; их рубка ведется очень правильно, участками, и граждане каждой общины получают, каждая семья, свою долю из выручки. Затем, почти во всех кантонах деревенские общины «владеют так называемыми *Bürger Nutzen*, т. е. или сообща содержат известное количество коров, для снабжения каждой семьи маслом; или же они держат сообща

поля или виноградники, продукты которых разделяются между общинниками; или же, наконец, они отдают свою землю внаем, причем доход поступает в пользу всей общины»^[310].

Вообще можно принять за правило, что везде, где общины удержали за собой настолько широкий круг прав, чтобы быть живыми частями национального организма, и где они не были доведены до совершенной нищеты, общинники не перестают внимательно относиться к своим землям. Вследствие этого общинные имущества Швейцарии представляют поражающий контраст по сравнению с жалким положением «общинных» земель в Англии. Общинные леса в Ваадтском кантоне (Vaud) и в Валэ (Valais) содержатся в превосходном порядке, соответственно указаниям современного лесоводства. В других местах «полоски» общинных полей, меняющие владельцев при системе переделов, оказываются очень хорошо унавожены, так как нет недостатка ни в скоте, ни в лугах. Высокие альпийские луга вообще содержатся хорошо, а деревенские дороги превосходны. И когда мы восхищаемся швейцарским *châlet*, т. е. избыю, горными дорогами, крестьянским скотом, террасами виноградников или школьными домами в Швейцарии, мы должны помнить, что лес для постройки *châlet* большею частью получен был из общинных лесов, а камень — из общинных каменоломен; что коровы пасутся на общинных лугах, а дороги и школьные дома — результат общинной работы^[311]. Конечно, в Швейцарии, как и везде, община потеряла многие из своих прав и отправлений, а «корпорация», составленная из небольшого числа старинных семей, заступила место прежней деревенской общины, к которой принадлежали все. Но то, что сохранилось, удержало, по мнению серьезных исследователей, полную жизненность [См. Приложение XVII].

Едва ли нужно говорить, что в швейцарских деревнях до сих пор сохраняется много обычаев и навыков взаимной помощи. Вечерние собрания для шелушения грецких орехов, которые происходят поочередно у каждого домохозяина; вечерние посиделки для шитья приданного у девушки, выходящей замуж; приглашения на «помочь» при постройке домов и собирании жатвы, а равным образом для всевозможных работ, могущих потребоваться для каждого из общинников; обычай обмениваться детьми из одного кантона в другой, с целью научить их двум языкам, французскому и немецкому, и т. д. — все это совершенно обычные явления^[312].

Любопытно, что и различные современные потребности удовлетворяются тем же путем. Так, например, в Гларусе большинство альпийских лугов было продано в эпоху бедствий; но общины продолжают до сих пор покупать полевые земли, и после того как новокупленные участки побыли во владении отдельных общинников в течение десяти, двадцати или тридцати лет, они возвращаются в состав общинных земель, которые переделываются, сообразно нуждам всех общинников. Имеется также большое количество мелких союзов, занимающихся производством необходимых пищевых продуктов — хлеба, сыра, вина — путем работы сообща, хотя бы это производство и не достигало крупных размеров; и, наконец, широким распространением пользуются в Швейцарии сельскохозяйственные кооперации. Обычное явление представляют союзы, от десяти до тридцати крестьян, сообща покупающих луга и поля и сообща обрабатывающих их; а молочные товарищества,

для продажи молока и сыра, организованы по всей стране. В сущности, Швейцария была родиной этой формы кооперации. Кроме того здесь представляется обширное поле для изучения всякого рода мелких и крупных обществ, основанных для удовлетворения всевозможных современных потребностей. Так, например, в некоторых частях Швейцарии, почти в каждой деревне можно найти целый ряд обществ: для защиты от пожаров, для водоснабжения, для катанья на лодках, для поддержания набережных на озере и т. д.; кроме того, вся страна покрыта обществами лучников, стрелков, топографов, исследователей тропинок и других подобных организаций, зародившихся из потребностей современного милитаризма и империализма.

Швейцария, однако, вовсе не является исключением в Европе, так как подобные же учреждения и обычаи можно наблюдать в деревнях Франции, Италии, Германии, Дании и т. д. Так, на предыдущих страницах говорилось о том, что было сделано правителями Франции, с целью уничтожения деревенской общины и захвата ее земель; но несмотря на все усилия правительства, одна десятая часть всей территории, пригодной для культуры, т. е., около 5 810 000 десятин, занимающих половину всех естественных лугов и почти пятую часть всех лесов страны, остаются в общинном владении. Эти леса снабжают общинников топливом, а строевой лес рубится в большинстве случаев путем общинной работы, со всею желательною в этих случаях правильностью; скот общинников свободно пасется на общинных пастбищах, а остатки общинных полей делятся и переделываются в некоторых частях Франции — а именно в Арденнах — обычным путем^[313].

Эти добавочные источники, помогающие более бедным крестьянам переживать годы плохих урожаев, не продавая принадлежащих им клочков земли и не запутываясь в неоплатных долгах, несомненно имеют значение, как для земледельческих рабочих, так и для почти 3 000 000 мелких крестьян-собственников. Сомнительно даже, чтобы мелкая крестьянская собственность могла удержаться без помощи этих добавочных источников. Но этическая важность общинной собственности, как бы ни были малы ее размеры, далеко превосходит ее экономическое значение. Она помогает сохранению в деревенской жизни ядра обычаев и навыков взаимной помощи, несомненно действующих как противовес узкому индивидуализму и жадности, которые так легко развиваются в среде мелких земельных собственников, и они облегчают развитие современных форм кооперации и общительности. Взаимная помощь, во всех обстоятельствах деревенской жизни, входит в обычный деревенский обиход. Везде мы встречаем, под различными именами, «*charroi*», т. е., «помочь», оказываемую соседями при уборке жатвы, при сборе винограда, при постройке дома и т. п.; везде мы находим те же вечерние собрания, как и в Швейцарии. Везде общинники объединяются для всевозможных работ, невыполнимых в одиночку. Об этих обычаях упоминали почти все, писавшие о французской деревенской жизни. Но, может быть, лучше всего будет привести здесь несколько отрывков из писем, полученных мною от одного приятеля, которого я просил сообщить мне свои наблюдения по данному вопросу. Сообщения эти принадлежат пожилому человеку, бывшему в течение многих лет мэром в своей родной коммуне на юге Франции (в департаменте *Arigège*); сообщаемые им факты известны ему по долголетнему личному наблюдению, и они имеют то

преимущество, что исходят из одной местности, а не подобраны по частям из наблюдений, сделанных в отдаленных друг от друга местах. Некоторые из них могут показаться мелкими, но в общем они рисуют целый мирок деревенской жизни.

«В некоторых общинах, соседних с нашей, — пишет мой приятель, — сохраняется в полной силе старый обычай *l'emprunt*. Когда на ферме требуется много рук для быстрого выполнения какой-нибудь работы — выкопать картофель, или выкосить луга, созывается соседская молодежь; собираются парни и девушки, бодро и бесплатно выполняют работу, а вечером, после веселого ужина, молодежь устраивает танцы.

В тех же деревнях, когда девушка выходит замуж, соседские девушки собираются у нее, шить ей приданное. В некоторых деревнях женщины до сих пор довольно усердно прядут. Когда, наступает время размотки пряжи в какой-нибудь семье, работа эта производится в один вечер при помощи приглашенных соседей. Во многих общинах Арьежа, и в других юго-западных местностях, шелушение кукурузы также выполняется при помощи всех соседей. Их угощают каштанами и вином, и молодежь танцует по окончании работы. Тот же обычай практикуется при выделке орехового масла и для трепания конопли. В общине Л. тот же обычай соблюдается при возке хлеба. Эти дни тяжелой работы становятся праздниками, так как хозяин считает своею честью угостить добровольцев хорошим обедом. Платы не полагается никакой: все помогают друг другу^[314].

В общине С. площадь общинных выгонов каждый год увеличивается, так что в настоящее время почти вся земля общины поступила в общее пользование. Пастухи выбираются всеми владельцами скота, включая и женщин. Быки — общинные.

В общине М. маленькие стада овец, в 40–50 голов, принадлежащие общинникам, собираются в одно стадо, и затем делятся на три или на четыре стада, прежде чем гнать их на горные луга. Каждый владелец остается в течение одной недели при стаде, в качестве пастуха.

В деревне С. несколько домохозяев купили сообща молотилку; все семьи сообща поставляют тех, человек пятнадцать или двадцать, которые нужны при машине. Три других молотилки, купленные домохозяевами той же деревни, отдаются ими напрокат, но работа при этом выполняется посторонними помощниками, приглашаемыми обычным путем.

В нашей общине Р. нужно было возвести стену вокруг кладбища. Половина суммы, требовавшейся для покупки извести и для платы опытным рабочим, была дана окружным советом, а другая половина была собрана по подписке. Что же касается работы по доставке песка и воды, замешивания известки, и подручных для каменщиков, то все это было выполнено добровольцами (точно так же делается в кабийской *djettâa*). Деревенские дороги чинятся тоже добровольным трудом общинников. Другие общины таким образом устроили у себя фонтаны. Пресс для выжимки виноградного сока — и другие, более мелкие, приспособления часто бывают общинной собственностью».

Два жителя из той же местности, опрошенные моим приятелем, добавили следующее: «В О. несколько лет тому назад не было мельницы. Община выстроила

мельницу, наложив налог на общинников. Что же касается до мельника, то во избежание с его стороны всякого рода обманов и пристрастия, решено было платить ему по 2 франка с каждого едока, а хлеб молоть бесплатно.

В Сент Ж. очень мало крестьян страхуются на случай пожара. Когда же случается пожар — как это было недавно — все дают что-нибудь пострадавшей семье: котел, простыню, стул и т. п., и таким образом скромное хозяйство возобновляется. Все соседи помогают погоревшему отстроить дом, а семья временно помещается бесплатно у соседей».

Подобные обычаи взаимной помощи — а их можно было бы привести без числа, — несомненно объясняют нам, почему французские крестьяне с такой легкостью объединяются для поочередного пользования плугом и его запряжкой, или же виноградным прессом, или молотилкой, когда последние принадлежат в деревне кому-нибудь одному, а равным образом и для выполнения сообща всякого рода деревенских работ. Поддержка оросительных канав, расчистка лесов, осушка болот, посадка деревьев и т. д. с незапамятных времен делались миром. То же продолжается и поныне. Так, например, очень недавно, в La Vigne, в деп. Лозер, дикие обнаженные холмы были превращены в богатые сады, путем общинного труда. «Люди носили землю на своих плечах, устроили террасы и засадили их каштановыми и персиковыми деревьями; они распланировали огороды и провели воду, каналом, из-за пяти верст». Теперь, там, оказывается, вырыт новый водопровод длиной в 16 верст^[315].

Тем же самым общинным духом объясняется замечательный успех, которым в последнее время пользуются земледельческие синдикаты, т. е. ассоциации крестьян и фермеров. Только в 1884 году во Франции были допущены союзы, состоящие более чем из 19 лиц, и едва ли нужно прибавлять, что когда решено было сделать этот «опасный опыт» — так говорилось о нем в палате депутатов — чиновничество приняло против союзов все «предосторожности», какие только может изобрести бюрократия. Но несмотря на это, Франция покрывается земледельческими союзами (синдикатами). Вначале они образовывались лишь для покупки удобрений и семян, так как подделка в этих двух областях и примешивание всякой дряни дошли до невероятных размеров^[316]. Но постепенно они распространили свои действия в различных направлениях, включая продажу земледельческих продуктов и постоянные улучшения земельных участков. В южной Франции опустошения, произведенные филлоксерой, вызвали образование большого количества союзов среди владельцев виноградников. Десять, двадцать, иногда тридцать таких владельцев образовывали синдикат, покупали паровую машину для накачивания воды и делали необходимые приготовления, чтобы по очереди затопить свои виноградники^[317]. Постоянно образуются новые союзы, для защиты от наводнений, для орошения, для поддержания существующих уже оросительных канав и т. д., причем требование закона о единогласном желании всех крестьян данного соседства не является препятствием. В других местностях мы находим сырные или молочные артели, причем некоторые из них делят сыр и масло на равные части, независимо от удойности каждой коровы. В Арьеже существует ассоциация восьми отдельных общин для совместной обработки их земель, которые они соединили в одно; в том

же самом департаменте, из 337 общин в 172-х организованы синдикаты для бесплатной медицинской помощи; в связи с синдикатами возникают также общества потребителей, и т. д. ^[318]. «Истинная революция совершается в наших деревнях, — говорит Alfred Baudrillart, при посредстве этих ассоциаций, которые принимают в каждой области Франции свой особый характер».

Почти то же самое можно сказать и о Германии. Везде, где крестьяне смогли остановить разграбление своих общинных земель, они держат их в общинном владении, которое широко преобладает в Вюртемберге, Бадене, Гогенцоллерне и Гессенской провинции, Штаркенберге ^[319]. Общинные леса вообще содержатся в превосходном состоянии и в тысячах общин, как строевой лес, так и лес на отопление ежегодно делятся между всеми жителями; даже древний обычай Lesholztag до сих пор пользуется широким распространением: по звону колокола на деревенской колокольне все жители деревни отправляются в лес, чтобы унести из него столько топлива, сколько сможет каждый ^[320]. В Вестфалии имеются общины, в которых вся земля обрабатывается, как одно общее имение, согласно с требованиями современной агрономии. Что же касается древних общинных обычаев и навыков, то они до сих пор в силе в большей части Германии. Приглашение на «помочи», являющиеся действительными праздниками труда, — вполне обычное явление в Вестфалии, Гессене и Нассау. В областях, изобилующих строевым лесом, лес на постройку нового дома берется обыкновенно из общинного леса, и все соседи помогают в постройке. Даже в предместьях большого города Франкфурта существует среди садовников обычай, в случае болезни одного из них приходиться по воскресеньям обрабатывать сад больного товарища ^[321].

В Германии, как и во Франции, как только правители народа отменили законы, направленные против крестьянских союзов — что было сделано только в 1884–1888 годах — этого рода союзы начали развиваться с поразительной быстротой, несмотря на всякого рода препятствия со стороны закона, далеко им не благоприятного ^[322]. «Фактически, — говорит Бухенбергер, — вследствие этих ассоциаций, в *тысячах* деревенских общин, в которых раньше ничего не знали ни о химических удобрениях, ни о рациональном кормлении скота, теперь и то и другое применяется в небывалых размерах» (Т. II, стр. 507). При помощи этих ассоциаций покупаются всякого рода сберегающие труд орудия и земледельческие машины, а равным образом вводятся различные приспособления для улучшения качества продуктов. Образуются также союзы для продажи земледельческих продуктов и для постоянного улучшения земельных участков ^[323].

С точки зрения социальной экономики, все эти крестьянские усилия, конечно, не представляют большого значения. Они не могут существенно — а тем менее прочно — облегчить ту нищету, на которую обречены земледельческие классы всей Европы. Но с нравственной точки зрения, которая занимает нас в данное время, их значение громадно. Они доказывают, что даже при системе господствующего теперь необузданного индивидуализма, земледельческие массы благоговейно хранят полученное ими наследие взаимной помощи; и как только государства ослабляют железные законы, при посредстве которых они разорвали все узы между людьми, чтобы легче держать их в своих руках, эти узы тотчас возобновляются, несмотря на

многочисленные политические, экономические и социальные затруднения, причем они возобновляются в таких формах, которые наилучше соответствуют *современным* требованиям производства. Они указывают также на направления, в которых следует искать дальнейшего прогресса, и на формы, в которые они стремятся вылиться.

Легко можно было бы увеличить количество таких примеров, беря их из Италии, Испании и особенно Дании, и можно было бы указать на некоторые весьма интересные черты, свойственные каждой из этих стран (См. Приложение XVIII). Следовало бы также упомянуть о славянском населении Австрии и Балканского полуострова, среди которого до сих пор существует «сложная семья» или «неделенное хозяйство»^[324] и множество учреждений взаимной поддержки. Но я спешу перейти к России, где то же стремление ко взаимной помощи облекается в некоторые новые и неожиданные формы. Кроме того, рассматривая деревенскую общину в России, мы имеем то преимущество, что обладаем огромным количеством материала, собранного во время колоссальной подворной переписи, предпринятой некоторыми земствами и охватывающей население почти в 20 000 000 крестьян в различных частях России^[325].

Из огромного количества данных, собранных русскими переписями, можно извлечь два важных вывода. В средней России, где одна треть крестьянского населения, если не более, была доведена до совершенного разорения (тяжелыми налогами, крохотными наделами плохой земли, высокою арендною платою и чрезвычайно суровым взысканием податей после полных неурожаев), видно было, в продолжение первых двадцати пяти лет после освобождения крестьян от крепостной зависимости, решительное стремление к установлению личной земельной собственности в пределах деревенских общин. Многие обедневшие «безлошадные» крестьяне бросали свои наделы, и их земля часто переходила в собственность тех, более богатых, крестьян, которые, занимаясь торговлей, имели добавочные источники дохода; или же наделы попадали в руки посторонних купцов, покупавших землю главным образом для того, чтобы сдавать ее впоследствии крестьянам же, по непомерно высоким арендным ценам. Должно также заметить, что вследствие недосмотра в Положении 1861 года, представилась широкая возможность скупать крестьянские земли по очень дешевой цене^[326]; а государственные чиновники, в свою очередь, употребляли свое могущественное влияние в пользу частного владения и относились отрицательно к владению общинному.

Однако, начиная с восьмидесятых годов, началась также и сильная оппозиция в средней России против личного владения, и средние крестьяне, занимающие срединное положение между богачами и бедными, употребляют энергические усилия для поддержания общины. Что же касается до плодородных южных степей, являющихся в настоящее время наиболее населенными и богатыми частями Европейской России, то они были главным образом заселены в течение девятнадцатого века, при системе личного владения, или захвата, признанного в этой форме государством. Но с тех пор, как в южной России были введены, при помощи машин, улучшенные способы земледелия, крестьяне-собственники в

некоторых местах начали сами переходить от личного владения к общинному, так что теперь в этой житнице России можно, по-видимому, найти довольно значительное количество добровольно сформировавшихся деревенских общин, очень недавнего происхождения^[327].

Крым и часть материка, лежащая к северу от него (Таврическая губерния), для которых у нас имеются подробные данные, лучше всего могут послужить для пояснения этого движения. После присоединения к России, в 1783 году, эта местность начала заселяться выходцами из Великороссии, Малороссии и Белороссии — казаками, свободными людьми и бежавшими крепостными, — которые, поодиночке или небольшими группами, стекались сюда со всех углов России. Сначала они принялись за скотоводство, а позднее, когда они начали распаивать землю, каждый распаивал столько, сколько мог. Но когда, вследствие продолжавшегося наплыва переселенцев и введения усовершенствованных плугов, возрос спрос на землю, между поселившимися здесь поднялись ожесточенные споры. Споры тянулись по целым годам, пока, наконец, эти люди, ранее не связанные никакими взаимными узами, пришли постепенно к мысли, что необходимо положить конец раздорам, введя общинное землевладение. Тогда они начали составлять приговоры, согласно которым земля, которую они до того владели лично, переходила в общинное владение; и вслед за тем они начали делить и переделывать эту землю, согласно установившимся в деревенских общинах обычаям. Это движение постепенно приняло обширные размеры, и на сравнительно небольшой территории таврические статистики нашли 161 деревню, в которых общинное владение было введено самими крестьянами-собственниками, вместо частной собственности, главным образом, в течение 1855–1885 годов. Поселенцы, таким образом, свободно выработали самые разнообразные типы деревенской общины^[328]. Особенный интерес этому переходу от личного землевладения к общему придает еще то, что он совершился не только среди великороссов, привыкших к общинной жизни, но и среди малороссов, давно забывших об общине под польским владычеством, а также среди греков и болгар, и даже среди немцев, которые давно уже успели выработать в своих цветущих полупромышленных колониях на Волге собственный тип деревенской общины^[329]. Татары-мусульмане в Таврической губернии, очевидно, продолжали владеть землей по мусульманскому обычному праву, допускающему лишь ограниченное личное землевладение; но даже среди них, в некоторых немногих случаях, привилась европейская деревенская община. Что же касается до других национальностей, населяющих Таврическую губернию, то частное владение было уничтожено в шести эстонских деревнях, в двух греческих, в двух болгарских, в одной чешской и в одной немецкой.

Возврат к общинному землевладению характерен для плодородных степей юга. Но отдельные примеры такого же возврата можно встретить также и в Малороссии. Так, в нескольких деревнях Черниговской губернии крестьяне раньше были частными земельными собственниками; они имели отдельные законные документы на свои участки и распоряжались землей самовольно, отдавая ее в аренду, или продавая. Но в пятидесятых годах девятнадцатого века между ними началось движение в пользу общинного владения, причем главным доводом служило возрастание числа обедневших семейств. Началось такое движение в одной деревне,

а за ней последовали другие, и последний случай, упоминаемый В. В., относился к 1882 году. Конечно, происходили стычки между бедными крестьянами, требовавшими перехода к общинному владению, и богачами, обыкновенно предпочитающими частную собственность, и иногда борьба продолжалась целые годы. В некоторых местностях единогласное решение всей общины, требуемое законом для перехода к новой форме землевладения, не могло быть достигнуто, и деревня тогда делилась на две части: одна оставалась при частном владении землею, а другая переходила к общинному; иногда они позднее сливались в одну общину, а иногда так и оставалась каждая при своей форме землевладения.

Что же касается до центральной России, то во многих деревнях, население которых склонялось к частному владению, начиная с 1880 года, возникло массовое движение в пользу восстановления деревенской общины. Даже крестьяне-собственники, годами жившие при личном землевладении, возвращались к общинным порядкам. Так, например, имеется значительное количество бывших дворовых, получивших лишь четверной надел, но зато без выкупа и на правах частной собственности. В 1890 году, между ними началось движение (в Курской, Рязанской, Тамбовской и др. губерниях), целью которого было сведение воедино их участков на основе общинного владения. Точно так же «вольные хлебопашцы», которые были освобождены от крепостной зависимости по закону 1803 года, и которые купили свои наделы — каждая семья порознь, — теперь почти все перешли к добровольно введенной ими общинной системе. Все эти движения относятся к очень недавнему времени, причем в них принимают участие и крестьяне других национальностей, помимо русской. Так, например, болгары Тираспольского уезда, которые владели землею в течение шестидесяти лет на правах частной собственности, ввели у себя общинное владение в 1876–1882 годах. Немецкие меннониты Бердянского уезда боролись в 1890 году за введение общинного владения, а мелкие крестьяне-собственники (Klienwirthschaftliche), среди немецких баптистов, вели в своих деревнях пропаганду за проведение подобной же меры. В заключение, приведу еще один пример: в Самарской губернии русское правительство устроило, ради опыта, в сороковых годах прошлого столетия, 103 деревни на правах частного землевладения. Каждый домохозяин получил превосходный надел в 40 десятин. В 1890 году, в 72-х деревнях из этих 103-х, крестьяне выразили желание перейти к общинному владению. Все эти факты заимствую из превосходного труда г. В. В., который в свою очередь лишь классифицировал факты, отмеченные земскими статистиками во время вышеупомянутых подворных описей.

Такое движение в пользу общинного владения идет совершенно вразрез с современными экономическими теориями, согласно которым усиленная обработка земли несовместима с деревенской общиной. Но об этих теориях можно сказать лишь одно, — что они никогда не проходили чрез горнило фактического испытания: они целиком принадлежат к области отвлеченной теории. Факты же, имеющиеся пред нашими глазами, указывают, напротив, что везде, где русские крестьяне, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, оказывались менее в когтях нищеты, и везде, где они находили сведущих и обладающих почином людей среди своих соседей, деревенская община способствовала введению различных

усовершенствований в области земледелия и вообще в деревенской жизни. Здесь, как и повсюду, взаимная помощь скорее и лучше ведет к прогрессу, чем война каждого против всех, как это можно видеть из нижеследующих фактов. Мы видели уже (приложение XVI), как современные английские крестьяне, там, где уцелела община, обрабатывали паровое поле в поля для бобовых растений и корнеплодных. То же начинается и в России.

При Николае I многие государственные чиновники и помещики заставляли крестьян вводить общественные запашки на небольших участках принадлежавшей деревне земли, с целью пополнения общинных хлебных магазинов. Подобные запашки, связанные в умах крестьян с наихудшими воспоминаниями о крепостном праве, были прекращены ими тотчас же после падения крепостного строя; но теперь крестьяне начинают кое-где заводить их по собственному почину. В одном уезде (Острогожском, Курской губ.) достаточно было предприимчивости одного лица, чтобы ввести подобные запашки в четырех пятых всех деревень уезда. То же самое наблюдается и в некоторых других местностях. В назначенный день общинники собираются на работу: богатые с плугами или телегами, а более бедные приносят на общественную работу лишь собственные руки, причем не делается никаких попыток высчитывать, сколько кто сработал. Впоследствии сбор с общественной запашки идет на ссуды беднейшим общинникам, — большею частью безвозвратно, — или же употребляется на поддержку сирот и вдов, или на ремонт деревенской церкви или школы, или, наконец, для уплаты какого-нибудь мирского долга^[330].

Как и можно ожидать от людей, живущих при системе деревенской общины, все работы, входящие, так сказать, в рутину деревенской жизни (починка дорог и мостов, устройство плотин и гатей, осушение болот, оросительные каналы и колодцы, рубка леса, посадка деревьев и т. д.), производятся целыми общинами; точно так же земля сплошь да рядом арендуется сообща, а луга косятя всем миром, — причем на работу выходят старые и малые, мужчины и женщины, как это превосходно описал Л. Н. Толстой^[331]. Подобного рода работы ежедневно происходят повсеместно в России; но при этом, деревенская община вовсе не чуждается современных земледельческих улучшений, когда ей по силам провести соответственные издержки, и когда знание, бывшее до сих пор привилегией богатых, проникает, наконец, в деревенские избы.

Мы уже указали выше, что усовершенствованные плуги быстро распространяются в южной России; но при этом оказывается, что, во многих случаях, именно деревенские общины содействовали этому распространению. Бывало и так, когда плуг был куплен общиной, что, после пробы его на участке общинной земли, крестьяне указывали на необходимые изменения тем, у кого был куплен плуг; или же сами оказывали помощь для устройства кустарной выделки дешевых плугов. В Московском уезде, где быстро пошла покупка крестьянами плугов, толчок был дан теми общинами, которые сообща арендовали землю, и сделано это было для специальной цели улучшения своего земледелия.

На северо-востоке России, в Вятской губернии, небольшие товарищества крестьян, путешествовавших со своими веялками (выделяемыми кустарями в

одном из уездов, изобилующих железом), распространили употребление этих веялок у себя и даже на соседние губернии. Широкое распространение молотилок в Самарской, Саратовской и Херсонской губерниях является результатом деятельности крестьянских товариществ, которые могут купить даже дорогую машину, тогда как отдельному крестьянину такая покупка не под силу. И в то время, как почти во всех экономических трактатах заявляется, что деревенская община обречена на исчезновение, как только трехпольная система будет заменена плодопеременной, мы видим, что в России многие деревенские общины берут на себя инициативу введения именно этой плодопеременной системы, так же как они сделали в Англии. Но прежде, чем перейти к ней, крестьяне обыкновенно отводят часть общинных полей для производства опыта искусственного травосеяния, причем семена покупаются миром^[332]. Если опыт оказывается успешным, крестьяне не затрудняются сделать новый передел полей, чтобы перейти на четырехпольное, пятипольное или даже на шестипольное хозяйство.

Эта система практикуется теперь в *сотнях* деревень Московской, Тверской, Смоленской, Вятской и Псковской губерний^[333]. А там, где возможно для этой цели уделить некоторое количество земли, общины отводят участки для разведения фруктовых насаждений.

Кроме того, общины довольно часто предпринимают постоянные улучшения, как осушение и орошение. Так например, в трех уездах Московской губернии, в значительной степени носящих промышленный характер, в течение последних десяти лет (1880–1890), были выполнены в широких размерах работы по осушению не менее чем в 180–200 различных деревнях, причем работали заступом сами общинники. На другом конце России, в сухих степях Новоузенского уезда, было воздвигнуто общинами больше 1000 плотин для прудов и копаней, и вырыто было несколько сотен глубоких колодцев. В то же время, в одной богатой немецкой колонии, на юго-востоке России, общинники — мужчины и женщины — работали пять недель подряд над возведением плотины, в три версты длиною, для оросительных целей. Да и как могли бы бороться с сухим климатом изолированные люди? И чего могли бы они достичь личными усилиями в ту пору, когда южная Россия страдала от размножения сурков, и всем землевладельцам, богатым и бедным, общинникам и индивидуалистам, пришлось прилагать работу собственных рук, чтобы предотвратить бедствие? Полиция в таких случаях не поможет, и единственным средством является объединение.

Как известно, в царствование Николая II была сделана министром Столыпиным попытка в больших размерах уничтожить общинное землевладение и перевести крестьян на хуторские или отрубные участки. Много усилий и много государственных денег было потрачено на это, — по-видимому, с успехом в некоторых губерниях, особенно на Украине. Но война и последовавшая за нею революция так глубоко потрясли всю жизнь деревни, что в настоящую минуту невозможно дать сколько-нибудь определенный ответ относительно результатов этого государственного похода против общины.

Сказавши так много о взаимной помощи и о поддержке, практикуемых земледельцами «цивилизованных» стран, я вижу, что мог бы еще наполнить

довольно объемистый том примерами, взятыми из жизни сотен миллионов людей, живущих более или менее под начальством или покровительством более или менее цивилизованных государств, но все-таки еще стоящих в стороне от современной цивилизации и современных знаний. Я мог бы описать, например, внутреннюю жизнь турецкой деревни, с ее сетью удивительных обычаев и навыков взаимной помощи. Пересматривая книжки моих выписок касательно крестьянской жизни на Кавказе, я нахожу самые трогательные факты взаимной поддержки. Те же самые обычаи я нахожу в моих заметках об арабской *djemtâa*, афганской *puḡṡa*, о деревнях Персии, Индии и Явы, о неделинной семье китайцев, о кочевьях полуномадов Средней Азии и о номадах далекого Севера. Просматривая заметки, взятые отчасти наудачу из обширнейшей литературы об Африке, я нахожу, что они переполнены подобными же фактами: здесь также созываются «помочи» для уборки посевов, дома также строятся при помощи всех жителей деревни — иногда, чтобы исправить разрушение, причиненное набегом «цивилизованных» разбойников; целые племена в некоторых случаях помогают друг другу в несчастьи, или же покровительствуют путешественникам, и т. д., и т. д. Когда же я обращаюсь к таким трудам, как сводка африканского обычного права, сделанная Post'ом, то я начинаю понимать, почему, несмотря на всю тиранию, на все притеснения, грабежи и набеги, несмотря на междуродовые войны, на королей-людоедов, на шарлатанов-колдунов и жрецов, на охотников за рабами и т. п., население этих стран все-таки не разбежалось по лесам; почему оно сохранило известную степень цивилизации; почему эти «дикари» все-таки остались людьми, не опустились до уровня бродячих семей, подобно вымирающим оранг-утанам. Дело в том, что европейские и американские охотники за рабами, грабители запасов слоновой кости, воинствующие короли, матабельские и мадагаскарские «герои» исчезают, оставляя после себя лишь следы, отмеченные кровью и огнем; но ядро учреждений, обычаев и навыков взаимной помощи, выращенное родом, а в последствии деревенскою общиною, остается, и оно держит людей объединенными в обществах, открытых для прогресса цивилизации и готовых принять ее при наступлении того дня, когда вместо пуль и водки, они начнут получать настоящую цивилизацию.

То же самое можно сказать и о нашем цивилизованном мире. Естественные и вызванные человеком бедствия проходят. Целые населения периодически доводятся до нищеты и голода; самые жизненные стремления безжалостно подавляются у миллионов людей, доведенных до городского пауперизма; мысль и чувства миллионов человеческих существ отравляются учениями, измышленными в интересах немногих. Несомненно, все эти явления составляют часть нашего существования. Но ядро учреждений, обычаев и навыков взаимной помощи продолжает существовать среди этих миллионов людей; оно объединяет их, и люди предпочитают держаться за эти свои обычаи, верования и предания, чем принять учение о войне каждого против всех, предлагаемое им от имени якобы науки, но в действительности ничего общего с наукой не имеющее.

Глава VIII

Взаимная помощь в современном обществе (Продолжение)

Рост рабочих союзов после разрушения гильдий государством Их борьба • Взаимная помощь при стачках • Кооперация • Свободные ассоциации для различных целей • Самопожертвование • Бесчисленные общества для объединенных действий со всевозможными целями • Взаимная помощь среди беднейшего населения городов • Личная помощь

Рассматривая повседневную жизнь деревенского населения Европы, мы видели, что, несмотря на все старания современных государств разрушить деревенскую общину, — жизнь крестьян переполнена навыками и обычаями взаимной помощи и взаимной поддержки; мы нашли, что широко распространенные и имеющие до сих пор серьезное значение остатки общинного владения землей сохранились поныне; и что, как только были сняты, в недавнее время, законодательные препятствия, мешавшие возникновению деревенских ассоциаций, среди крестьянства везде быстро возникла целая сеть свободных объединений для всевозможных экономических целей; причем это молодое движение, несомненно, проявляет стремление восстановить известного рода единение, подобное тому, которое существовало в прежней деревенской общине. Таковы были заключения, к которым мы пришли в предыдущей главе; а потому теперь мы займемся рассмотрением тех учреждений для взаимной поддержки, которые образуются в настоящее время среди промышленного населения.

В течение последних трех столетий условия для выработки таких объединений были так же неблагоприятны в городах, как и в деревнях. Известно, в самом деле, что когда средневековые города были подчинены, в шестнадцатом веке, господству возраставших тогда военных государств, все учреждения, объединявшие ремесленников, мастеров и купцов в гильдиях и в городских общинах, были насильственным образом разрушены. Самоуправление и собственный суд, как в гильдии, так и в городе, были уничтожены; присяга на верность между братьями по гильдии стала рассматриваться, как проявление измены по отношению к государству; имущество гильдий было конфисковано, тем же путем, как и земли деревенских общин; внутренняя и техническая организации каждой области труда попали в руки государства. Законы, делаясь постепенно все суровее, всячески старались помешать ремесленникам объединяться каким бы то ни было образом. В продолжение некоторого времени разрешено было, например, существование торговых гильдий, под условием, что они будут щедро субсидировать королей; терпели также существование некоторых ремесленных гильдий, которыми государство пользовалось, как органами администрации. Некоторые из гильдий последнего рода даже до сих пор еще влачат свое ненужное существование. Но то, что раньше было жизненной силой средневековой жизни и промышленности, давно

уже исчезло под сокрушающею тяжестью централизованного государства.

В Великобритании, которая может быть взята, как наилучший пример промышленной политики современных государств, мы видим, что уже в пятнадцатом веке парламент начал дело разрушения гильдий; но решительные меры против них были приняты лишь в следующем столетии. Генрих VIII не только разрушил организацию гильдий, но кстати конфисковал их имущества — с еще большею бесцеремонностью, говорит Toulmin Smith, — чем он проявил при конфискации монастырских имуществ^[334]. Эдуард VI закончил его дело^[335], и уже во второй половине шестнадцатого столетия мы находим, что парламент взял на себя разрешать все недоразумения между ремесленниками и торговцами, которые раньше разрешались в каждом городе отдельно. Парламент и король не только присвоили себе право законодательства во всех подобных пререканиях, но, имея в виду сопряженные с заграничным вывозом интересы короны, они вскоре начали определять нужное, по их мнению, количество учеников в каждом ремесле, и детальнейшим узаконивать самую технику каждого производства — вес материй, число ниток в дюйме ткани, и т. п. Должно, однако, сказать, что эти старания не увенчались успехом, так как всякого рода споры и технические затруднения, в течение ряда столетий разрешавшиеся соглашением между тесно зависящими друг от друга гильдиями и между вступавшими в союз городами, лежат совершенно вне досягаемости для государственных чиновников. Постоянное вмешательство чиновников не давало ремеслам жить и развиваться, и довело большинство из них до полного упадка; а потому экономисты, уже в восемнадцатом веке, восставая против государственного регулирования производств, выражали вполне справедливое и распространенное тогда недовольство. Уничтожение французскою революциею этого рода вмешательства бюрократии в промышленность приветствовалось, как акт освобождения; и вскоре другие страны последовали примеру Франции.

Государство не могло похвалиться лучшим успехом и в деле определения заработной платы. В средневековых городах, когда, в пятнадцатом веке, начало все резче обозначаться разделение между мастерами и их подмастерьями или поденщиками, подмастерья выставили свои союзы (Gesellenverbände), принимавшие иногда международный характер, против союзов мастеров и купцов. Теперь государство взяло на себя улаживать их споры, и по статуту Елисаветы, 1563 года, на мировых судей была возложена обязанность устанавливать размер заработной платы, так, чтобы она обеспечивала «благоприличное» существование поденщикам и ученикам. Мировые судьи, однако, оказались совершенно беспомощными в деле примирения противоположных интересов хозяев и рабочих, и никак не могли принудить мастеров подчиняться судейским решениям. Закон о заработной плате постепенно обратился, таким образом, в мертвую букву и был отменен в конце восемнадцатого века.

Но в то время, как государство принуждено было отказаться от обязанности устанавливать заработную плату, оно, тем не менее, продолжало сурово запрещать всякого рода соглашения поденщиков и мастеровых, составлявшиеся с целью увеличения заработной платы или поддержания ее на известном уровне. В течение всего восемнадцатого века государство издавало законы, направленные против

рабочих союзов, и в 1799 году оно окончательно запретило всякого рода соглашения рабочих, под угрозой самых суровых наказаний. В сущности, британский парламент лишь следовал в этом случае примеру французского революционного Конвента, который тоже издал в 1793 году драконовский закон против рабочих коалиций; соглашения между известным числом граждан рассматривались революционным собранием, как покушения против верховной власти государства, о котором предполагалось, что оно в равной мере охраняет всех своих подданных.

Дело разрушения средневековых союзов было, таким образом, закончено. Теперь и в городе, и в деревне государство царствовало над мало связанными между собою кучками отдельных личностей, и готово было самыми суровыми мерами предотвращать всякую попытку восстановить какие бы то ни было особливые союзы.

Таковы были условия, при которых стремлению к взаимной помощи приходилось пролагать себе путь в девятнадцатом веке. Понятно, однако, что все такие меры не в силах были уничтожить это вечно-живучее стремление. В продолжение восемнадцатого века рабочие союзы постоянно восстанавливались^[336]. Приостановить их зарождение и развитие не могли и те жестокие преследования, которые начались в силу законов 1797 и 1799 годов. Рабочие пользовались каждым недосмотром в законе и в установленном им надзоре, каждым промедлением со стороны мастеров, обязанных доносить об образовании союзов, чтобы спланировать между собою. Под покровом дружеских сообществ взаимной помощи (friendly societies), похоронных клубов, или же тайных братств, союзы распространялись повсеместно: в ткацкой промышленности, среди рабочих ножевого ремесла в Шеффилде, среди рудокопов; и при этом создавались также могучие федеральные организации, чтобы поддерживать местные союзы во время стачек и преследований^[337]. Ряд рабочих волнений происходил в начале девятнадцатого века, особенно при заключении мира в 1815 году, так что законы 1797 и 1799 гг., наконец, пришлось отменить.

Отмена закона против коалиций или комбинаций (Combination Laws), в 1825 году, дала новый толчок движению. Во всех производствах немедленно были организованы союзы и национальные федерации^[338], а когда Роберт Оуэн начал организацию своего «Великого Консолидированного Национального Союза» профессиональных союзов, то в несколько месяцев ему удалось собрать до полумиллиона членов. Правда, этот период относительной свободы продолжался недолго. Преследования снова начались в тридцатых годах, а в промежуток между 1832 и 1844 годом последовали свирепые судебные приговоры против рабочих организаций со ссылкой на каторгу в Австралию. Оуэновский «Великий Национальный Союз» был распущен, и от попытки международного Союза, т. е. Интернационала, ему пришлось отказаться. По всей стране, как частные предприниматели, так равно и правительство в своих мастерских, начали принуждать рабочих порывать всякие связи с союзами и подписывать «документ», то есть отречение, составленное в этом смысле. Юнионистов (членов рабочих союзов) преследовали массами, и их подводили под действие закона «О хозяевах и их слугах», в силу которого довольно было простого заявления хозяина фабрики о

якобы дурном поведении его рабочих, чтобы массами арестовывать и их осуждать^[339].

Стачки подавлялись самым деспотическим путем, и поразительные по своей суровости приговоры выносились за простое объявление о стачке, или за участие в качестве делегата стачечников, — не говоря уже о подавлениях военным путем малейших беспорядков во время стачек, или об осуждениях, следовавших за частыми проявлениями разного рода насилий со стороны рабочих. Практика взаимной помощи, при подобных обстоятельствах, являлась далеко не легким делом. И все-таки, не смотря на все препятствия, о размерах которых наше поколение не имеет даже должного представления, уже с 1841 года началось возрождение рабочих союзов, и дело объединения рабочих неустанно продолжалось с тех пор, вплоть до настоящего времени; пока, наконец, после долгой борьбы, длившейся уже более ста лет, не было завоевано право вступать в союзы. В 1900 году почти четверть всех рабочих, имевших постоянную работу, т. е. около 1 500 000 человек, принадлежали к рабочим союзам (тред-юнионам)^[340], а теперь число их почти утроилось.

Что же касается других европейских государств, то достаточно сказать, что вплоть до очень недавнего времени, всякого рода союзы преследовались в них, как заговоры; во Франции образование союзов (синдикатов), имеющих более 19 членов, было разрешено законом лишь в 1844 году. Но, не смотря на это, рабочие союзы существуют везде, хотя им часто приходится принимать форму тайных обществ; в то же время распространение и сила рабочих организаций, в особенности «рыцарей труда» в Соединенных Штатах, и рабочих союзов Бельгии ярко проявились в стачках девяностых годов девятнадцатого века.

Необходимо, однако, помнить, что самый факт принадлежности к рабочему союзу, помимо возможных преследований, требует от рабочего довольно значительных пожертвований деньгами, временем и неоплаченной работой, и влечет за собой постоянный риск потерять работу за одну лишь принадлежность к рабочему союзу^[341]. Кроме того, юнионисту постоянно приходится помнить о возможности стачки, а стачка — когда исчерпан весь ограниченный кредит у хлебника и закладчика, выдачи же из стачечного фонда не хватает на пропитание семьи, — ведет за собою голодание детей. Для людей, живущих в близком общении с рабочими, затянувшаяся стачка представляет одно из самых раздирающих сердце зрелищ; легко можно, поэтому вообразить, что значила стачка лет сорок тому назад в Англии, и что она значит еще до сих пор в не особенно богатых частях континентальной Европы. Постоянно, даже в настоящее время, стачка заканчивается полным разорением и вынужденною эмиграциею чуть не целого населения данной местности, причем расстреливание стачечников по малейшему поводу, или даже и без всякого повода, до сих пор представляет самое обычное явление в большинстве европейских государств^[342].

И тем не менее, каждый год, в Европе и Америке бывают тысячи стачек и массовых увольнений с работы, — причем особенно продолжительностью и суровостью отличаются так называемые стачки «по симпатии», вызываемые желанием рабочих поддержать выброшенных с работы товарищей, или же отстаивать права своих союзов. И в то время как реакционная часть прессы всегда бывает

склонна объяснять стачки «устрашением», люди, живущие среди стачечников, с восхищением говорят о практикуемой между ними взаимной помощи и поддержке. Многие, вероятно, слышали о колоссальной работе, выполнявшейся рабочими-добровольцами для организации помощи и раздачи пищи во время последней большой стачки лондонских доковых рабочих в 80-х годах, или о рудокопах, которые, пробывши сами без работы в течение многих недель, тотчас же начали делать взносы, в размере четырех шиллингов в неделю, в стачечный фонд, как только опять стали на работу; или о вдове рудокопа, которая, во время Йоркширских рабочих волнений 1894 г., внесла все сбережения своего покойного мужа в стачечный фонд; о том, как во время стачки последний кусок хлеба всегда делился между соседями; о редстокских рудокопах, обладающих обширными огородами, которые пригласили 400 бристольских сотоварищей брать из этих огородов капусту, картофель и т. д. Все газетные корреспонденты, во время крупной стачки рудокопов в Йоркшире в 1894 году, знали массу подобных фактов, хотя далеко не все эти корреспонденты осмеливались писать о подобных неподходящих «пустяках» на страницах своих респектабельных газет^[343].

Профессиональный рабочий союз не составляет, однако, единственной формы, в которой выливается потребность рабочего во взаимной поддержке. Помимо рабочих союзов, имеются еще политические ассоциации, деятельность которых многими рабочими рассматривается, как более ведущая к общему благосостоянию, чем профессиональные союзы, которые теперь ограничиваются большею частью одними узкими целями. Конечно, простую принадлежность к политической корпорации нельзя еще рассматривать, как проявление стремления ко взаимной помощи. Политика, как известно, представляет именно такую область, где себялюбивые люди вступают в самые запутанные сочетания с людьми, одушевленными общественными стремлениями. Но всякий опытный политический деятель знает, что все великие политические движения поднимались именно из-за широких и часто отдаленных целей, причем самыми могучими из этих движений были те, которые вызывали наиболее бескорыстный энтузиазм.

Все великие исторические движения носили этот характер, а для нашего поколения примером этого рода движений служит социализм. «Дело оплаченных агитаторов» — таков обычный припев тех, кто вовсе не знаком с этим движением. Но в действительности, — говоря лишь о фактах, лично мне известных, — если бы я в течение последних тридцати пяти лет вел дневник и заносил бы в него все известные мне примеры преданности и самопожертвования, на которые мне приходилось наталкиваться в социалистическом движении, — у читателя такого дневника слово «героизм» не сходило бы с уст. Но люди, о которых мне приходилось бы говорить в дневнике, вовсе не были героями: это были средние люди, — только вдохновленные великой идеей. Каждая социалистическая газета, — а их в одной Европе насчитываются многие сотни, — представляет ту же самую историю долгих лет самопожертвования, без малейшей надежды на какую-либо материальную выгоду, а в громадном большинстве случаев даже без удовлетворения личного честолюбия, если таковое имеется. Я видал семьи, которые жили, не зная, будет ли у них завтра кусок хлеба, — мужа бойкотировали кругом, в маленьком городке, за участие в газете, а жена поддерживала семью швейной работой, — и

подобное положение продолжалось не месяцы, а годы, пока, наконец, изнемогшая семья не уходила, без слова упрека, говоря новым товарищам: «продолжайте; мы больше не в силах держаться!» Я видал людей, умиравших от чахотки и знавших это, которые, тем не менее, бегали в слякоти, под снегом, чтобы устраивать митинги, и сами говорили на митингах за несколько недель до смерти, и наконец, уходя в госпиталь, говорили нам: «Ну, друзья, моя песенка спета: доктора решили, что мне осталось жить всего несколько недель. Скажите товарищам, что я буду счастлив, если кто пойдет проведать». Мне известны факты, которые сочли бы с моей стороны «идеализацией», если бы я рассказал о них моим читателям; и даже самые имена этих людей, едва известные за пределом тесного кружка друзей, вскоре будут забыты, когда и их друзья их также отойдут в небытие.

В сущности, я не знаю, чему больше удивляться: безграничной ли преданности этих немногих, или общей сумме мелких проявлений преданности со стороны масс, затронутых движением. Продажа каждого десятка номеров рабочей газеты, каждый митинг, каждая сотня голосов, поданная за социалистов на выборах, являются результатом такой массы энергии и таких жертв, о которых люди, стоящие вне движения, не имеют даже ни малейшего представления. А так, как теперь действуют социалисты, действовала в прошлом каждая народная и прогрессивная партия, политическая и религиозная. Весь прогресс, совершенный нами в прошлом, является результатом работы подобных людей и подобной же преданности.

Кооперацию, в особенности в Великобритании, часто описывают, как «индивидуализм на акциях», и несомненно, что в настоящем своем виде она легко может содействовать развитию кооперативного эгоизма, не только по отношению к обществу вообще, но и в среде самих кооператоров. Между тем достоверно известно, что вначале этому движению был присущ глубокий характер взаимной помощи. Даже в настоящее время наиболее преданные сторонники этого движения проникнуты убеждением, что кооперация ведет человечество к высшей, гармонической форме экономических отношений; и, побывавши в некоторых местностях севера Англии, где кооперация особенно развита, нельзя не прийти к заключению, что значительное количество участников этого движения держится именно такого мнения. Большинство из них потеряло бы всякий интерес к кооперативному движению, если бы у них исчезла упомянутая сейчас уверенность. Нужно также сказать, что за последние годы среди кооператоров начали проявляться более широкие идеалы общего благосостояния и солидарности производителей. Нельзя отрицать также проявляющегося среди них стремления, направленного к улучшению отношений между владельцами кооперативных производств и их рабочими.

Значение кооперации в Англии, Голландии и Дании хорошо известно, а в Германии, в особенности на Рейне, кооперативные общества уже в настоящее время являются крупною силою в промышленной жизни^[344]. Но, быть может, Россия представляет наилучшее поле для изучения кооперации в бесконечно разнообразных формах. В России кооперация, т. е. артель, выросла естественным образом; она унаследована от средних веков, и в то время, как формально образовавшемуся кооперативному обществу пришлось бы бороться с кучею законных затруднений и с подозрительностью бюрократии, неоформленный вид кооперации — *артель* —

представляет самую сущность русской крестьянской жизни. Вся история «созидания России» и колонизация Сибири представляются в действительности историей охотничьих и промышленных артелей, вслед за которыми потянулись деревенские общины. Теперь мы находим артель повсюду: в каждой группе крестьян, отправляющихся из одной и той же деревни на заработки на фабрику, во всех строительных ремеслах, среди рыбаков и охотников, среди арестантов на пути в Сибирь и беглецов из Сибири, среди железнодорожных носильщиков, биржевых артельщиков, таможенных рабочих, во многих из кустарных производств (дающих занятие 7 000 000 людей) и т. д. Словом, сверху донизу, во всем рабочем мире, мы находим артели: постоянные и временные, для производства и для потребления, во всевозможных видах. Вплоть до настоящего времени рыболовные участки на реках, впадающих в Каспийское море, арендуются громадными артелями; река Урал принадлежит всему уральскому казачьему войску, которое делит и переделывает свои рыболовные участки — едва ли не самые богатые в мире — между казачьими деревнями, без всякого вмешательства со стороны властей. На Урале, на Волге и на всех озерах северной России рыбная ловля всегда производится артелями. (См. Приложение XIX).

Рядом с этими постоянными организациями имеется также бесчисленное множество временных артелей, составляющихся для всевозможных целей. Когда 10–20 человек крестьян из одной местности отправляются в большой город на заработки, в качестве ли ткачей, плотников, каменщиков, судовщиков и т. д., они всегда составляют артель. Они сообща нанимают помещение и стряпку (очень часто жена одного из них занимается стряпней), выбирают старосту и питаются сообща, причем каждый платит артели за помещение и пищу. Партия арестантов на пути в Сибирь всегда поступает таким же образом, и выбранный ею староста является официально признанным посредником между арестантами и начальником военного конвоя, сопровождающего партию. В каторжных тюрьмах арестанты имеют такую же организацию. Железнодорожные носильщики, посыльные на бирже, таможенные артельщики и городские посыльные, связанные круговой порукой, пользуются такою репутациею, что купцы доверяют члену артели посыльных любую сумму денег. В строительном деле образуются артели, насчитывающие иногда десяток, а иногда и несколько членов, причем крупные подрядчики по постройке домов и железных дорог всегда предпочитают иметь дело с артелью, чем с отдельно нанятыми рабочими. Попытки, сделанные военным министром в 1890-х годах, чтобы вести дело непосредственно с производительными артелями, образовавшимися ради специальных производств среди кустарей, и давать им заказы на сапоги и всякого рода медные и железные изделия для обмундировки солдат, судя по отчетам, дали вполне удовлетворительные результаты; а отдача одного казенного завода (Воткинского) в аренду артели рабочих сопровождалась одно время положительным успехом.

Мы можем, таким образом, видеть в России, как древние средневековые учреждения, избежавшие вмешательства государства (в их неоформленных проявлениях), целиком дожили вплоть до настоящего времени и приняли самые разнообразные формы, в соответствии с требованиями современной промышленности и торговли. Что же касается до Балканского полуострова,

Турецкой империи и Кавказа, то старые гильдии удержались здесь в полной силе. Сербские «эснафы» сохранили вполне средневековый характер: в их состав входят как мастера, так и поденные рабочие, они регулируют промыслы и являются институциями взаимной поддержки, как в области труда, так и на случай болезни^[345]; в то же время грузинские «амкари» Кавказа и в особенности Тифлиса, не только выполняют обязанности профессиональных союзов, но еще оказывают значительное влияние на городскую жизнь^[346].

В связи с кооперацией мне, может быть, следовало бы также упомянуть о существующих в Англии дружеских обществах взаимной поддержки (friendly societies), союзах «чудаков» (odd-fellows), деревенских и городских клубах для оплаты медицинской помощи, о клубах для похорон, или для приобретения одежды, о маленьких клубах, часто устраиваемых среди фабричных девушек, вносящих еженедельно по несколько пенсов и затем разыгрывающих между собою сумму в двадцать шиллингов (10 руб.), которая дает возможность сделать какую-нибудь более или менее существенную покупку, и о многих других обществах подобного рода. Вся жизнь трудящегося народа в Англии пропитана такими учреждениями. Во всех этих обществах и клубах можно наблюдать немалый запас веселой общительности и товарищества, хотя за «кредитом и дебетом» каждого члена тщательно наблюдают. Но помимо этих учреждений, имеется столько союзов, основанных на готовности жертвовать, если понадобится, временем, здоровьем и жизнью, что мы можем из их деятельности почерпнуть примеры наилучших форм взаимной поддержки.

На первом месте следует упомянуть здесь об обществе спасения на водах в Англии и о подобных же учреждениях в остальной Европе. Английское общество имеет свыше 300 спасательных лодок вдоль берегов Англии, и оно имело бы их вдвое больше, если бы не бедность рыбаков, которые сами не всегда могут покупать дорогие спасательные лодки. Экипаж этих лодок всегда составляется из добровольцев, готовность которых жертвовать жизнью для спасения совершенно неизвестных им людей подвергается каждый год суровому испытанию; каждую зиму несколько храбрейших из них действительно погибают в волнах. И если вы спросите этих людей, что побудило их рисковать жизнью, иногда даже при таких условиях, когда по-видимому не было никаких шансов на успех, они, вероятно, ответят вам рассказом в роде следующего, который я слышал на южном берегу. Над Ла-Маншем пронеслась страшная снежная буря; она бушевала на плоских песчаных берегах в Кенте, где расположена была крохотная деревушка, и на пески возле деревушки море выбросило маленькое одномачтовое судно, нагруженное апельсинами. В таких мелких водах держат только плоскодонную спасательную лодку упрощенного типа, и пуститься на ней в такую бурю значило идти на верную гибель, — и, однако, люди решились и пошли. Целые часы боролись они против бурана; два раза лодка опрокинулась. Один из ее гребцов утонул, остальные были выброшены на берег. Одного из последних, — интеллигентного таможенного стражника, — нашли на следующее утро, сильно ушибленного, полузамерзшего в снегу. Я спросил его, как они решились на такую отчаянную попытку? — «Я и сам не знаю, — отвечал он, — вон там, в море, гибли люди, вся деревня стояла на берегу, и все говорили, что пуститься в море было бы безумием, что мы никогда не

справимся с прибоем. Мы видели что их было на судне пять или шесть человек, уцепившихся за мачту и подававших отчаянные сигналы. Все чувствовали, что надо что-нибудь предпринять, но что могли мы сделать? Прошел час, другой, а мы все стояли на берегу; всем очень тяжело было на душе. Потом вдруг нам послышалось, что сквозь завывания бури донеслись их вопли... с ними был мальчик... Мы больше не могли вынести напряжения; все сразу сказали: „надо выходить!“ Женщины говорили то же; они смотрели бы на нас, как на трусов, если бы мы остались, — хотя на следующий день они же называли нас дураками за нашу попытку. Как один человек, мы все бросились к спасательной лодке и отправились. Лодку опрокинуло, но нам удалось снова поставить ее... Хуже всего было, когда несчастный N тонул уцепившись за веревку от лодки, и мы никак не могли ему помочь. Затем нас захлестнуло огромной волной, лодку опять опрокинуло, и нас выбросило всех на берег. Люди с тонувшего судна были спасены лодкою из Донгенэса, а нашу лодку перехватили за много миль к западу. Меня нашли наутро в снегу».

То же чувство двигало и рудокопов долины Ронды, когда они спасали своих товарищей из шахты, подвергнувшейся наводнению. Им пришлось пробиваться чрез каменноугольный пласт, толщиной в 96 футов, чтобы добраться до заживо погребенных товарищей. Но когда уже оставалось пробить всего девять футов, их охватил рудничный газ. Лампы погасли, и рудокопам пришлось отступить. Работать при таких условиях — значило подвергаться риску каждую секунду быть взорванным и окончательно погубить тех. Но постукивания погребенных людей все еще слышались; эти люди были живы и зывали о помощи, и несколько рудокопов добровольно вызвались спасти товарищей, рискуя жизнью. Когда они спускались в шахту, жены сопровождали их безмолвными слезами — но ни одна не произнесла ни слова, чтобы остановить их.

Такова сущность человеческой психологии. Пока люди не опьянены до безумия битвой, они «не могут слышать» призывов о помощи, не отвечая на них. Сначала скажется чье-либо личное геройство, а вслед за героем все чувствуют, что они должны последовать его примеру. Ухищрения ума не могут противостоять *чувству взаимной помощи*, ибо чувство это воспитывалось в продолжение многих тысяч лет человеческою общественною жизнью и сотнями тысяч лет до-человеческой жизни в сообществах животных.

Однако нас спросят, может быть: «Но как же могли потонуть недавно люди в Серпентайне, в пруду, посреди лондонского Гайд-Парка, в присутствии толпы зрителей, из которых никто не бросился им на помощь?» Или же: «Как мог быть оставлен без помощи ребенок, упавший в воду в Риджентс-Парке, тоже в присутствии многолюдной праздничной толпы, и был спасен лишь благодаря присутствию духа одной молодой девушки, прислуги соседнего дома, пославшей за ним в воду ньюфаундлендскую собаку, водолаза?» На эти вопросы ответ простой. Человек является результатом не только унаследованных им инстинктов, но и воспитания. У рудокопов и моряков, благодаря их общим занятиям и ежедневному соприкосновению друг с другом, создается чувство солидарности, а окружающие их опасности воспитывают храбрость и смелую находчивость. В городах же, напротив, отсутствие общих интересов воспитывает безучастность, а храбрость и находчивость, редко находящие применение, исчезают, или принимают иное

направление.

Кроме того, предания о геройских подвигах в шахтах и на море живут в деревушках рудокопов и рыбаков, окруженные поэтическим ореолом. Но какие же предания могут быть у пестрой лондонской толпы? Всякую традицию, являющуюся у нее общим достоянием, пришлось создавать литературою, или словом; но литературы, соответствующей деревенским сказаниям, почти не существует. Духовенство же, в своих проповедях, так старается доказать греховность человеческой природы и сверхъестественное происхождение всего хорошего в человеке, что оно в большинстве случаев проходит молчанием те факты, которых нельзя выставить в качестве примеров вдохновения, или благодати, ниспосланных свыше. Что же касается до «светских» писателей, то их внимание, главным образом, направлено лишь на один вид героизма, а именно — героизма, выдвигающего идею государства. Поэтому они впадают в восхищение пред римским героем, или пред солдатом в битве, и проходят мимо героизма рыбака, почти не обращая на него никакого внимания. Поэт и живописец бывают, правда, поражены красотой человеческого сердца, но лишь в редких случаях знакомы они с жизнью беднейших классов; и если они могут еще воспевать или изображать, в условной обстановке, римского, или военного героя, они оказываются беспомощными, когда пытаются изобразить героя, действующего в той скромной обстановке народной жизни, которая им чужда. Немудрено поэтому, если большинство подобных попыток неизменно отличается напыщенностью и риторичностью^[347].

Бесчисленное количество обществ, клубов и союзов для развлечений, для научных работ и исследований, для различных образовательных целей и т. п., распространившихся за последнее время, и их так много, что потребовались бы многие тома для простой их описи. Все они представляют проявления той же вечно-действующей силы, призывающей людей к объединению и взаимной поддержке. Некоторые из этих обществ, подобно обществам молодых выводков птиц различных видов, собирающихся осенью, преследуют единственную цель — совместное наслаждение жизнью. Чуть ли не каждая деревня в Англии, Швейцарии, Германии и т. д. имеет свои общества для игры в крикет, футбол (ножной мяч), теннис или кегли, или же голубиные, музыкальные и певческие клубы. Затем есть обширные, национальные общества, отличающиеся особенной многочисленностью членов, как, например, общество велосипедистов, которое в последнее время развилось в необычайно широких размерах. Хотя у членов этого союза нет ничего общего, кроме их любви к езде на велосипеде, тем не менее среди них успело образоваться своего рода франкмасонство в целях взаимной помощи, особенно в захолустных местностях, еще свободных от наплыва велосипедистов. На Союзный Клуб Велосипедистов в какой-нибудь деревушке члены союза смотрят, до известной степени, как на собственный дом, и в лагере велосипедистов, собираемом каждый год в Англии, нередко устанавливаются дружеские крепкие отношения. Kegelbruder, т. е. кегельные общества в Германии, представляют такой же союз; точно так же и гимнастические общества (насчитывающие до 300 000 членов в Германии), неоформленные содружества гребцов на французских реках, яхт-клубы и т. п. Подобные общества, конечно, не изменяют экономического строя общества, но они, в особенности в небольших городах, помогают сглаживанию социальных различий;

а так как все такие общества стремятся объединяться в крупные национальные и международные федерации, то уже этим они помогают росту личных дружественных отношений между всякого рода людьми, рассеянными в различных частях земного шара.

Альпийские клубы, союз для охраны охоты (Jagdschutzverein) в Германии, имеющие свыше 100 000 членов, — охотников, образованных лесничих, зоологов и просто любителей природы, — а равным образом Интернациональное Орнитологическое Общество, членами которого состоят зоологи, животноводы и простые крестьяне в Германии, имеют тот же самый характер. Они успели, в течение немногих лет, не только выполнить огромную общепользную работу, которая под силу лишь крупным обществам (составление географических карт, устройство спасательных станций в горах и проведение горных дорог; изучение жизни животных, вредных насекомых, переселений птиц и т. п.), но также они создали новые связи между людьми. Два альпиниста различных национальностей, встретившись в спасательной хижине, устроенной клубом на вершине Кавказских гор, или же профессор и крестьянин-орнитолог, прожившие под одною крышею, не будут уже чувствовать себя совершенно чуждыми друг другу людьми. А «общество дяди Тоби» в Ньюкастле, убедившее свыше 300 000 мальчиков и девочек никогда не разрушать птичьих гнезд и быть добрыми ко всем животным, несомненно сделало гораздо больше для развития человеческих чувств и вкуса к изучению естественных наук, чем масса всякого рода проповедников и большинство наших школ.

Даже в настоящем кратком очерке мы не можем пройти молчанием тысячи научных, литературных художественных и образовательных обществ. Конечно, надо сказать, что до настоящего времени научные корпорации, находясь под контролем государства и часто получая от него субсидии, обыкновенно вращались в очень тесном круге, так что на ученые общества карьеристы часто смотрят как на средство проникнуть в ряды оплачиваемых государством ученых, тогда как трудность стать членом некоторых привилегированных обществ, несомненно, ведет только к возбуждению мелочной зависти. Но, при всем том, несомненно, что подобные общества сглаживают до известной степени классовые различия, создающиеся по рождению или по принадлежности к тому или другому сословию, а также к той или другой политической партии или вероисповеданию. В маленьких же, глухих городах, научные, географические, музыкальные общества и т. п., особенно те, которые вызывают деятельность более или менее обширного круга любителей, становятся маленькими центрами, своего рода звеном, связующим маленький городок с обширным миром, а также — местом, где люди, занимающие самые различные положения в общественной жизни, встречаются на равной ноге. Для того, чтобы оценить значение подобных центров, надо познакомиться с ними, например, в Сибири.

Наконец, одно из самых важных проявлений того же духа представляют бесчисленные общества, имеющие целью распространение образования, и которые только теперь начинают разрушать монополию церкви и государства в этой, в высшей степени важной отрасли жизни. О них можно смело сказать, что в самом непродолжительном времени эти общества приобретут руководящее значение в области народного образования. «Фребелевским союзам» мы уже обязаны системой

детских садов, а целому ряду оформленных обществ мы обязаны высокой степенью, какой достигло женское образование в России^[348]. Что же касается до различных педагогических обществ в Германии, то, как известно, им принадлежит огромная доля влияния в выработке современных методов обучения в народных школах. Подобные ассоциации также являются наилучшею поддержкою для учителей. Каким несчастным чувствовал бы себя без их помощи деревенский учитель, изнемогающий под бременем плохо оплачиваемого труда!^[349]

Все эти ассоциации, общества, братства, союзы, институты и т. д., которые можно насчитывать десятками тысяч в одной Европе, причем каждый из них представляет собою огромную массу добровольной, бескорыстной, бесплатной или очень скудно оплачиваемой работы — не являются ли все они проявлениями, в бесконечно-разнообразных формах, все той же, вечно живущей в человечестве, потребности взаимной помощи и поддержки? В течение почти трех столетий людям препятствовали протянуть друг другу руки, даже ради литературных, художественных и образовательных целей. Общества могли образовываться лишь с ведома и под покровительством государства или церкви, или же должны были существовать в качестве тайных сообществ, подобных франкмасонам; но теперь, когда это сопротивление государства надломлено, они возникают повсеместно, охватывая самые разносторонние ветви человеческой деятельности. Они начинают приобретать международный характер, и несомненно способствуют — в такой степени, какую мы еще не вполне оценили, — ломке международных преград, воздвигнутых государствами. Несмотря на зависть, несмотря на ненависть, вызываемую привидениями разлагающегося прошлого, сознание международной солидарности растет, как среди отдельных передовых людей, так и среди рабочих масс, с тех пор как они также завоевали себе право международных сношений; и нет никакого сомнения, что этот дух растущей солидарности уже оказал некоторое влияние на предотвращение войны между европейскими государствами в течение последних тридцати лет. А после жестокого урока, пережитого Европою и отчасти Америкой за последнюю пятилетнюю войну, нет никакого сомнения, что голос здравого рассудка, наложив узду на эксплуатацию одних народов другими, надолго сделает другую подобную войну невозможною.

Наконец, здесь следует упомянуть благотворительные общества, которые в свою очередь представляют целый своеобразный мир, так как нет ни малейшего сомнения, что громадным большинством членов этих обществ двигают те же чувства взаимной помощи, которые присущи всему человечеству. К сожалению, наши религиозные учителя людей предпочитают приписывать подобным чувствам сверхъестественное происхождение. Многие из них пытаются утверждать, что человек не может сознательно вдохновляться идеями взаимной помощи, пока он не будет просвещен учениями той специальной религии, представителями которой они состоят, — и вместе со св. Августином, большинство из них не признает существования подобных чувств у «язычников-дикарей». Кроме того, в то время как первобытное христианство, подобно всем другим зарождавшимся религиям, было призывом к широко-человечным чувствам взаимной помощи и симпатии, свойственным, как мы видели, всем племенам и народам, христианская Церковь усердно помогала Государству разрушать все существовавшие до нее, или

развившиеся вне ее учреждения взаимной помощи и поддержки. Вместо *взаимной помощи*, которую каждый дикарь рассматривает, как выполнение *долга* к своим сородичам, христианская Церковь стала проповедовать *милосердие*, составляющее, по ее учению, *добродетель*, *вдохновляемую свыше*, — добродетель, которая, в силу такого толкования, приписывает известного рода превосходство дающему над получающим, вместо сознания общечеловеческого равенства, в силу которого *взаимная помощь обязательна*. С этим ограничением и без всякого намерения оскорблять тех, кто причисляет себя к избранным, в то время как выполняет требования простой человечности, мы, конечно, можем рассматривать громаднейшее количество религиозных благотворительных обществ, разбросанных повсюду, как проявление того же глубокого стремления человека к взаимной помощи.

Все эти факты показывают, что безрассудное преследование личных интересов, с полным забвением нужд других людей, вовсе не представляет главной, характерной черты современной жизни. Наряду с этим себялюбивым течением, которое горделиво требует признания за собой руководящего значения в человеческих делах, мы замечаем упорную борьбу, которую ведет сельское и рабочее население с целью *снова ввести постоянные учреждения взаимной помощи и поддержки*. Мало того: мы открываем во всех классах общества широко распространенное движение, стремящееся к установлению бесконечно-разнообразных, более или менее постоянных учреждений для той же самой цели. Но когда от общественной жизни мы переходим к частной жизни современного человека, мы открываем еще один, чрезвычайно широкий, мир взаимной помощи и поддержки, мимо которого большинство социологов проходит, не замечая его, — вероятно потому, что он ограничен тесным кругом семьи и личной дружбы^[350].

При современной системе общественной жизни, все узы единения между обитателями одной и той же улицы или «соседства» исчезли. В богатых кварталах больших городов люди живут рядом, даже не зная, кто их соседи. Но в тесно населенных улицах и переулках тех же городов все прекрасно знают друг друга и находятся в постоянном соприкосновении. Конечно, в переулках, как и везде, дело не обходится без мелочных ссор, но вместе с тем вырастают и сближения, соответственно личным склонностям, и в пределах этих сближений практикуется взаимная помощь в таких размерах, о которых более богатые классы не имеют и представления. Если, например, мы присмотримся к детям бедного квартала — играющим на лужайке, на улице, или на бывшем кладбище (в Лондоне это видно нередко), мы тотчас заметим, что между этими детьми существует тесный союз, несмотря на случающиеся драки, причем этот союз предохраняет детей от множества всяких несчастий. Стоит какому-нибудь малышу наклониться с любопытством над открытым отверстием водосточной трубы, — и сотоварищ по игре уже кричит ему: «Уходи — там в дырке сидит лихорадка!» — «Не лезь через эту стену; если упадешь на ту сторону, поезд раздавит тебя!» — «Не подходи близко к канаве!» — «Не ешь этих ягод: яд — умрешь». Таковы первые уроки, получаемые малышом, когда он присоединяется к сотоварищам на улице. Сколько детей, местом игр которых служат улицы возле недавно построенных «образцовых рабочих жилищ» или набережные и мосты каналов, погибли бы под колесами телег, или в

мутной воде каналов, если бы между детьми не существовало этого рода взаимной помощи! А если какой-нибудь мальчуган все-таки попадет в неогороженную канаву, или девочка свалится в канал, то уличная орда малышей поднимает такой крик, что все соседство сбегается на помощь. Все это я говорю по личному наблюдению.

Затем идет союз матерей. — «Вы не можете себе представить, — писала мне недавно одна английская женщина-врач, живущая в бедном квартале Лондона, которую я просил сообщить мне свои впечатления, — вы не можете себе представить, как много они помогают друг другу. Если, какая-нибудь женщина не приготовила, или не могла приготовить, нужного для ожидаемого ребенка, — а как часто это случается! — то все соседки приносят что-нибудь для новорожденного. В то время одна из соседок всегда берет на себя заботу о детях, а другая о хозяйстве, пока роженица остается в постели». Это — обычное явление, о котором упоминают все, кому приходилось жить среди бедняков в Англии, да и вообще среди бедного городского населения. Тысячами мелких услуг матери поддерживают друг друга и заботятся о чужих детях. У дамы, принадлежащей к богатым классам, требуется известная выдержка — к лучшему или к худшему, пусть сами судят, — чтобы пройти на улице мимо дрожащих от холода и голодных детей, не замечая их. Но матери из бедных классов не обладают такой выдержкой. Они не могут выносить вида голодного ребенка: они *должны* накормить его; так они и делают. «Когда дети, идущие в школу, просят хлеба, они редко или скорее никогда не получают отказа», — пишет мне одна приятельница, работавшая в течение нескольких лет в Уайтчэпэле, в связи с одним рабочим клубом. Впрочем, лучше будет привести несколько выдержек из ее письма: «Смотреть за больным соседом или соседкою, без цели какого бы то ни было вознаграждения — общее правило среди рабочих. Равным образом, когда женщина, имеющая маленьких детей, уходит на работу, за ними всегда присматривает одна из соседок.

Если бы рабочие не помогали друг другу, они совершенно не могли бы существовать. Я знаю рабочие семьи, которые постоянно помогают одна другой — деньгами, пищей, топливом, уходом за маленькими детьми, в случаях болезни и в случаях смерти в семье.

Среди бедняков „мое“ и „твое“ гораздо менее различается, чем у богатых. Ботинки, платье, шляпы и т. д., словом — что понадобится в данный момент — постоянно одолжаются друг у друга, а равным образом всякого рода принадлежности хозяйства.

Минувшей зимой (1894 года) члены Объединенного Радикального клуба собрали в своей среде небольшую сумму денег и начали, после Рождества, снабжать даровым супом и хлебом детей, ходивших в школу. Постепенно число детей, которых они кормили, дошло до 1800 человек. Пожертвования приходили извне, но вся работа лежала на плечах членов клуба. Некоторые из них, — те, кто в то время был без работы, — приходили в четыре часа утра, чтобы мыть и чистить овощи; пять женщин приходили в 9 или 10 часов утра (покончив со своей работой по хозяйству), чтобы присмотреть за варкой пищи, и они оставались до шести или до семи часов вечера, чтобы перемыть посуду. В обеденное время, между двенадцатью и половиной первого, приходили 20–30 человек рабочих помогать при раздаче супа,

для чего им приходилось урывать от собственного обеденного времени. Такая работа продолжалась два месяца и все время выполнялась совершенно бесплатно».

Моя приятельница упоминает также о различных частных случаях, из которых я привожу наиболее типичные: «Девочка, Анюта В., была отдана своею матерью на хлеба одной старушке в Уильмотской улице. Когда мать Анюты умерла, старушка, сама жившая в большой бедности, воспитывала ребенка, хотя никто не платил ей за это ни копейки. Когда старушка тоже умерла, ребенок, которому было тогда пять лет, остался, за время болезни приемной матери, без всякого присмотра и ходил в лохмотьях; но его приютила тогда жена сапожника, у которой и без того было уже шесть человек детей. Позднее, когда сапожник захворал, всем им приходилось голодать».

«На днях М., мать шести детей, ухаживала за соседкой М-г во время ее болезни и взяла старшего ребенка к себе... Но нужны ли вам такие факты? Они составляют самое обычное явление... Я знакома также с г-жой Д. (адрес такой-то), у которой имеется швейная машина. Она постоянно шьет на ней для других, не принимая никакого вознаграждения за работу, хотя ей приходится смотреть за пятью детьми и мужем... И т. д.»

Для каждого, кто имеет хотя бы малейшее представление о жизни рабочих классов, само собой очевидно, что если бы в их среде не практиковалась в широких размерах взаимная помощь, они ни за что не могли бы справиться с теми затруднениями, которыми так полна их жизнь. Только благодаря сочетанию счастливых случайностей может рабочая семья прожить жизнь, не пройдя чрез такие тяжелые обстоятельства, как те, которые описаны были ленточным ткачом Джозефом Гётриджем в своей автобиографии^[351]. И если не все рабочие опускаются, при подобных обстоятельствах, до последних ступеней нищеты, они обязаны этим именно взаимной помощи, практикующейся между ними. Гётриджу помогла старушка няня, сама жившая на краю нищенства, как раз в ту минуту, когда его семья приближалась к роковой развязке: она достала им в кредит хлеба, угля и другие предметы первой необходимости. В других случаях помогал кто-нибудь другой, или же соседи складывались, чтобы вырвать семью из когтей нищеты. Но если бы бедняки не приходили на помощь беднякам, — в какой громадной пропорции увеличилось бы число тех, кто доходит до ужасающей, уже непоправимой нищеты!^[352]

Известный в Англии своею кампаниею против страховки гнилых, негодных кораблей, посылавшихся в море, в надежде, что они потонут, чтобы получить за них страховую премию, — Самуэль Плимсоль, проживши некоторое время среди бедноты, тратя на себя только по 7 шил. 6 пенс. (3 р. 50 к.) в неделю, принужден был признать, что те добрые чувства к бедным, с которыми он начал этого рода жизнь, «перешли в чувства сердечного уважения и восхищения», когда он увидал, насколько отношения между бедными проникнуты взаимной помощью и поддержкою, и когда он изучил те простые способы, которыми оказывается этого рода поддержка. После многолетнего опыта он пришел к заключению, что «если хорошенько подумать, то окажется, что подобные люди составляют огромное большинство рабочих классов»^[353]. Что же касается до воспитания сирот, даже

самыми бедными семьями соседей, то это представляет такое широко распространенное явление, что его можно считать общим правилом; так, после взрыва газов в копиях Warren Vale и Lund Hill, оказалось, что «почти одна треть убитых рудокопов, по исследованиям комиссии, поддерживали, помимо своих жены и детей, еще и других бедных родственников». — «Подумали ли вы, — прибавляет к этому Плимсоль, — что значит этот факт? Я не сомневаюсь, что подобное явление не редкость среди богатых, или даже достаточных людей. Но подумайте хорошенько о разнице». И действительно, стоит подумать над тем, что значит для рабочего, зарабатывающего 16 шиллингов (менее 8 р.) в неделю и прокармливающего на эти скудные средства жену и иногда пять-шесть человек детей, израсходовать один шиллинг для помощи вдове товарища, или пожертвовать полшиллинга на похороны такого же бедняка, как он сам. Но подобные жертвования — обычное явление среди рабочих любой страны, даже в случаях гораздо более повседневных, чем смерть, а помощь работою — самое заурядное явление в их жизни^[354].

Та же практика взаимной помощи и поддержки наблюдается, конечно, и среди более богатых классов, с указанною Плимсомем «слоеватостью». Конечно, когда подумаешь о жестокости, которую более богатые работодатели проявляют по отношению к рабочим, то начинаешь чувствовать склонность весьма недоверчиво относиться к человеческой природе. Многие, вероятно, еще помнят о негодовании, возбужденном в Англии хозяевами рудников, во время большой Йоркширской стачки в 1894 году, когда они стали преследовать судом стариков-углекопов за соби́рание угля в заброшенной шахте. И, даже оставляя в стороне острые периоды борьбы и гражданской войны, когда, например, тысячи пленных рабочих были расстреляны после падения парижской Коммуны, — кто может читать без содрогания разоблачения королевских комиссий о положении рабочих в сороковых годах девятнадцатого века в Англии, или же слова лорда Шафтсбэри об «ужасающем расточении человеческой жизни на фабриках, где работали дети, взятые из рабочих домов, а не то и просто купленные по всей Англии, чтобы продавать их потом на фабрики»^[355]. Кто может читать все это, не поражаясь низостью, на какую способен человек в погоне за наживой? Но должно сказать, что было бы ошибкой отнести подобного рода явления всецело к преступности человеческой природы. Разве, вплоть до недавнего времени, люди науки и даже значительная часть духовенства не распространяли учений, внушавших недоверие, презрение и почти ненависть к более бедным классам? Разве люди науки не говорили, что со времени уничтожения крепостного права в бедность могут впасть лишь люди порочные? И как мало нашлось представителей церкви, которые осмелились бы порицать этих детоубийц, между тем как большинство духовенства учило, что страдания бедняков и даже рабство негров — исполнение воли Божественного Промысла! Разве самый раскол в Англии (нонконформизм) не был, в сущности, народным протестом против жестокого отношения государственной церкви к беднякам?

С такими духовными вождями, немудрено, что чувства состоятельных классов, как заметил м-р Плимсоль, не столько должны были притупиться, сколько принять классовую окраску. Богачи редко снисходят к беднякам, от которых они отделены самым своим образом жизни, и которых они совсем не знают с лучшей стороны в их

повседневном обиходе. Но и среди богачей, оставляя в стороне скряжничество с одной стороны и безумные расходы с другой, — в кругу семьи и друзей наблюдается та же практика взаимной помощи и поддержки, как и среди бедняков. Иеринг и Даргун^[356] были вполне правы, говоря, что если бы сделать статистический подсчет деньгам, переходящим из рук в руки в форме дружеских ссуд и помощи, то общая сумма оказалась бы колоссальной, даже в сравнении с коммерческими оборотами мировой торговли. И если прибавить к этому, — а прибавить необходимо, — расходы на гостеприимство, мелкие взаимные услуги, оказываемые друг другу, помощь при улаживании чужих дел, подарки и благотворительность, мы, несомненно, будем поражены значением подобных расходов в области народного хозяйства. Даже в мире, управляемом коммерческим эгоизмом, имеется ходячая фраза: «эта фирма отнеслась к нам жестоко», и эта фраза показывает, что даже в коммерческой среде имеется дружеское отношение, противопоставляемое жестокому, т. е. отношению, основанному исключительно на законе. Всякий коммерсант, конечно, знает, сколько фирм ежегодно спасается от разорения, благодаря дружественной поддержке, оказанной им другими фирмами.

Что же касается до благотворительности и до массы общепольной работы, добровольно выполняемой представителями как зажиточных, так и рабочих классов, и в особенности представителями различных профессий, то всякий знает, какую роль играют эти две категории благорасположения в современной жизни. Если истинный характер этого благорасположения часто бывает загрязнен стремлением приобрести известность, политическую власть, или общественное отличие, то все же несомненно, что в большинстве случаев импульс исходит из того же самого чувства взаимной помощи. Очень часто люди, приобретя богатство, не находят в нем ожидавшегося ими удовлетворения. Другие начинают чувствовать, что сколько бы экономисты ни распространялись о том, что богатство является наградой способностей, их награда чересчур велика. Сознание человеческой солидарности пробуждается в них; и хотя общественная жизнь устроена так, чтобы подавлять это чувство тысячами хитрых способов, оно все-таки нередко берет верх, и тогда люди вышеуказанного типа пытаются найти выход для этой, заложенной в глубине человеческого сердца, потребности, отдавая свое состояние, или же свои силы, на что-нибудь такое, что, по их мнению, будет содействовать развитию общего благосостояния.

Короче говоря, ни сокрушающие силы централизованного государства, ни учения взаимной ненависти и безжалостной борьбы, которые исходят, украшенные атрибутами науки, от услужливых философов и социологов, не могли вырвать с корнем чувства человеческой солидарности, глубоко коренящегося в человеческом сознании и сердце, так как чувство это было воспитано всем нашим предыдущим развитием. *То, что было результатом эволюции, начиная с ее самых ранних стадий, не может быть уничтожено одною из переходящих фаз той же самой эволюции.* И потребность во взаимной помощи и поддержке, которая скрылась, было, в узком кругу семьи, среди соседей бедных улиц и переулков, в деревне или в тайных союзах рабочих, возрождается снова, даже в нашем современном обществе, и провозглашает свое право — *право быть, как это всегда было, главным двигателем на пути дальнейшего прогресса.*

Таковы заключения, к которым мы неизбежно приходим, после тщательного рассмотрения каждой группы фактов, вкратце перечисленных в последних двух главах.

Заключение

Если взять теперь то, чему учит нас рассмотрение современного общества в связи с фактами, указывающими на значение взаимной помощи в постепенном развитии животного мира и человечества, мы можем вывести из нашего исследования следующие заключения.

В животном мире мы убедились, что огромное большинство видов живет сообществами, и что в общительности они находят лучшее оружие для борьбы за существование, — понимая, конечно, этот термин в его широком, Дарвиновском смысле: не как борьбу за прямые средства к существованию, но как борьбу против всех естественных условий, неблагоприятных для вида. Виды животных, у которых борьба между особями доведена до самых узких пределов, а практика взаимной помощи достигла наивысшего развития, оказываются неизменно наиболее многочисленными, наиболее процветающими и наиболее приспособленными к дальнейшему прогрессу. Взаимная защита, получающаяся в таких случаях, а вследствие этого — возможность достижения преклонного возраста и накопления опыта, высшее умственное развитие и дальнейший рост общежительных навыков, — обеспечивают сохранение вида, а также его распространение на более широкой площади и дальнейшую прогрессивную эволюцию. Напротив, необщительные виды, в громадном большинстве случаев, осуждены на вырождение.

Переходя затем к человеку, мы нашли его живущим родами и племенами уже на самой заре древнейшего каменного века; мы видели также ряд общественных учреждений и привычек, сложившихся в пределах рода, уже на низшей ступени развития дикарей. И мы нашли, что древнейшие родовые обычаи и навыки дали человечеству, в зародыше, все те установления, которые позднее послужили главнейшими двигателями дальнейшего прогресса. Из родового быта дикарей выросла деревенская община «варваров»; и новый, еще более обширный круг общительных обычаев, навыков и установлений, часть которых дожила и до нашего времени, развился под сенью общего владения данною землею и под защитою судебных прав деревенского мирского схода, в федерациях деревень, принадлежавших, или предполагавших, что они принадлежат к одному племени, и оборонявшихся общими силами от врагов. Когда же новые потребности побудили людей сделать новый шаг в их развитии, они образовали народоправства вольных городов, которые представляли двойную сеть: земельных единиц (деревенских общин) и гильдий, возникших из общих занятий данным искусством или ремеслом, или же для взаимной защиты и поддержки. Как громадны были успехи знания, искусства и просвещения вообще в средневековых городах — народоправствах, мы рассмотрели в двух главах, пятой и шестой.

Наконец, в последних двух главах были собраны факты, указывающие, как образование государств по образцу императорского Рима насильственно уничтожило все средневековые учреждения для взаимной поддержки и создало новую форму объединения, подчиняя всю жизнь населения государственной власти. Но государство, опирающееся на мало связанные между собою агрегаты единичных личностей и взявшее на себя задачу быть их единственным объединяющим началом,

не ответило своей цели. Стремление людей к взаимной помощи и их потребность в прямом объединении для взаимной поддержки снова проявились в бесконечном разнообразии всевозможных сообществ, которые и стремятся теперь охватить все проявления жизни, овладеть всем, что потребно для человеческой жизни и для заполнения трат, обусловленных жизнью: создать живое тело вместо мертвого механизма, подчиненного воле чиновников.

Вероятно, нам заметят, что взаимная помощь, хотя она и представляет одну из крупных деятельных сил эволюции, т. е. прогрессивного развития человечества, она все-таки является лишь одним из различных видов отношений людей между собою; рядом с этим течением, как бы оно ни было могущественно, существует, и всегда существовало, другое течение — самоутверждение личности, не только в ее усилиях достигнуть личного или кастового превосходства в экономическом, политическом или духовном отношении, но также в более важной, хотя и менее заметной деятельности — в разрывании тех уз, всегда стремившихся к окристаллизации, окаменению, которые род, деревенская община, город или государство налагают на личность. Другими словами, в человеческом обществе самоутверждение личности тоже представляет элемент прогресса.

Очевидно, что никакой обзор эволюции не может претендовать на полноту, если в нем не будут рассмотрены оба эти господствующие течения. Но дело в том, что самоутверждение личности или групп личностей, их борьба за превосходство и проистекавшие из нее столкновения и борьба были уже с незапамятных времен разбираемы, описываемы и прославляемы. Действительно, вплоть до настоящего времени одно это течение и пользовалось вниманием эпических поэтов, летописцев, историков и социологов. История, как ее до сих пор писали, почти всецело является описанием тех путей и средств, при помощи которых церковная власть, военная власть, политическое единодержавие, а позднее богатые классы устанавливали и удерживали свое правление. Борьба между этими силами и составляет в действительности сущность истории. Мы можем поэтому считать, что значение личности и индивидуальной силы в истории человечества вполне известно, хотя и в этой области остается еще немало поработать в только что указанном направлении.

В то же время другая деятельная сила — взаимная помощь — до сих пор оставалась совершенно забытой; писатели настоящего и прошлых поколений просто отрицали ее или подсмеивались над ней. Дарвин, уже полвека тому назад, вкратце указал на значение взаимной помощи для сохранения и прогрессивного развития животных. Но кто же с тех пор разработал его мысль? Ее просто постарались забыть. Вследствие этого необходимо было, прежде всего, установить ту огромную роль, которую взаимопомощь играет в развитии как животного мира, так и человеческих обществ. Лишь после того, как это его значение будет вполне признано, возможно будет сравнивать влияние той и другой силы: общественной и личной.

Произвести, более или менее статистическим методом, хотя бы грубую оценку их относительного значения, очевидно, невозможно. Одна какая-нибудь война — как все мы знаем — может, непосредственно или своими последствиями, принести больше зла, чем сотни лет беспрепятственного воздействия принципа взаимной

помощи могут произвести добра. Но когда мы видим, что в животном мире прогрессивное развитие и взаимная помощь идут рука об руку, а внутренняя борьба в пределах вида, напротив того, сопровождается «ретрогрессивным развитием», т. е. упадком вида; когда мы замечаем, что у человека даже успех в борьбе и в войне пропорционален развитию взаимной помощи в каждой из двух борющихся сторон, будут ли то нации, города, племена или только партии, и что в процессе эволюции сама война (поскольку она может содействовать в этом направлении) подчиняется конечным целям прогресса взаимной помощи в пределах нации, города или племени, — сделавши эти наблюдения, мы уже получаем представление о преобладающем влиянии фактора взаимной помощи, как двигателя прогресса.

Но мы видим также, что практика взаимной помощи и ее последовательное развитие создали самые условия общественной жизни, без которых человек никогда не смог бы развить свои ремесла и искусства, свою науку, свой разум, свое творчество; и мы видим, что периоды, когда нравы и обычаи, имевшие целью взаимную помощь, достигали своего высшего развития, всегда были периодами величайшего прогресса в области искусств, промышленности и науки. Действительно, изучение внутренней жизни городов Древней Греции, а потом средневековых городов обнаруживает тот факт, что именно сочетание взаимной помощи, как она практиковалась в пределах гильдии, с общиной или греческим родом, — с широким почином, предоставленным личности и группе в силу федеративного начала, — именно это сочетание дало человечеству два величайших периода его истории — период городов Древней Греции и период средневековых городов; тогда как разрушение учреждений и нравов взаимной помощи, совершавшееся в течение последовавших затем государственных периодов истории, соответствует в обоих случаях временам быстрого упадка.

Нам, вероятно, возразят, однако, указывая на внезапный промышленный прогресс, который совершился в девятнадцатом веке, и обыкновенно приписывается торжеству принципов индивидуализма и конкуренции. Между тем этот прогресс, вне всякого сомнения, имеет несравненно более глубокое происхождение. После того как были сделаны великие открытия пятнадцатого века, в особенности открытие давления атмосферы, поддержанное целым рядом других успехов в области физики — *а эти открытия были сделаны в средневековых городах* — после этих открытий изобретение парового двигателя и вся та промышленная революция, которая была вызвана применением новой силы — пара, были необходимым последствием. Если бы средневековые города дожили до развития начатых ими открытий, т. е. до практического применения нового двигателя, то нравственные, общественные последствия революции, вызванной применением пара, могли бы принять и, вероятно, приняли бы иной характер; но та же самая революция в области техники производств и науки и тогда была бы неизбежна. Остается даже открытым вопрос, не было ли замедлено появление паровой машины, а также последовавший затем переворот в области искусств, тем общим упадком ремесел, который последовал за разрушением свободных городов и был особенно заметен в первой половине восемнадцатого века?

Рассматривая поразительную быстроту промышленного прогресса в период с двенадцатого до пятнадцатого столетия, — в ткацком деле, в обработке металлов, в

архитектуре, в мореплавании, — и размышляя над научными открытиями, к которым этот промышленный прогресс привел в конце пятнадцатого века, — мы вправе задаться вопросом: не запоздало ли человечество в использовании всех этих научных завоеваний, когда в Европе начался общий упадок в области искусств и промышленности, вслед за падением средневековой цивилизации? Конечно, исчезновение артистов-ремесленников, каких произвели Флоренция, Нюрнберг и многие другие города, упадок крупных городов и прекращение сношений между ними не могли благоприятствовать промышленной революции. Действительно, нам известно, например, что Джемс Уатт, изобретатель современной паровой машины, потратил около двадцати лет своей жизни, чтобы сделать свое изобретение практически осуществимым, так как он не мог найти в восемнадцатом веке таких помощников, каких он с легкостью бы нашел в средневековой Флоренции, Нюрнберге или Брюгге, т. е. ремесленников способных воплотить его изобретения в металле и придать им ту артистическую законченность и точность, которые необходимы для точно работающей паровой машины.

Таким образом, приписывать промышленный прогресс девятнадцатого века войне каждого против всех — значит рассуждать подобно тому, кто, не зная истинных причин дождя, приписывает его жертве, принесенной человеком глиняному идолу. Для промышленного прогресса, как и для всякого иного завоевания в области природы, взаимная помощь и тесные сношения, несомненно, всегда были более выгодными, чем взаимная борьба.

Великое значение начала взаимной помощи выясняется, однако, в особенности в области этики, или учения о нравственности. Что взаимная помощь лежит в основе всех наших этических понятий, достаточно очевидно. Но каких бы мнений не держались мы относительно первоначального происхождения чувства или инстинкта взаимной помощи — будем ли мы приписывать его биологическим, или же сверхъестественным причинам — мы должны признать, что заметить его существование можно уже на низших ступенях животного мира. От этих начальных ступеней мы можем проследить непрерывное, постепенное его развитие через все классы животного мира и, несмотря на значительное количество противодействующих ему влияний, через все ступени человеческого развития, вплоть до настоящего времени. Даже новые религии, рождающиеся от времени до времени — всегда в эпохи, когда принцип взаимопомощи приходил в упадок в теократиях и деспотических государствах Востока, или при падении Римской империи — даже новые религии всегда являлись только подтверждением того же самого начала. Они находили своих первых последователей среди смиренных, низших, попираемых слоев общества, где принцип взаимной помощи является необходимым основанием всей повседневной жизни; и новые формы единения, которые были введены в древнейших буддистских и христианских общинах, в общинах моравских братьев и т. д., принимали характер *возврата к лучшим видам взаимной помощи, практиковавшимся в древнем родовом периоде.*

Каждый раз, однако, когда делались попытки возвратиться к этому старому почтенному принципу, *его основная идея расширялась.* От рода она распространялась на племя, от федерации племен она расширилась до нации и, наконец, — по крайней мере, в идеале — до всего человечества. В то же самое

время она постепенно принимала более возвышенный характер. В первобытном христианстве, в произведениях некоторых мусульманских вероучителей, в ранних движениях реформационного периода, и в особенности в этических и философских движениях восемнадцатого века и нашего времени, все более и более настойчиво отмечается идея мести, или «достождолжного воздаяния» — добром за добро и злом за зло. Высшее понимание: «Никакого мщения за обиду» — и принцип: «Давай ближнему, не считая! давай больше, чем ожидаешь от него получить!», эти начала провозглашаются как действительные начала нравственности, как принципы, стоящие выше простой «равноценности», беспристрастия и холодной справедливости, как принципы, скорее и вернее ведущие к счастью. Человека призывают поэтому руководиться в своих действиях не только любовью, которая всегда имеет личный или, в лучших случаях, родовой характер, — но понятием о *своем единстве со всяким человеческим существом*, следовательно, о *всеобщей равноправии*, и, кроме того, в своих отношениях к другим, давать людям, не считая, деятельность своего разума и своего сочувствия и в этом находить свое высшее счастье.

В практике взаимной помощи, которую мы можем проследить до самых древнейших зачатков эволюции, мы, таким образом, находим положительное и несомненное происхождение наших нравственных, этических представлений, и мы можем утверждать, что главную роль в этическом развитии человечества играла взаимная помощь, а не взаимная борьба. В широком распространении начал взаимной помощи, даже и в настоящее время, мы также видим лучший задаток еще более возвышенного дальнейшего развития человеческого рода.

Приложение 1

1. Рои бабочек, стрекоз и т. д.

Пиперс (M. C. Piepers) опубликовал в «Natuurkundig Tijdschrift voor Neederlandsch Indië» 1891, часть L, стр. 198 (обзор имеется в «Naturwissenschaftliche Rundschau», 1891, том VI, стр. 573) интересные исследования о массовых полетах бабочек, случающихся в голландской восточной Индии, под влиянием сильных засух, вызываемых западными муссонами. Подобные массовые полеты обыкновенно имеют место в течение первых месяцев после начала муссонов, причем обыкновенно в этих полетах принимают участие индивидуумы обоих полов, принадлежащие к *Catopsilia (Callidryas) crolale*, Cr., но иногда рои «состоят из индивидуумов, принадлежащих к трем различным видам *Euphœa*». По-видимому, одной из целей подобных полетов является также совокупление. Что эти полеты не результат условленного действия, а скорее — следствие подражательности, или желания следовать за всеми другими, вполне возможно.

Бэтс (Bates) видел на Амазонке желтых и оранжевых *Callidryas*, «собиравшихся тесными массами, иногда от двух до трех ярдов (6–9 фут[ов]) в окружности, причем крылья их всех были приподняты, так что берег казался испещренным зарослями крокусов». Их переселяющиеся колонны, перелетая реку с севера на юг, «не прерывались с раннего утра до заката» («Naturalist on the [River] Amazon[s]», стр. 131).

Стрекозы, во время их больших переселений через пампасы, собираются вместе в бесчисленных количествах, и их колоссальные рои состоят из индивидуумов, принадлежащих к различным видам (Hudson, «Naturalist on the La Plata», стр. 130 и след.).

Кузнечики (*Zoniopoda tarsata*) отличаются также чрезвычайной общительностью (Hudson, l. c., стр. 125).

2. Муравьи

Исследования о муравьях Петра Гюбэра (Pierre Huber, «Recherches sur les mœurs des fourmis», Geneve, 1810; дешевое и популярное издание было выпущено в 1861 году Cherbuliez'ом в «Bibliothèque Genevoise» под заглавием: «Les fourmis indigènes»), представляют не только лучший труд в данной области, но являются также образцом действительно научного исследования. Дарвин был совершенно прав, считая Петра Гюбэра даже более великим натуралистом, чем был его отец. Эту книгу следовало бы иметь всякому молодому натуралисту, не только ради ее фактического содержания, но как урок по методу научных изысканий, и переводы ее должны были бы иметь в дешевых изданиях самое широкое распространение. Выкармливание муравьев в искусственных стеклянных гнездах и проверочные

опыты, сделанные позднейшими исследователями, включая сюда и Лёббока, — все это уже имеется в превосходной работе Гюбэра. Читатели книг профессора Фореля и Лёббока знакомы, конечно, с тем фактом, что как швейцарский профессор (Форель), так и британский писатель (Лёббок) приступили к своим работам в критическом духе, с намерением опровергнуть утверждения Гюбэра относительно поразительных инстинктов взаимной помощи среди муравьев; но после тщательных исследований они могли только подтвердить его утверждения. К несчастью, человеческой натуре свойственно с полным доверием относиться ко всякого рода утверждениям о способности человека изменять по своей воле действия сил природы, и в то же время не признавать вполне проверенные научные факты, если они уменьшают расстояние между человеком и его собратьями из мира животных.

Г. Сэдерланд (Suderland, «Origin and Growth of Moral Instinct» — имеется русский перевод), очевидно, начал свою книгу с намерением доказать, что все нравственные чувства берут свое начало в родительской заботе и семейной любви, которые можно найти лишь у теплокровных животных; вследствие этого он и пытается свести до минимума значение симпатии и кооперации между муравьями. Он цитирует книгу Бюхнера, «Ум животных», и знаком с опытами Лёббока. Что же касается до трудов Гюбэра и Фореля, то он разделяется с ними в следующей фразе: «но они все [примеры, приводимые Бюхнером в доказательство существования симпатии между муравьями] или почти все искажены некоторого рода сентиментализмом... делающим их более пригодными для школьных книжек, чем для осторожных научных работ, причем *то же самое можно заметить* относительно некоторых наиболее *известных* анекдотов Гюбэра и Фореля (Т. I, стр. 298)».

Г. Сэдерланд не указывает, какие именно «анекдоты» он имеет в виду, но мне просто кажется, что он никогда не имел случая прочесть работы Гюбэра и Фореля. Натуралисты же, знакомые с этими работами, знают, что в них не имеется никаких анекдотов. Если бы Сэдерланд проделал над муравьями такое же, выражаясь словами Дарвина, «образцовое научное исследование», как Гюбэр, он, конечно, никогда не написал бы такой неосторожной фразы.

Работу профессора Готфрида Адлерза о шведских муравьях («Myrmecologiska Studier: Svenska Myror och deras Lefnads föfhöllanden», помещена в «Bihang til Svenska Akademiens Handlingar», Т. XI, № 18, 1886) следует упомянуть здесь. Едва ли нужно говорить, что наблюдения Гюбэра и Фореля, так поражающие людей, раньше не изучавших этого предмета, вполне подтверждены шведским профессором (стр. 136–137).

Профессор G. Adlerz сообщает также о ряде очень интересных опытов, сделанных им, чтобы проверить наблюдения Гюбэра относительно того, что муравьи двух различных муравейников не всегда нападают друг на друга. Он сделал один из своих опытов с муравьями *Tapinoma erraticum*, а другой — с видом обычных муравьев, *Rufa*. Собрав целое гнездо в мешок, он опорожнил его на расстоянии шести футов от другого муравейника. Это не вызвало драки между муравьями, но муравьи второго муравейника начали утаскивать личинки принесенных муравьев. Вообще когда Adlerz сводил рабочих муравьев разных муравейников, имевших при

себе личинок, драки не бывало, но если он сводил рабочих без личинок, начиналась драка (стр. 185–186).

Он также дополняет наблюдения Форэля и Мак-Кука относительно муравьиных «наций», состоящих из многих муравейников, причем, принимая за основание собственные вычисления, согласно которым в каждом развитом муравейнике имеется до 300 000 муравьев (*Formica exsecta*), он приходит к заключению, что подобные «нации» могут достигать до десятков и даже до сотен миллионов особей.

Превосходно написанная книга Матерлинка о пчелах, хотя и не заключающая новых наблюдений, могла бы быть очень полезной, если бы не была испорчена метафизическими «словесами».

Прекрасный свод позднейших работ о муравьях-земледельцах дан во французском издании «Жизни животных» Брэма, сделанном J. Künckel d'Herculais.

3. Взаимная помощь у воробьев

За последние годы мне случалось наблюдать общества воробьев в палисаднике нашего домика в Бромлее. Известно, что воробьи — большие драчуны и сангвиники, и часто ссорятся из-за пустяков. Но зато они сильно заступаются друг за друга, и тогда у них поднимается такой шум, что невольно обращаешь на них внимание. Так например, одна пара воробьев воспользовалась тем, что в углу крыши домика, соседнего с нашим, вывалилась черепица; они свили там гнездо. Черные скворцы (blackbirds), хотя и живут зимою вместе с воробьями, не ссорясь, и кормятся вместе, тем не менее, повидимому, иногда выбрасывают воробьиных птенчиков из их гнезд. И вот эту пару воробьев повадился пугать скворец. Прилетит, сядет на желоб крыши возле их норки и иногда старается пробраться к гнезду, сквозь проход под черепицами, слишком для него узкий. Тогда все воробьи нашего палисадника поднимают отчаянный шум, яростно налетают и насакаивают на скворца и заставляют его удалиться. Мы всегда знали, когда скворец прилетал к гнезду воробьев, — такого писка и шума нельзя не заметить.

Такой же шум, но другого характера, поднимали воробьи, когда из одного из их гнезд вываливался птенец. Говор и возбуждение, в таких случаях, бывали необыкновенные, и мы сейчас же узнавали об этом событии. Колония успокаивалась только тогда, когда птенчика подбирали (иначе его съели бы кошки) и сажали в пустую комнату с открытым окном. Тогда мать прилетала к нему, садилась на подоконник и, если не ошибаюсь, иногда влетала даже в комнату. К вечеру, или на другой день, она выманивала его на крышу пристройки, подходящую к окну. Тогда немедленно вокруг него слеталось, неизвестно откуда, множество воробьев, и все неистово шумели, — должно быть, радуясь; а он набирался смелости, ухитрялся слететь с крыши и научался летать.

4. Сообщества для гнездования

Дневники Одюбона («Audubon and his Journals», New York, 1898), особенно те, которые относятся к его пребыванию, в тридцатых годах, на берегах Лабрадора и на реке св. Лаврентия, заключают в себе превосходные описания гнездящихся ассоциаций водяных птиц. Говоря о «Скале» (The Rock), одном из островков Магдалены или Амгёрста, он писал: «В одиннадцать часов я уже мог различить, с палубы, совершенно явственно его вершину, и думал, что она покрыта снегом в несколько футов толщины снег, казалось, покрывал каждую часть плоских выдающихся уступов»; но это не был снег, это были бакланы (*gannets, Sula alba*), спокойно сидевшие на яйцах или над молодыми выводками, правильными рядами, почти касаясь один другого; головы у всех были повернуты по направлению к ветру. Воздух над скалой и вокруг нее, на расстоянии сотни ярдов «был наполнен летающими бакланами, и казалось, что мы стоим среди метели». Морские чайки (трехпалые киттивакки) и глупые кайры выводились на этом же самом утесе («Journals», T. I, стр. 360–363).

В виду острова Антикости море «было буквально покрыто глупыми кайрами в малыми пингвинами (*razor-bill, Alca torda*)». Далее воздух был наполнен бархатными утками. На скалах залива выводились чайки-селедочницы, морские ласточки (большие, арктические и, вероятно, Фостеровы), *Tringa pusilla*, морские чайки, утки Скотера, дикие гуси (*Anser canadensis*), красногрудые нырки, пингвины, бакланы и т. д. Особенно много было морских чаек: «они всегда преследовали других птиц, разбивали и высасывали их яйца и пожирали их птенчиков»; «они играют здесь роль орлов и ястребов».

На Миссури, выше Сен-Луи, Одюбону пришлось, в 1843 году, наблюдать ястребов и орлов, гнездящихся колониями; он упоминает о «длинных линиях приподнятого берега, окруженного огромными известняковыми скалами; в них была масса курьезных отверстий, куда, как мы видели, к вечеру влетали ястребы и орлы», — т. е. турецкие сарычи (*Cathartes aura*) и лысые орлы (*Haliaeetus leucosephalus*), согласно примечанию E. Couës'a (T. I, стр. 458).

Наблюдения Одюбона особенно ценны потому, что он был выдающийся натуралист, один из основателей описательной зоологии, и посетил он северную Америку в такую пору, когда животная жизнь на этом материке еще не была истребляема человеком.

Одним из лучших мест для вывода потомства вблизи британских берегов являются острова Фарнэ, и в работе Charles Dixon'a, озаглавленной «Among the Birds in Northern Shires», можно найти превосходное описание этой местности, в которой десятки тысяч чаек, морских ласточек, галок, бакланов, куликов, устричников, кайр и тупиков собираются каждый год. «При приближении к одному из этих островов сначала получается впечатление, что все пространство монополизировано чайками (меньшего вида, с черными спинками), — в таком огромном изобилии они встречаются. Воздух кажется переполнен ими, как покрыты ими почва и обнаженные скалы; и когда наша лодка, наконец, пристает к скалистому берегу, и мы с радостью выскакиваем на сушу, птицы впадают в крикливое

возбуждение — вокруг нас начинается настоящее столпотворение птиц, протестующих криком, и настойчиво продолжающееся, пока мы не отчаливаем» (стр. 219).

Интересные замечания насчет отношения между развитием семейственности у голенастых птиц и уменьшением числа высиживаемых ими птенчиков сделал мой покойный друг и товарищ по Олёмкинско-Витимской экспедиции И. С. Поляков, в Обществе Естествоиспытателей при С.-Петербургском Университете (Протокол засед. Зоол. Отд., 17 декабря 1874).

5. Помогают ли большие птицы маленьким при перелете?

Я знаю, что некоторые зоологи, — едва ли не большинство, — с насмешкою относятся ко всякому напоминанию об этом предмете. Но так как, позволяя себе этот вопрос, я нахожусь в обществе нескольких натуралистов-исследователей, в том числе такого зоолога, как Хейглин, то я позволяю себе обратить внимание исследователей на этот предмет. Для тех, кто изучал общественную жизнь птиц, вопрос не покажется странным.

Один из английских натуралистов и зоологов, Хартинг (James Ed. Harting, «Recreations of a Naturalist», London, 1906), разобрал в особой главе своей книги известные ему упоминания о том, что при перелете большие птицы иногда помогают маленьким, которые в таком случае садятся на них, между плеч. *Абсолютно достоверных фактов нет*, так как снизу увидеть птичку, сидящую на другой во время перелета, почти невозможно. Но некоторые опытные натуралисты-орнитологи считают факт *вероятным*.

Вот факты, собранные Хартингом. Известный арктический исследователь Dr. J. Rae, в сообщении перед ученым Линнеевским Обществом, упоминал, что индейцы племени Cree, в York Factory и в Moose Factory (в Гудзоновой Земле), утверждали, что одна из небольших перелетных птичек садится, при перелете, для отдыха на канадского гуся.

Индейцы этого племени ведут в больших размерах охоту на этого гуся, которого встречают, когда он прилетает с юга в их территорию. То же самое положительно утверждали д-р Рэ и индейцы с берегов Атабаски и Больших Невольничьих Озер (Great Slave Lakes), живущие около 1500 верст к северо-западу от предыдущих.

Д-р Леннеп (Lenner), в книге «Bible Customs in Bible Lands», упоминает о множестве мелких птичек, прилетающих из Палестины в Аравию и Египет на спине у журавлей. Когда последние летят с севера на юг, то летят они низко, и мелкие птички поднимаются к ним. Иногда слышно щебетанье птичек, сидящих уже на плечах у больших. Так говорят, по крайней мере, местные жители; но нужно помнить, что в том, что мелкие птицы совершают перелет вместе с большими, никто не сомневается; это — факт общеизвестный. Щебетанье же маленьких, само по себе, еще не доказывает, чтобы они садились на больших.

Однако американский профессор Клэйполь (Claypole) говорит, что он убедился лично, во время пребывания на острове Крите, что трясогузки и другие мелкие птицы, во время перелета из Европы на юг, садятся на спину журавлям. Сперва он не хотел этому верить, но когда один рыбак выстрелил в его присутствии по пролетающей стае журавлей, Клэйполь сам видел, как эти птички поднялись вверх от стаи и исчезли (известный научный журнал «Nature», английский, 24 февраля 1881).

Один немецкий писатель, Адольф Эбелинг, часто слышал то же самое в Каире, и известный путешественник и орнитолог Хейглин сказал ему в Каире, что он считает факт вполне вероятным, хотя сам лично не имел случая его проверить.

Hedenborg, известный шведский путешественник, утверждает, что он сам часто слышал, на острове Родосе, голоса мелких пташек, совершавших перелет с аистами, и раз сам видел несколько птичек, слетавших со спин аистов, когда они достигли острова.

Г. Нельсон (T. H. Nelson) писал в английский журнал «Zoologist» (февраль 1882, стр. 73), что надсмотрщик мола при устье реки Tees, в Англии, стоя 16 октября при ясной холодной погоде на оконечности мола, увидел сову (Short-eared Owl), которая летела с моря, усталая; он заметил что-то на ее плечах. Сова села на снасти в 15 шагах от него, и как только она села, с ее спины соскочила птичка и полетела вдоль мола. Раньше чем он схватил ружье, сова улетела, но птичку он убил, и местный зоолог определил ее как «Golden-crested Wren».

Такая маленькая и плохо летающая птичка едва ли могла бы сама перелететь через Немецкое море против сильного ветра. А между тем она регулярно переселяется и прилетает в Англию, всегда раньше тетерева (Woodcock), отчего и зовется в Англии Woodcock Pilot (кормчий тетерева). Рыбаки этих берегов часто замечали, что эта птичка садилась на их лодки.

Одним словом, делая сводку тому, что нам известно по этому вопросу, мы можем сказать следующее: Положительных решающих наблюдений зоологами не было сделано. Но местные жители, промышляющие птицей, когда она прилетает к их берегам, вообще уверены, что маленькие птички, прилетающие вместе с большими, садятся — *может быть, только в конце перелета через море* — на спину большим.

6. Количество общительных животных в Экваториальной Африке

К счастью, до сих пор есть еще одна область, где животная жизнь сохранялась, несколько лет тому назад, такую, какую она была до появления человека, вооруженного огнестрельным оружием. Это — Экваториальная Африка, о которой мы имеем прекрасное сочинение г. Шиллингса (C. G. Shillings, «With Flashlight and Rifle», 2 тома. Лондон, 1906; я пользовался английским переводом; оригинал — по-немецки), — писателя, хорошо известного среди зоологов, как авторитет по фауне Африки и эксперт-натуралист. В Южной Африке, говорит он, белые и местные

жители, вооружившиеся огнестрельным оружием, перебили несметные количества диких животных, так что некоторые виды совершенно исчезли, и самый вид фауны совершенно изменился. «Так исчезли: белохвостая гну (*Connohaetus gnu*), косуля бонтебок (*Damaliscus pygargus*), блесбок (*Dam. albifrons*), истинная квагга (*Equus quagga*), горная зебра (*Eq. zebra*), прекрасная беловатая антилопа (*Hippotragus leucophoeus*), Капский буйвол (*Bubalus caffer*), слон, так называемый носорог (*Rhinocerus Simus*), черный носорог (*Rh. bicornis*), жираф, гиппопотам и страус — за исключением нескольких охраняемых особей первых трех видов — и вполне, что касается до остальных». При этом нужно помнить, что они встречались в несметных количествах, не далее чем в первой трети девятнадцатого века, и были еще более многочисленны в более отдаленное время.

Даже в Экваториальной Африке их число уже убывает, и зебры более уже не встречаются стадами, как их видел проф. Г. Мейер (см. его книгу «Килиманджаро») за несколько лет до экспедиции Шиллингса; стада же слонов и буйволов сильно поредели. При всем том массы животных продолжают пока жить большими обществами, а ассоциации различных видов, упоминаемые Шиллингсом, поразительны.

На плоскогорьях Экваториальной Африки, после больших дождей, в три недели образуются громадные пространства, затопленные водою, и все впадины становятся болотами или обширными озерами, которые привлекают к себе несметные количества всевозможных животных со всего сухого вельта (высоких степей).

«Несметные стаи гусей и уток покрывали поверхности озер, — пишет Шиллингс, — а по берегам паслись тысячи гну и зебр; и с самых дальних пределов вельта собрались носороги к своим обычным водопоям среди камышей; вернулись также ватербоки, хартебесты (различные породы косуль и антилоп), газели и несколько буйволов» (стр. 91, 92).

Описания жизни по берегам этих временных озер, данные Шиллингсом, и его замечательные фотографии, — часть которых он снимал ночью, при помощи света внезапной вспышки, — поразительны, так как показывают, какие громадные количества разнообразных животных собираются в этих местах, и как, только благодаря бдительности и осторожности своих разведчиков и сторожей им удается подойти стадами к водопою и напиться ночью, не будучи разорваны собирающимися сюда же львами. Начиная с заката солнца вплоть до следующего утра, к озеру подлетают и подходят на водопой сотни тысяч различных птиц и самые разнообразные породы млекопитающих. Любопытно, что в свои первые экспедиции Шиллингс видел, что львы охотятся сворою, и то же видно на его ночных photographиях. На одной из них видны три льва, кравшиеся к добыче. Лично Шиллингс не видал больше семи львов вместе (стр. 133); но как только один лев рычал ночью, ему почти немедленно откликалось несколько других. И когда на берегу одного временного озера, где собралось очень много всяких животных, после того как Шиллингс наслушался за ночь рычания многих львов, он стал разбирать утром их следы, «я убедился, — пишет он, — по найденным следам, что по крайней мере тридцать львов поселились в то время в этом месте» (стр. 132). «Один уважаемый английский наблюдатель, — говорит он (стр. 345), — видел однажды

двадцать семь львов вместе». Сходиться по несколько для охоты было для львов обычным делом в то время, когда Шиллингс совершал свои экспедиции.

7. Общительность животных

То обстоятельство, что животные отличались большею общительностью, когда человек меньше охотился за ними, подтверждается многими фактами, из которых видно, что те животные, которые теперь живут в одиночку, в странах, обитаемых человеком, продолжают жить стадами в незаселенных областях. Так, на безводных, пустынных плоскогорьях северного Тибета Пржевальский нашел медведей, живущих сообществами. Он упоминает о многочисленных «стадах яков, куланов, антилоп и даже медведей». Последние, — говорит он, — питаются чрезвычайно многочисленными небольшими грызунами и распложаются в таких количествах, что, «как уверяли меня туземцы, они находили по 100–150 медведей, спящих в одной пещере» (Годовой «Отчет Русского Геогр. Общества», за 1885 год, стр. 11). Во времена Скоресби, т. е. в двадцатых годах девятнадцатого века, белые медведи были так многочисленны и жили такими большими стадами, что Скоресби (хороший наблюдатель) сравнивал их со стадами овец. Зайцы (*Lepus Lehmani*) живут большими сообществами на Закаспийской территории (N. Zarudnyi, «Recherches zoologiques dans la contrée Transcaspienne», в «Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou», 1889, 4). Маленькие калифорнские лисицы, живущие, по словам Е. С. Holden'a, возле Ликской обсерватории «на смешанной диете из туземных ягод и цыплят астрономов» («Nature», ноябрь, 5, 1891), по-видимому, также отличаются большой общительностью. Даже львы, как мы видели в предыдущем Приложении, охотятся сообществами в дикой еще части Экваториальной Африки.

Некоторые очень интересные примеры любви животных к обществу были даны в работе С. L. Cornish'a («Animals at Work and Play», London, 1896), Все животные, по справедливому замечанию этого автора, ненавидят одиночество. Он дает также несколько забавных примеров, рисующих обычай сурков ставить часовых. Этот обычай настолько укоренился среди них, что они ставят часового даже в Лондонском зоологическом саду и в Парижском Jardin d'Acclimatisation (стр. 46).

Профессор Кесслер был совершенно прав, указывая, что молодые выводки птиц, вследствие нахождения вместе осенью, развивают в себе чувства общительности.

Cornish («Animals at Work and Play») дал несколько примеров игр среди молодых млекопитающих, как например, ягнят, которые до страсти любят играть во «Все за мной» и в «Я — хозяин дома» (я тоже видел не раз эту игру в Англии), а также их страсть к скачкам с препятствиями. Молодые лани любят играть в «Лови меня», причем толчок дается мордочкой. Кроме того, массу примеров таких игр у животных можно найти в превосходной работе Karl Gross'a, «The Play of Animals» («Игры животных»).

8. Оранг-утаны были некогда более общительны

Из работы проф. Эдуарда Беккари, итальянского ботаника, странствовавшего в Сараваке (Борнео), видно, что местные дикари жестоко истребляют оранг-утанов при помощи своих тонких ядовитых стрел, выдуваемых через длинную трубку, человеком, спрятым в засаду. Немудрено, что при таких условиях оранг-утаны предпочитают вести одинокую жизнь, но есть факты, указывающие на то, что прежде оранг-утаны не были чужды общительности, так как, даже теперь, они собираются иногда небольшими группами, когда поспеет фрукт *дуриана*. «Лучшая пора для охоты за орангутанами, — пишет Беккари, — это когда фрукт созреет. Тогда их легко находить по пяти, шести, или более, на одном дереве. В ту пору, когда я был в Маропе, май (т. е. оранг-утаны) бродили по лесам в поисках за пищею, и не легко было найти их, особенно нескольких вместе. Все-таки я видел восьмерых в один день, из них четырех — на одном дереве». Даже разновидность *тяпинг*, которой меньше, чем разновидности *касса*, появляется группами, и даяки говорят, что многие из первых видны бывают около сел, когда поспеет дуриан («Странствование в больших лесах Борнео», англ. издание, стр. 204).

Беккари видел также множество их гнезд, или логовищ. «Слово гнездо, — пишет он, — совершенно приложимо к их постелям или местам для отдыха, которые они готовят себе на деревьях, в тех местах, где селятся на время. Они делают логовище из ветвей, наломанных у данного дерева и сложенных в том месте, где это дерево широко разветвляется надвое. Не видно никакой попытки хорошенько убрать эти ветви или сделать навес. Просто сделана платформа, на которую животное может лечь. Гнезда оранг-утанов, которые я видел, очевидно, были для одной особи. Быть может, пара и строит себе более удобное логовище, но я не нашел ничего, указывающего на домашние привычки у этих обезьян» (стр. 143). Впрочем, для своих фуражировок оранг-утаны иногда сходятся по несколько.

9. Препятствия избыточному размножению

Hudson, в превосходной своей книге, «Naturalist on the La Plata» (глава III), приводит очень любопытные сведения о внезапном размножении вида мышей и о последствиях этой «волны жизни».

«Летние месяцы в 1872 и 1873 году, — пишет он, — отличались обилием солнечного света и частыми, кратковременными дождями, так что в диких цветах не было недостатка, как это бывало большею частью в предыдущие годы». Сезон был очень благоприятен для мышей, и «эти плодовые маленькие создания вскоре появились в таком изобилии, что собаки и коты питались почти исключительно ими. Лисицы, ласки и опоссумы питались ими до пресыщения; даже насекомоядный броненосец (*armadillo*) принялся за охоту за мышами. Домашняя птица превратилась в хищную», а «желтые тираны» (*Pitangus*) и кукушки *Guira* охотились исключительно за мышами. «Осенью появилось бесчисленное количество аистов и

короткоухих филинов, с целью участвовать в общем пире. Вслед за тем наступила зима, с продолжительной засухой; сухая трава была съедена или обратилась в пыль, и мыши, лишённые убежища и пищи, начали вымирать. Коты возвратились по домам; странствующий вид короткоухих филинов улетел; а маленькие, прячущиеся по норам филины отощали до того, что едва могли летать и „весь день держались вблизи жилищ, надеясь поживиться каким-нибудь случайным куском“. В ту же самую зиму погибло невероятное количество овец и рогатого скота, в течение одного холодного месяца, следовавшего за засухой. Что же касается до мышей, то, по словам Hudson'a, „после этого великого истребления едва осталось самое небольшое количество мышей, выживших все невзгоды, чтобы продолжить вид“.

Вышеприведенный пример имеет еще особенный интерес потому, что он показывает, как на равнинах и плоскогорьях внезапное размножение вида немедленно привлекает его врагов из других частей равнин, и как виды, лишённые защиты, доставляемой общественною жизнью, неизбежно должны стать добычей этих врагов.

Нечего и говорить, что не на таких кратковременных периодах внезапного размножения и последующей борьбы за существование строилась эволюция животных форм, тем более прогрессивная.

Тот же самый автор дает другой превосходный пример из своих наблюдений в Аргентинской республике. Одним из распространенных там грызунов был „койпу“ (*Myopotamus sourei*) — похожий по наружному виду на крысу, но величиной не меньше выдры. По своим привычкам это — водяной зверь, отличающийся большою общительностью. „Однажды вечером, — пишет Hudson, — все они плавали и играли в воде, разговаривая между собой путем странных вскрикиваний, которые звучали как стоны и вопли раненого, или страдающего человека. Меха „койпу“, которые обладают нежным мехом под длинными грубыми волосами, одно время вывозились в больших количествах в Европу; но около 60 лет тому назад диктатор Розас издал указ, воспрещавший охоту за этими животными. В результате животные эти размножились в необычайном количестве и, оставив свои водные привычки, стали жить на суше и совершать переселения, появляясь везде в больших количествах в поисках за пищей. Внезапно на них напала какая-то таинственная эпидемия, от которой они погибли, и в настоящее время почти все вымерли“ (стр. 12).

Истребление человеком, с одной стороны, и заразительные болезни — с другой, являются, таким образом, главными задержками, препятствующими размножению видов, а вовсе не конкуренция при добывании средств к существованию, которая может совершенно отсутствовать, а когда существует, то до некоторой степени избегается переселениями или переменою пищи.

Факты, доказывающие, что области, пользующиеся гораздо более благоприятным климатом, чем Сибирь, все-таки отличаются в равной мере недостаточной населенностью, могут быть приведены в изобилии. Но в хорошо известном труде Бэтса („Натуралист на Амазонке“) мы находим, что то же можно сказать даже о тропической области на берегах реки Амазонки.

„Действительно, — пишет Bates, — здесь имеется большое разнообразие млекопитающих, птиц и пресмыкающихся, но они рассеяны на большом пространстве и чрезвычайно пугливо относятся к человеку. Вся эта область настолько обширна и так однообразно одета лесом, что лишь через большие промежутки можно видеть животных в изобилии, когда последние находят какое-либо место, более привлекательное по сравнению с остальными“ („Naturalist on the [River] Amazon[s]“, 6-е изд., стр. 31). То же самое я писал об Олёмминско-Витимской тайге и Витимском плоскогорье.

Этот факт тем более поразителен, что бразильская фауна, бедная млекопитающими, далеко не бедна птицами, и бразильские леса могут доставить достаточно пищи для птиц, как можно видеть из предыдущей цитаты о сообществах птиц. Но, несмотря на это, леса Бразилии, подобно лесам Азии и Африки, не только не страдают перенаселенностью, а скорее отличаются недостаточным животным населением. То же самое справедливо и относительно пампасов Южной Америки, о которых Hudson замечает, что они вызывают удивление тем, что на такой обширной территории, покрытой травой и так приспособленной для обитания травоядных животных, встречаешь только один вид маленьких жвачных. Как известно, в некоторой части этих прерий теперь пасутся миллионы овец, рогатого скота и лошадей, разведенных человеком. Птиц в пампасах мало, и по количеству видов, и по их численности.

10. Приспособления во избежание борьбы за существование

Множество примеров таких приспособлений можно найти в трудах всех натуралистов, изучавших жизнь животных в дикой природе. Одним из таких примеров, очень интересным, может служить волосатый броненосец *Armadilla*, о котором W. H. Hudson говорит, что „он избрал подходящий для себя образ жизни и вследствие этого процветает, в то время как его сородичи быстро вымирают. Пища его отличается чрезвычайным разнообразием. Он охотится за всякого рода насекомыми, открывая червей и личинок, находящихся на глубине нескольких дюймов под почвой. Он очень любит яйца и птенчиков; питается падалью так же охотно, как ястреб; а если случается недостаток в животной пище, он довольствуется растительной диетой — клевером и даже зернами кукурузы. Поэтому, в то время как другие животные голодают, волосатый броненосец всегда жирен и энергичен“ („Naturalist on the La Plata“, стр. 71).

Приспособляемость пиголицы способствует чрезвычайно широкому распространению этого вида. В Англии пиголица „чувствует себя среди распаханых полей так же дома, как и в диких местностях“. А про хищных птиц Ch. Dixon говорит в своей книге „Birds of Northern Shires“ (стр. 67), что „разнообразие пищи является еще в большей степени общим правилом у хищных птиц“. Таким образом, мы узнаем от того же самого автора (стр. 60, 65), что коршуны британских болот питаются не только маленькими птичками, но также кротоми и мышами, лягушками, ящерицами и насекомыми, в то время как меньшего

размера соколы питаются большею частью насекомыми».

В высшей степени поучительная глава, которую W. H. Dixon посвящает семейству южно-американских лазящих птиц, является также превосходной иллюстрацией тех путей, при помощи которых значительные части животного населения избегают конкуренции, и в то же время достигают очень значительного размножения в данной области, вовсе не обладая вооружением, которое обыкновенно считается существенным для успешной борьбы за существование. Вышеупомянутое семейство лазящих распространено на огромном пространстве, от южной Мексики до Патагонии, и из него описано уже не меньше 290 видов, принадлежащих к 46 различным родам, причем наиболее поразительною чертою этого семейства является поразительное разнообразие в привычках его членов. Не только различные роды и виды обладают свойственными им одним привычками, но часто даже одни и те же виды видоизменяют образ жизни в различных местностях. Некоторые виды *Xenops* и *Magarornis*, подобно дятлам, взбираются вертикально по стволам деревьев в поисках за насекомыми, но также, подобно синицам, обыскивают мелкие ветви и листву на концах ветвей, так что ими осматривается все дерево, от корней до самой верхушки. *Sclerurus*, хотя обитает в самых темных лесах и снабжен острыми загнутыми когтями, никогда не отыскивает себе пищи на деревьях, но исключительно на земле, среди разлагающихся опавших листьев; это тем более странно, что если вспугнуть его, он летит к стволу ближайшего дерева, к которому прижимается в вертикальном положении, оставаясь все время неподвижным и не издавая звука, причем он избегает опасности быть открытым, благодаря своей темной покровительственной окраске. И так далее. Точно так же они отличаются громадным разнообразием в манере строить свои гнезда. Так, в одном и том же роде, три вида строят глиняные гнезда, напоминающие своей формой печь, четвертый вид строит гнездо из палочек на деревьях, а пятый пробуравливает себе гнезда на берегах рек, подобно зимородкам.

Замечательно, что все это обширное семейство, про которое Hudson говорит, что «каждая часть южно-американского континента населена ими; ибо в действительности не имеется климата, почвы, или растительности, которые не обладали бы каким-нибудь своим видом этих птиц», — принадлежит «к самым беззащитным птицам». Подобно уткам, упоминаемым Северцовым (см. в тексте), они не обладают ни мощным клювом, ни когтями; «они боязливы, не оказывают сопротивления и не обладают ни силой, ни вооружением; их движения менее быстры и менее энергичны, чем у других птиц, а их полет отличается чрезвычайною слабостью». Но они обладают, как заметили это Hudson и уже давно Asara, «в значительной степени общительным инстинктом», несмотря на то, что «их общественным инстинктам сильно мешают условия их жизни, требующие одиночества». Они не могут устраивать тех обширных товариществ для вывода птенцов, которые мы видели у морских птиц, так как они питаются древесными насекомыми и должны тщательно обыскивать поодиночке каждое дерево, что они и исполняют чрезвычайно деловым образом; но они постоянно перекликаются в лесу, «ведя разговоры друг с другом на больших расстояниях»; они объединяются в те «странствующие стаи», которые так хорошо известны по живописным описаниям Бэтса. А Hudson пришел к мысли, «что везде в южной Америке *Dendrocolaptidae*

первые объединяются для совместных действий, и что птицы других семейств следуют за ними в их походах и вступают с ними в сообщества, зная по опыту, что можно рассчитывать на богатую добычу». Едва ли нужно добавлять, что Hudson очень высокого мнения об их смысленности. Общительность и ум всегда идут рука об руку.

11. Происхождение семьи

В то время, когда я писал соответствующую главу в тексте этой книги, среди антропологов, казалось, установилось известного рода согласие относительно сравнительно позднего появления, в ряду обычаев человечества, патриархальной семьи, какая была у евреев или в императорском Риме. Но с того времени появились работы, в которых воззрения, выдвинутые впервые Бахофеном и Мак-Леннаном, приведенные в систему в особенности Морганом, и развитые дальше и подтвержденные Постом, Максимом Ковалевским и Лёббоком, оспариваются; причем наиболее важными из работ этого направления являются: труд датского профессора С. N. Starcke («Primitive Family», 1889) и гельсингфорского профессора Edward Westermarck'a («The History of Human Marriage», 1891; 2-е изд. 1894). С вопросом о формах первобытного брака случилось, таким образом, то же, что и с вопросом о первобытной форме землевладения. Когда мысли Маурера и Нассэ о деревенской общине, развитые после них целую школу талантливых исследователей, а также мысли современных антропологов о первобытной коммунистической конституции рода встретили почти общее признание, — они вызвали появление таких трудов, как Фюстель-де-Куланжа во Франции, Фридерика Сибома (Seebohm) в Англии и нескольких других, в которых была сделана попытка, отличавшаяся скорее блеском, чем действительно глубиной исследования, — опровергнуть эти идеи и набросить тень сомнения на выводы, к которым пришли современные исследователи (см. предисловие проф. Виноградова к его замечательному труду «Villainage in England»). Равным образом, когда мысль об отсутствии семьи в ранней родовой стадии развития человечества была принята большинством антропологов и исследователей древнего права, она вызвала труды, подобные работам Штарке и Вестермарка, в которых человек изображался, согласно еврейской традиции, как существо, выступившее сразу уже с семьею, очевидно патриархальною, и никогда не проходившее чрез стадию развития стадной семьи, описанную Мак-Леннаном, Бахофеном или Морганом. Эти работы, из которых „История Человеческого Брака“ Вестермарка к тому же блестяще написана, нашли широкий круг читателей и, несомненно, произвели известного рода впечатление: те, кто не имел возможности ознакомиться с объемистой литературой по предмету научного спора, начали колебаться; а в то же время некоторые антропологи, прекрасно ознакомленные с предметом, как, например, французский профессор Дюркгейм, заняли примирительное, но несколько неопределенное, положение.

Прямого отношения к специальным задачам труда, посвященного вопросу о взаимной помощи, этот спор не имеет. Тот факт, что люди жили родами с

древнейших стадий развития человечества, не оспаривается даже теми, которые чувствуют себя шокированными идеей, что человек мог пережить такую стадию развития, когда семья — в общепринятом значении этого слова — не существовала. Но предмет спора имеет глубокий интерес и заслуживает упоминания, хотя для полного рассмотрения его понадобился бы целый том.

Когда мы стараемся приподнять завесу, скрывающую от нас древние учреждения, особенно те, которые преобладали при первом появлении существ человеческого типа, нам приходится — за отсутствием прямых свидетельств — совершать громадную, копотливую работу, чтобы проследить в восходящем порядке все признаки существования каждого учреждения. Тщательно отмечая малейшие следы их в привычках, обычаях, преданиях, песнях, фольклоре и т. д., мы сводим затем в одно результаты каждого из этих отдельных изучений и мысленно восстанавливаем общество, которое отвечало бы одновременному существованию всех этих учреждений. Всякому понятно поэтому, какая масса фактов и какое огромное количество изучений, в частности, известных сторон вопроса требуется для того, чтобы прийти к какому-нибудь прочному заключению. Именно такого рода детальное изучение и можно найти в монументальных трудах Бахофена и его последователей, между тем как оно отсутствует в трудах противной школы. Масса фактов, собранных профессором Вестермарком, несомненно, поражает изобилием, и его труд имеет большую ценность, как критическая работа; но едва ли он побудит тех, кто в оригиналах знаком с трудами Бахофена, Моргана, Мак-Леннана, Поста, Ковалевского и т. д., и кто ознакомлен с работами школы деревенской общины, изменить свои мнения и принять теорию патриархальной семьи.

Так, аргументация, основываемая Вестермарком на семейных обычаях приматов (высших обезьян), не имеет, смею сказать, той цены, которую он ей приписывает. Наше знакомство с семейными отношениями общительных видов обезьян нашего времени отличается чрезвычайно недостаточностью, причем два необщительных вида — оранг-утаны и гориллы — не могут быть принимаемы в расчет, так как оба вида, как я уже указал в тексте, очевидно, принадлежат к вымирающим видам. Еще менее нам известно об отношениях, существовавших между самцами и самками приматов к концу третичного периода. Жившие в то время виды, весьма вероятно, все вымерли, и мы не имеем ни малейшего представления о том, который из них был прародительскою формою, из которой выработался человек. Все, что мы можем сказать с некоторым вероятием, это то, что у различных видов обезьян должны были существовать различные семейные и родовые отношения, что видов в то время было *чрезвычайно* много, и что с тех далеких времен в обычаях приматов должны были произойти крупные изменения, подобные тем изменениям, которые имели место даже в течение двух последних столетий в обычаях многих других млекопитающих, переставших жить обществами.

Вследствие этого спор должен быть сведен исключительно к человеческим учреждениям; и при подробном обсуждении каждого отдельного следа каждого древнего учреждения, *в связи со всем тем, что нам известно о других, учреждениях того же самого народа или того же самого рода*, лежит главная сила доказательств школы, утверждающей, что патриархальная семья есть учреждение сравнительно позднего происхождения.

Действительно, у первобытных племен имеется *целый круг установлений и обычаев*, которые становятся вполне понятными, если мы примем идеи Бахофена и Моргана, а без них совершенно необъяснимы. Таковы: коммунистическая жизнь рода, пока он не распался на отдельные отеческие семьи; жизнь в *длинных домах* и жизнь *классами*, занимающими отдельные „длинные дома“, соответственно возрасту и степени принятия (инициации) юношей в состав рода (Миклухо-Маклай, Н. Schurz); ограничения личного накопления имущества, которых примеры я дал в тексте и в одном из Приложений; тот факт, что женщины, взятые из другого рода, прежде чем перейти в частную собственность, должны побыть собственностью всего рода; и многие подобные обычаи, разобранные Лёббоком. Этот обширный круг установлений и обычаев, постепенно приходивших в упадок и исчезнувших в следующей фазе человеческого развития, которая характеризуется деревенской общиной, находится в полном согласии с теорией „родового, стадного брака“. Но школа патриархальной семьи проходит мимо них, почти не обращая на них никакого внимания.

Такой путь обсуждения вопроса, конечно, неправилен. У первобытных людей не было такого наложения, или переживания разновременных обычаев, какое существует у нас. У них было *одно* установление, — род, который включал уже *все* взаимные отношения членов рода. Брачные отношения и отношения, связанные с владением, суть родовые отношения. А потому мы могли бы, по крайней мере, ожидать от защитников теории патриархальной семьи, что они укажут нам, каким образом вышеупомянутый круг установленных обычаев (позднее исчезнувший) мог существовать в обществах людей, которые жили бы под системой, противоречащую подобным институциям, т. е. под системой отдельных семей, управляемых каждая своим главою семьи. Откуда явился первобытный коммунизм, когда система отдельных семей противоречила ему?

Далее, нельзя признать научной ценности за объяснениями, которыми защитники патриархальной теории стараются устранить серьезные затруднения, для их теории. Так, например, Морган доказал значительным количеством фактов, что у многих первобытных племен существует строго соблюдаемая „система классификации групп“, и что все индивидуумы одной и той же категории называют друг друга как если бы они были братьями и сестрами, между тем как юные индивидуумы называют сестер своих матерей матерями, и т. д. Утверждать, что это была просто „*façon de parler*“, т. е. способ выражения своего уважения к старшим — значит легким манером избавляться от необходимости объяснять, почему именно этот способ выражения своего уважения, а не какой-нибудь другой, настолько преобладал среди множества племен различного происхождения, что у многих из них он уцелел вплоть до настоящего времени? Конечно, вполне возможно, что „ма“ и „па“ — такие слоги, которые всего легче произнести ребенку, но вопрос в том, почему этот „ребячий язык“ употребляется взрослыми людьми и прилагается к известной, строго определенной категории лиц?

Почему у столь многих племен, у которых и мать, и ее сестры называются „ма“, отец именуется „тятя“ (что сходно с „дядя“), „дад“, „да“ или „па“? Почему наименование „матери“, которое сперва давалось теткам с материнской стороны, было позднее заменено отдельным наименованием? и так далее. Но когда мы

знакоимся с тем фактом, что у многих дикарей сестра матери принимает такое же участие в воспитании ребенка, как и сама мать, так что, если смерть уносит любимого ребенка, другая „мать“ (сестра матери) готова пожертвовать собой, чтобы сопровождать ребенка в его путешествии в иной мир — мы, несомненно, склонны будем видеть в этих наименованиях нечто более глубокое, чем простую façon de parler, или способ выражения почтения. Мы еще более утвердимся в этом убеждении, узнав о существовании целого ряда переживаний (подробно рассмотренных Лёббоком, Ковалевским и Постом), которые все сходятся в том же направлении. Конечно, можно, пожалуй, утверждать, что родство считается с материнской стороны, „потому что ребенок больше остается с матерью“; или же тот факт, что дети одного отца от разных жен, принадлежащих к различным родам, считаются принадлежащими к родам их матерей, можно, пожалуй, объяснять тем обстоятельством, что дикари „невежды в области физиологии“; но подобные ответы даже приблизительно не будут соответствовать серьезности затронутых вопросов — в особенности если принять во внимание известный факт, что обязанность сына носить имя матери влечет за собою принадлежность к роду матери во всех отношениях, т. е. включает право на все принадлежащее материнскому роду, а равным образом право на защиту с его стороны, право не быть утесняемым никем, принадлежащим к материнскому роду и обязанность отомщать родовые обиды этого рода. Даже если бы мы допустили на мгновение удовлетворительность подобных объяснений, мы вскоре убедились бы, что в таком случае придется подыскивать отдельное объяснение для каждой категории подобных фактов, а эти факты очень многочисленны. Упомянув лишь немногие из них, требуется объяснить: деление родов на классы, в то время, когда не имеется никакого деления соответственно имущественным условиям или общественному положению; в особенности экзогамию, т. е. обязательство брать личную жену из другого рода, и никогда из своего, а равно и все последующие обычаи, перечисленные Лёббоком; завет крови, или обряды побратимства и ряд подобных же обычаев, имеющих целью засвидетельствовать единство происхождения; существование родовых богов, предшествующее появлению богов семейных; обмен женами, существующий не только среди эскимосов во времена бедствий (см. текст), но также широко распространенный среди многих других племен совершенно различного происхождения; тем большую слабость брачных уз, чем ниже ступень цивилизации; сложные браки — когда несколько мужчин женятся на одной жене, принадлежащей каждому из них по очереди; уничтожение брачных ограничений в период празднеств, или на каждый пятый, шестой и т. д. день; сожителство семей в „длинных домах“; обязательство воспитывать сирот, падающее даже в более поздний период на дядю с материнской стороны; значительное количество переходных форм, указывающих на постепенный переход от родословия по материнской линии к родословию по отцовской; ограничение числа детей родом, а не семьей, и снятие этого сурового ограничения во времена изобилия; то обстоятельство, что ограничения в семье являются позднее, чем ограничения в роде; принесение себя в жертву престарелыми родственниками, в интересах рода; родовая кровавая месть и многие другие привычки и обычаи, которые приняли характер „семейных дел“ лишь тогда, когда установилась семья в современном значении этого слова; многие брачные и предбрачные церемонии, поразительные примеры

которых можно найти в труде Лёббока и в работах некоторых современных русских исследователей; отсутствие брачного церемониала там, где родословие ведется по матриархальной линии, и появление такого церемониала у племен, следующих отцовской линии происхождения, причем все эти факты и многие другие^[357] указывают, что, по замечанию Дюркгейма, брак, в современном смысле слова, „был только терпим и встречал препятствия со стороны враждебных сил“; уничтожение после смерти человека всего его личного имущества; и, наконец, громадную массу переживаний^[358], мифов (указанных Бахофеном и многими его последователями), фольклор и т. д., — причем все они сходятся в своих свидетельствах в одном и том же направлении.

Конечно, все это несколько не доказывает, чтобы когда-либо был такой период, когда женщина была поставлена выше мужчины, или считалась бы главою рода, как это утверждал Бахофен. Это — вопрос совершенно иного разряда, и я склонен думать, что такого периода никогда не существовало. Равным образом факты эти не доказывают, чтобы было такое время, когда бы не существовало никаких родовых ограничений полового союза — такое предположение абсолютно противоречило бы всем известным фактам. Но если принять в соображение все факты, обнаруженные новейшими изысканиями, и притом рассматривать их во взаимной их зависимости, нельзя не прийти к заключению, что если даже и возможно было существование в первобытном роде изолированных пар с их детьми, то подобные зарождающиеся семьи были *лишь терпимыми исключениями, а не установлениями того времени.*

12. Уничтожение частной собственности на могиле

В замечательной работе J. V. de Groot'a („The Religious Systems of China“, 1892–97, Leyden) мы находим подтверждение идеи, высказанной в тексте. В Китае (как и в других странах) было время, когда все личное имущество покойника уничтожалось на его могиле — его движимое имущество, его рабы и даже друзья и вассалы и, конечно, его вдова. Моралистам пришлось сильно бороться, прежде чем был положен конец этому обычаю.

У английских цыган обычай уничтожения всего движимого имущества на могиле покойника сохранился до настоящего времени. Все личное имущество цыганской королевы, умершей в 1896 году, в окрестностях города Slough, было уничтожено на ее могиле. Прежде всего пристрелили ее коня и похоронили его. Затем разломали и сожгли телегу с домиком, в которой она ездила, и сожгли хомут лошади и мелкие принадлежности ее хозяйства. В свое время об этом было сообщено в нескольких газетах, и я сохранил вырезки.

13. „Неделеная семья“

Несколько ценных работ о южно-славянской „задруге“, в сравнении с другими формами семейной организации, появилось с тех пор, как была издана эта книга, а именно работа Эрнеста Миллера (в „Jahrbuch der Internationaler Vereinung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre“, 1897) и прекрасные работы И. Е. Гешова, „Задруга в Болгарии“ и „Задружное владение и работа задругой в Болгарии“ (обе на болгарском языке). Я должен также напомнить про хорошо известную серьезную работу Богишича („De la forme dite „inokosna“ de la famille rurale chez les Serbes et les Croates“, Paris, 1884), упоминание о которой было опущено в тексте.

14. Происхождение гильдий

Происхождение гильдий было предметом многих споров. Нет ни малейшего сомнения в том, что ремесленные гильдии, или „коллегии“ ремесленников, существовали в древней Греции и древнем Риме. Более того, судя по одному месту у Плутарха, при Нуме уже были изданы законы, касающиеся их. „Он разделил народ, — говорит Плутарх, — на ремесла... приказав им иметь братства, празднества и собрания и указав им, какое поклонение они должны совершать богам, соответственно достоинству каждого ремесла“. Очевидно, трудовые коллегии не были изобретены или основаны римским королем, так как они существовали уже в древней Греции; по всем вероятностям, при Нуме они просто были подчинены королевскому законодательству, как это сделал пятнадцатью столетиями позже Филипп Красивый, подчинив ремесла Франции, к их вреду, королевскому надзору и законодательству. Относительно одного из наследников Нумы, Сервия Туллия, сохранилось известие, что он также издал некоторые законы относительно коллегий^[359].

Вследствие этого вполне естественно, что историки должны были задаваться вопросом о том, не были ли гильдии, так сильно развившиеся в XII и даже X и XI столетиях, возрождением древних римских „коллегий“, — тем более, что последние, как видно из вышеприведенной цитаты, вполне соответствовали средневековым гильдиям^[360]. Известно, что корпорации римского типа существовали в Южной Галлии вплоть до V столетия. Кроме того, одна надпись, найденная во время раскопок в Париже, показывает, что корпорация *nautae* в Лютеции существовала при Тиберии; а в хартии, данной парижским „водным купцам“ в 1170 году, об их правах говорится, как о существующих *ab antiquo*, т. е. со времен древности (тот же автор, стр. 51). Таким образом, не было бы ничего удивительного, если бы корпорации удержались в ранней средневековой Франции после нашествий варваров.

Но, допуская это, все-таки нет никакого основания утверждать, что голландские корпорации, нормандские гильдии, русские артели, грузинские „амкари“ и т. д. непременно также должны были иметь римское, или хотя бы византийское происхождение. Конечно, сношения между норманнами и столицей восточно-римской империи были очень деятельны, и славяне (как было доказано русскими историками, а в особенности Rambaud) принимали живое участие в этих сношениях.

Так что норманны и русские могли занести римскую организацию трудовых корпораций в свои земли. Но когда мы видим, что артель является самой сущностью повседневной жизни русского трудящегося народа, уже в десятом веке, и что артель, несмотря на отсутствие, вплоть до настоящего времени, какого бы то ни было регулирующего ее законодательства, обладает теми же самыми чертами, как и римская коллегия или западная гильдия, мы еще более склонны думать, что восточная гильдия имеет происхождение даже более древнее, чем римская коллегия. Римляне прекрасно знали, что их *sodalitia* и *collegia* были „тем, что греки называли *hetairiai*“ (Martin-Saint-Léon, стр. 2), причем греческие *hetairiai* тесно связаны с родовым бытом; и поскольку мы знакомы с историей востока, мы можем утверждать, почти без боязни впасть в ошибку, что великие нации востока, а равным образом и Египет, также имели гильдейские организации.

Где бы мы ни находили эти организации, их существенные черты везде остаются теми же самыми. Это — союз людей, занятых одною профессиею или ремеслом. Такой союз, подобно первобытному роду, имеет своих собственных богов и собственный церемониал богопоклонения, всегда содержащий в себе некоторые таинства, особые для каждого отдельного союза. Он рассматривает всех своих членов, как *братьев и сестер* — может быть (вначале) со всеми последствиями, которые налагались подобными отношениями в роде, или, по крайней мере, с церемониями, которые указывали или символизировали отношения между братом и сестрою, существовавшие в первобытном роде; и, наконец, в этом союзе существуют все те обязательства взаимной поддержки, какие существовали в роде; а именно: исключение даже самой возможности убийства в пределах братства, родовая ответственность всех братьев пред судом и обязательство, в случае возникновения недоразумений более мелкого характера, отдавать их на обсуждение судей, или, точнее, посредников из среды гильдейского братства. Таким образом, можно сказать, что гильдия складывалась *по образцу рода* и, по всей вероятности, ведет от него свое происхождение.

Вследствие этого я склонен думать, что те же самые замечания, которые были сделаны в тексте относительно происхождения деревенской общины, могут быть в равной степени приложены к гильдии, артели, ремесленным и соседским братствам. Когда все узы, которые ранее соединяли людей в их родах, были ослаблены вследствие переселений, появления отеческой семьи и растущего различия занятий — человечеством был выработан новый *территориальный союз* в форме деревенской общины, и другой союз — *союз по занятию* — выработался на основе воображаемого братства. Создавался *воображаемый род*, который выражался между двумя или несколькими людьми „кровным братством“ (славянское побратимство), а между бóльшим количеством людей различного происхождения, т. е. происходивших из различных родов, но населявших ту же самую деревню или город (или даже различные деревни или города), он выражался в форме фратрии, гетерии, амкари, артели, гильдии^[361].

Что же касается до идеи и формы подобной организации, то ее элементы уже наметились со времени периода дикарей и передавались вплоть до позднейшего времени. Нам известно, что у всех дикарей имеются в роде отдельные тайные организации воинов, колдунов, молодых людей и т. д., а также мистерии или

таинства, в которых сообщаются сведения об охоте или способах ведения войны и соответственные заклинания и обряды (маскированные танцы и т. д.). Эти своего рода ремесленные мистерии, которые Миклухо-Маклай называл „клубами“, были, по всем вероятностям, прототипами, образцами будущих гильдий^[362].

Что же касается вышеупомянутого труда E. Martin-Saint-Léon, то прибавлю, что он содержит очень ценные сведения относительно организации ремесел в Париже (на основании известной книги Voileau, „Le Livre des métiers“) и хороший свод сведений относительно вольных городов в различных частях Франции, со всеми библиографическими указаниями. Не должно, однако, забывать, что Париж был „королевским городом“ (подобно Москве или Вестминстеру) и что вследствие этого свободные учреждения средневекового города никогда не достигли в нем того развития, какого они достигали в свободных вечевых городах. Корпорации Парижа действительно представляют „картины типической корпорации, рожденной и развившейся под прямым руководством королевской власти“, как говорит Мартен-Сен-Леон, но не свободной гильдии вольного города. По той самой причине, что она развивалась „под прямым руководством королевской власти“ (причине, которую автор рассматривает, как причину их превосходства, между тем как она была причиной их сравнительной слабости, причем он сам, в различных частях своей работы, вполне ясно указывает на то, как вмешательство имперской власти в Риме и королевской власти во Франции разрушило и парализовало жизнь ремесленных гильдий), — по той самой причине, что они развивались со вмешательством королевских чиновников, они никогда не достигли того поразительного роста и влияния на всю жизнь города, какого они достигали в северо-восточной Франции, а также в Лионе, Монпелье, Ниме и т. д., или в свободных городах Италии, Фландрии, Германии и славянского востока.

15. Рынок и средневековой город

В работе о средневековом городе (Rietschel, „Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnisse“, Leipzig, 1896) Ритшель развил идею, что происхождение германских средневековых вольных городов следует искать в рынке. — Местный рынок, поставленный под покровительство епископа, монастыря или князя, собирал вокруг себя население торговцев и ремесленников, но не земледельческое население. Секторы („концы“), на которые обыкновенно делились города, расхившиеся по радиусам от рынка и населенные каждый ремесленниками данного ремесла, служат, по его мнению, доказательством этой теории: секторы обыкновенно составляли „старый город“, а „новый город“ составляла земледельческая деревня, принадлежавшая князю или королю. Деревня и город управлялись по различным законам.

Несомненно, что рынок играл важную роль в ранних стадиях развития всех средневековых городов, содействуя увеличению богатства граждан и внушая им идеи независимости: но, как было уже замечено Карлом Гегелем, автором очень ценной работы общего характера о германских средневековых городах (Die

Entstehung des deutschen Städtewesens», Leipzig, 1898), городской закон и закон рынка были две вещи разные.

В своей обширной работе Гегель, на основании подробного исследования, пришел, таким образом, к тому же заключению, что и я позволил себе высказать в настоящей книге, т. е. что средневековой город имел *двойственное* происхождение. В нем было, говорит Гегель, «два населения, жившие бок о бок: одно сельское, и другое чисто городское»; сельское население, жившее ранее при организации *Almende*, или деревенской общины, было включено в состав города.

Что касается до торговых гильдий, то заслуживает специального упоминания новая работа Herman van den Linden'a («Les Gildes marchandes dans les Pays-Bas au Moyen Age», Gand, 1896, в «Recueil de travaux publiés par la Faculté de Philosophie et Lettres»). Автор следит за постепенным развитием политической силы и власти, которые эти гильдии понемногу приобрели по отношению к промышленному населению, в особенности по отношению к торговцам сукнами, и описывает лигу, заключенную ремесленниками, с целью противодействовать растущей власти этих гильдий. Идея, развиваемая в настоящей книге о появлении торговых гильдий в более поздний период, почти совпадающий с периодом упадка городских вольностей, находит таким образом подтверждение в изысканиях Н. van den Linden'a.

16. Сельская община в Англии. Современные ее следы

В то время, когда я готовил первое русское издание этой книги, в начале 1907 года, я получил замечательную работу д-ра Гильберта Слэтера, «Ограждение общинных земель, рассматриваемое географически», помещенную в «Geographical Journal» Лондонского Географического Общества за январь 1907 года. Д-р Слэтер изучил в этой работе не столько ограждение общинных пустошей и выгонов, сколько ограждение *обрабатываемых полей*, которые оставались — иногда до самого последнего времени — в общинном пользовании (иногда перешедшем в землевладение). Для пояснения своей мысли он берет, как пример, село Кастор и Эйльзворс, близ Питерборо, где ограждение общинной земли, уничтожившее общину, произошло только в 1892 году. В этих двух деревушках все дома, кроме мельницы и железнодорожной станции, были скучены возле церкви и вдоль большой дороги. За домами лежали загороженные места, служившие, чтобы накормить на траве лошадей, и выгоны (*paddocks*). Затем, к северу и к югу тянулись пахотные земли, без всяких загородей, кроме там-сям уцелевшей межи, кое-где поросшей кустами.

Все домохозяева этого села, числом около двадцати, владели (вплоть до 1892 года) *полосами*, точь-в-точь, как в русской общине. Так например, ректор (т. е. священник), владевший 40 десятинами земли (100 акров) в пахотных полях, владел ими в 145 отдельных полосах (*strips*), ничем не отделенных от других полос, кроме борозды, проведенной плугом. Посреди этих пахотных полей оставалось несколько

общественных выгонов; в северо-западном углу была пустошь — обычного типа английских commons, — а на юге, по р. Нен, простирались общинные луга, которые были все подразделены на полосы, еще меньшие, чем в пахотных полях. Все полосы, даже в пахотных полях, подлежали общинным правам выгона.

К работе д-ра Слэтера приложен план села Лакстона, до сих пор остающегося в общинном владении, и этот план поразительно схож, до тождественности, с планами русских общин, приложенными к известной книге П. П. Семенова о русской сельской общине.

Земледельческой единицею, — говорит Слэтер, — была тогда деревня, община, а не крестьянский двор. Фермер должен был работать не по своей фантазии, а по плану, выработанному сообща общиной. Система бывала обыкновенно усовершенствованная трехпольная, т. е. 1) пшеница, 2) яровое и 3) вместо пара — посеvy гороха, чечевицы и т. п. мотыльковых и корнеплодных. (Самое имя пара — fallow — изменилось в follow crop, т. е. *последующий* посев.)

Каждую весну все домохозяева собирались и определяли права каждого, судя по количеству «stints» (тягол?), которые он представлял. В общих выгонах stint представлял право пастьбы одной лошади, или 2-х коров, или 10-и овец. Луга были открыты для всех домохозяев с 1 августа (ст. ст.) до 2 февраля (ст. ст.), очевидно, от первого Спаса до Сретенья; озимое и яровое поле — от жатвы до посева, а что касается третьего поля, то каждый год решали, что на нем растить и когда его открывать для общинной пастьбы скота.

Когда общинное владение уничтожалось, то вся площадь разбивалась на известное число ферм, и каждый фермер должен был огородить свою землю.

Таковы интересные факты, открытые д-ром Слэтером. Затем он предпринял грандиозную работу. Оказалось, что хотя захват общинных земель совершался в XVIII и XIX веке во всей Англии и Уэльсе, тем не менее далеко не везде ограждали *пахотные* поля. Во многих графствах загоразивались уже одни пустоши и выгоны. Тогда автор стал читать каждый из актов ограждения порознь, чтобы узнать, сколько в каждом отдельном случае уничтожалось общинного землевладения *на пахотные земли* (помимо лугов и пустошей), и он составил список, — какая часть из всей площади каждого графства находилась под пахотными полями в общинном владении. Оказалось, что в некоторых графствах она составляла четверть (Беркшэйр, Уорик, Уильтшэйр), треть (Норфольк, Ноттингам, Бек, Кэмбридж), или даже около половины (Йорк, Оксфорд, Бэдфорд, Рэтланд, Хэнтингдон, Нортampton) *всей площади удобных и неудобных земель графства*.

Во всех этих случаях уже не бывало, однако, *передела* земли. Полосы в разных полях принадлежали каждому владельцу из поколения в поколение, с тех пор как они попали (иногда — даже путем покупки), тому или другому общиннику. Но будучи уже частными владельцами своих полос, общинники тем не менее продолжали сотни лет вести мирское общинное хозяйство, *улучшая при этом систему земледелия*.

Система общинного ежегодного *передела* земли, известная под названием «run-rig» (оборот полос) в Шотландии и Уэльсе, «run-dale» в Ирландии, и «rig aid

rennal» в Кэйтснесе, существует по сию пору в Шотландии и, вероятно, кое-где в Ирландии^[363]. В половине же XIX века она была очень широко распространена. Об ней говорил также Вильям Маршалль, упомянутый в тексте, описывая различные части Англии.

Вообще работа д-ра Слэтера, напечатанная в журнале Географического Общества, на которую он посвятил четырнадцать лет жизни, полна самых интересных данных об общинной пахоте, о «сложном плуге», о фермерстве по четыре хозяйства сообща^[364], и вообще о различных типах сельской общины в различных частях Англии.

Упомянутая статья д-ра Слэтера вошла в его книгу «The English Peasantry and the Enclosure of Common Fields», изданную Школою Экономики в 1907 году, полную интересных данных. Из нее видно, например, что в 1873 году, на основании данных Королевской Комиссии, общинные поля (пахотные, обрабатываемые поныне) имелись еще в 905 приходах Англии и Уэльса, и покрывали 166 593 акра (60 700 дес.), и что в 500 других приходах имелось, по всем видимостям, еще около 100 000 акров таких же земель (всего, значит, около 98 500 десятин). Общинное владение пахотными долями сохранилось, таким образом, в десятой части всех приходов Англии и Уэльса, несмотря на все меры, принятые парламентом, чтобы убить эту форму землевладения.

17. О сельской общине в Швейцарии

Переживания общинного владения в Швейцарии приняли некоторые интересные формы, на которые д-р Брупбахер любезно обратил мое внимание, приславши мне ниже названные сочинения.

Цугский кантон состоит из двух долин: долина Эгери и дно Цугской долины. В состав его входят — пользуясь терминологию д-ра Карла Рюттиманна, — десять «политических» общин, т. е. общин, составляющих административные единицы, и во всех «этих политических общинах Цугского кантона, — говорит К. Рюттиманн, — кроме Менцингена, Нейхейне и Риша, — рядом с землями частного владения имеются обширные части территории (поля и леса), принадлежащие корпорациям общин (Allmend), большим и малым, которые заведуют этими землями сообща. Такие общинные союзы известны теперь в Цугском кантоне под именем *корпораций*. В политических коммунах Оберэгери, Унтерэгери, Цуг, Вальхвиль, Хам, Штейнгаузен и Хюненберг, есть по одной корпорации в каждой общине; но в общине Баар имеется пять отдельных корпораций».

Казна оценивает собственности этих корпораций в 6 786 000 франков (около 2 750 000 рублей).

Статуты этих корпораций признают, что владения альмендов представляют «их общую, нераздельную и неотчуждаемую собственность, которая не может быть

закладывается».

Членами этих корпораций состоят древние «фамилии» бюргеров. Все же другие члены общин, не принадлежащие к древним семьям, не входят в корпорации и не пользуются правами на древне-общинные земли. Кроме того, несколько семей, в некоторых общинах кантона, состоят также бюргерами сельской общины Цуг. В времена (OCR:??? что-то пропущено) существовал также класс поселившихся чужаков (Beisassen, присельщики), занимавший промежуточное положение между бюргерами и не-бюргерами, но теперь этот класс больше не существует. Одни бюргеры имеют права на Альменд (или корпорационные права), которые различны в различных общинах, и в некоторых из них распространяются на дома, построенные на общинной земле. Эти права, называемые Gerechtigkeiten, могут, однако, быть покупаемы, даже иностранцами.

Таким образом, приток чужаков произвел в общинах Цугской республики то же, на что Мясковский и М. Ковалевский указывали в других частях Швейцарии. Одни наследники древних общинников имеют право на общинные земли, довольно обширные до сих пор. Все, без различия, жители общины составляют только «политическую общину», т. е. административную группу, которая, как таковая, не имеет прав на общинное достояние^[365].

Что касается до того, как общинные земли были поделены между общинниками, в конце XVIII века, и какие из этого возникли сложные формы землепользования, описание этого процесса можно найти в работе д-ра Карла Рюттиманна, «Die Zugerischen Allmend Korporationen», в «Abhandlungen zum Schweizerischen Recht» проф. Max Caiür'a, 2 выпуска, Берн, 1904 (содержит также библиографию предмета).

Другая работа дает превосходное понятие о прежней деревенской общине в Бернской Юре. Это монография д-ра Hermann Rennefahrt'a, «Die Allmend im Berner Jura», Бреславль, 1905, (в «Untersuchungen zur Deutschen Staats und Rechts-Geschichten» von D-r Otto Gierke, fasc. 74, P. 227; содержит библиографию). Здесь прекрасно изложены отношения, существовавшие между баринном и общинами, равно как и хозяйственные распоряжки в этих последних. Здесь же дан очерк мер, принятых французами при завоевании Швейцарии в конце XVIII века, чтоб уничтожить сельскую общину, заставить ее разделить свои земли и передать землю, кроме лесов, в частную собственность — и там же рассказано, как провалились эти законы. Другая интересная часть работы Реннефарта показывает, как общины Бернской Юры сумели, за последние пятьдесят лет, извлечь лучший доход из своих земель и усилить их производительность, не уничтожая общинного владения (см. стран. 165–175).

Монография д-ра Ed. Grafa «Die Auftheilung der Allmend in der Gemeinde Schaez», Берн, 1890, рассказывает ту же повесть деревенской общины и насильственного дележа ее земель в кантоне Люцерн.

Д-р Брупбахер, который прекрасно разобрал в швейцарской прессе все эти труды, прислал мне также следующее: «Die Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Mark-genossenschaft», д-ра Karl Bürkli, Цюрих, 1891 («Происхождение Швейцарской

федерации из общины»), а также лекцию проф. Karl Bücher'a, «Die Allmende in ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung», Berlin, 1902 («Soziale Streitfragen», XII) и другую, д-ра Martin Fassbender'a о том же.

Для ознакомления с теперешним положением общинной собственности в Швейцарии можно указать, между прочим, на статью «Feldgemeinschaft» в «Словаре Швейцарского народного хозяйства, социальной политики и управления», д-ра Reichesberg'a, Т. I, Берн, 1903.

18. Еще примеры взаимной помощи, существующей теперь в деревнях Голландии

«Отчет Нидерландской сельскохозяйственной комиссии» содержит много примеров, относящихся к этому предмету, и мой приятель, М. Корнелиссен, был настолько любезен, что сделал для меня выборки соответственных мест из объемистых томов «Отчета» («Uftkomsten van het Onderzoek naar den Landbouw in Nederland», 2 т., 1890).

Обычай иметь одну молотилку, которая объезжает многие фермы, нанимающие ее по очереди, пользуется очень широким распространением в Нидерландах, как и везде. Но иногда встречаются общины, которые держат одну молотилку для всей общины (Т. I, XVIII, стр. 31).

Фермеры, не обладающие достаточным количеством лошадей для запряжки в плуг, занимают лошадей у соседей. Обычай держать общинного быка или общинного жеребца очень распространен.

Когда деревне нужно повысить почву (в низменных областях), с целью построить на ней общинную школу, или же когда крестьянин хочет построить новый дом, обыкновенно созывается «помочь» (bede). То же самое делается, когда фермеру приходится переселяться. Вообще bede является широко распространенным обычаем, и на «помочь» являются бедные и богатые со своими лошадьми и телегами.

Наем сообща несколькими земледельческими рабочими луга для выпаса их коров встречается в некоторых частях страны; нередко также фермер, обладающий плугом и лошадьми, распахивает землю для своих наемных рабочих (Т. I, XXII, стр. 18, etc.).

Что же касается до фермерских союзов для покупки семян, вывоза овощей в Англию и т. д., то они стали повсеместными. То же самое наблюдается и в Бельгии. В 1896 году, семь лет спустя после того, как крестьянские гильдии начали основываться, сначала во фламандской части страны, и всего четыре года после появления в валлонской части Бельгии, уже насчитывалось 207 таких гильдий, с 10 000 членов («Annuaire de la Science Agronomique»), Т. I (2), 1896, С. 148 и 149).

19. Кооперация в России

Кооперация в России, сильно развиваясь в последние годы, приняла новые формы. Отвергнув выдачу дивидендов от предприятий своим членам, русские кооператоры решили употреблять все прибыли только на расширение дела и на полезные общественные предприятия. Так делали они уже до войны, создавая в своих деревенских потребительских лавках культурные центры и иногда прямо ставя целью распространение образования, улучшение путей сообщения и введение в деревнях разных общественных учреждений, — словом, ставя себе задачи, прежде считавшиеся делом земств или государства.

Затем, когда, по окончании войны, перед Россией встала задача возрождения и усиления производительности земледельческой и промышленной, особенно кустарной, которая так необходима русской деревне, — кооператоры сразу поставили себе широкую программу культурного строительства. Прежде всего — поднять сельское хозяйство, причем они совершенно верно указали, что «никакой агрономической организации это не по силам, если на помощь не придет совместная работа земледельческого населения России через их кооперативные учреждения» (*Запис. кн. для чл. кооп.*). Необходимы сотни тысяч опытных полей, улучшение семян и удобрения, возделывание более ценных растений, улучшение качества продуктов, плодосменное хозяйство, — и все это кооператоры совершенно правильно ввели в свою программу.

Но их планы шли еще дальше, а именно к использованию «спящих еще богатств России» — не путем концессий капиталистам, а путем *местного строительства*. Здесь предстоит не только использование лесных богатств и рыбной ловли на реках и озерах, которые быстро стали переходить в руки иностранцев, ведущих хищническое хозяйство, а также вообще в промышленности обрабатывающей и фабрично-заводской, в устройстве подъездных путей, и т. д., и т. д.

Во всем этом, при громадности крестьянского населения в России, кооперации, правильно понятой, как ее понимал ее основатель, Роберт Оуэн, предстоит сыграть в двадцатом веке такую почтенную роль, какую сыграли в конце средних веков *гильдии и вольные города*.

Приложение 2

Неизвестная рукопись П. А. Кропоткина

Черновик незавершённой статьи «Рабочие и интеллигенты» был обнаружен мной в 2005 г. в Фонде П. А. Кропоткина Государственного архива Российской Федерации (Ф. 1129. Оп. 1. Д. 665. Статья Петра Алексеевича Кропоткина «Рабочие и интеллигенция». Черновик). Документ представляет собой восемь двусторонних листов, заполненных рукописным текстом на русском языке. Текст сопровождается небольшими исправлениями автора. В расшифровке составителя описи фонда документу был дан заголовок «Рабочие и интеллигенция». Пётр Алексеевич надписал рукопись как «Раб. и Интелл.». Соответственно этот документ можно именовать и как «Рабочие и интеллигенты» (См.: ГАРФ. Ф. 1129. Оп 1. Д. 665. Л. 1).

Мы полагаем, что публикуемый нами черновик статьи Кропоткина, вероятно, относится к началу 1910-х гг. На это указывает упоминание в его тексте некоей брошюры об интеллигенции, автор которой отмечен инициалом Г. Вероятнее всего, речь идёт о брошюре Георгия Гогелиа^[366] «Об интеллигенции» (1912)^[367]. В этой работе Гогелиа трактует интеллигенцию как группу, объединяющую людей, связанных общим уровнем образования: «Под интеллигенцией подразумевается многочисленная пёстрая масса людей, получивших образование и обладающих соответствующими дипломами»^[368]. Он указывал на заметную среди работников высокоинтеллектуального труда резкую дифференциацию по источнику и величине доходов и отношению к эксплуатации наёмного труда^[369]. Исходя из этого, Гогелиа пришел к выводу, что «интеллигенты не образуют особого класса, а растворяются в разных общественных классах»^[370]. Работников высокоинтеллектуального труда, подвергающихся эксплуатации, Гогелиа обозначал как «трудовую интеллигенцию»^[371], подчёркивая тем самым общность их интересов с интересами рабочих. Отрицал он также наличие у слоя интеллигенции общей, классовой идеологии, указывая на тот факт, что из её среды вышли идеологи диаметрально противоположных идейных течений^[372]. Оценивая социалистические партии как «диктатуру над пролетариатом» со стороны представителей революционной интеллигенции, Гогелиа считал, что интеллигенты должны отказаться «от роли диктатора над рабочим классом», «помогать развитию рабочей самостоятельности и самодеятельности», способствуя созданию независимых самоуправляющихся рабочих профсоюзов — синдикатов^[373]. Гогелиа вступал в своей брошюре в полемику с распространившимися в то время среди значительной части анархистов под влиянием работ Я.-В. Махайского представлениями об интеллигенции как новом господствующем классе или части такового. Гогелиа полагал, что новый правящий класс бюрократии, имеющий все шансы на завоевание господства в случае прихода к власти при одновременном осуществлении идеалов марксистского «государственного социализма», сложится из «администраторов производства», функционеров социал-демократического и рабочего движений, а также высшего слоя квалифицированных рабочих^[374].

Концепции Гогелиа соответствуют во многом изложенные Кропоткиным в данной рукописи мысли о содержании брошюры, посвященной интеллигенции. Например, он пишет: «В своей брошюре Г. прекрасно доказал, что интеллигенция — не составляет особого класса»^[375]. Говоря о социально-экономической сущности интеллигенции, Кропоткин высказывает мысли, во многом близкие концепции Гогелиа. Так, в публикуемой рукописи под термином «интеллигенция» он понимает работников высокоинтеллектуального (в том числе — управленческого) труда, получивших высшее образование. По присущей этому слою функции распространителя сформировавшихся в рамках данного общества культурных ценностей интеллигенция, по П. А. Кропоткину, является наследником духовенства.

Д. И. Рублёв, кандидат исторических наук.

Рабочие и интеллигенция^[376]

В своей брошюре Г.[огелиа] прекрасно доказал, что интеллигенция — не составляет особого класса.

Совершенно верно. Класса^[377] она не представляет.

Слово класс, в Зап.[адной] Евр.[опе], сперва отождествлялось с понятием сословие (classe des nobles^[378], прежде было Etat — сословие; nobles, marchands, tiers etat — дворяне, торговцы, третье сословие).

Теперь имеет определенный экономический признак.

Этого экономического признака, инт.[еллигенция] не имеет.

Но следует ли из этого, что она не представляет определённого сословия.

Конечно, нет.

Возьмем духовное сословие — напр.[имер] ламы у монголов. Громаднейшее большинство их — нищие, след.[овательно] класса, в экономич.[еском] смысле, из себя не представляют.

Но они представляют собою сословие, с определёнными сословными интересами, кот.[орые], будут суц[ествовать] до тех пор, пока сословие существует — пока границы м.[жду] ними и массою народа не ступают.

То же с интеллигенциею.

Что составляет признак сословия?

Известные права политические, пока они есть. Напр.[имер], право занимать известные должности, известные привилегии политические — не подвергаться телесному наказанию, жить в столицах (для евреев) если имеется такой-то диплом, привилегии в военной службе и т. д.

И — еще важнее всего прочего — известное положение в обществе. К лицу

духовн.[ого] сословия подходят под благословение. Священники или сами пользуются уважением, или внушают суеверный страх, и т. д. и т. д. Причем нравственный престиж еще важнее политических прав сословия.

Дворянин, вплоть до Фр.[анцузской] рев.[олюции]^[379], мог безнаказанно побить буржуа — если он не принадлежал к чиновничьему сословию, хотя бы чин его был только XIV класса («не бей меня по морде» — «начальники почтовых станций пользуются правами чиновников XIV класса, Во ограждение от побоев»: это б.[ыло] напечатано и висело на стене в моем бытии на каждой почтовой станции).

И так — в тысяче вещей. Кончая курс в университете — становился личным дворянином — и IX класса — и т. д., не говоря уже о почете, кот.[орый] они разделяли наравне с духовным лицом (из кот[оро]-го и вышла в старину интеллигенция).

Словом, интеллигенция представляет определённое сословие и, как таковое, имеет свою сословную идеологию. К ней я сейчас перейду.

Что они яро враждуют между собою? — Да. — Но то же делают лица духовного сословия. Церкви разделяют людей более даже, чем классовые (экономические) перегородки. А м.[ежду] т.[ем] между духовными лицами всех наций и всех классов есть общие сословные признаки: Они — руководители души, посредники между божеством и людьми, носители «благодати».

По отношению к «светским», от царя до пролетария, духовное сословие занимает определенное положение.

То же и с интеллигенцией — кот.[орая] есть дитя, отпрыск духовенства (прежде — знахарь и поэт, ученый и шаман были одно и то же лицо; монастырь — и университет).

Что интелл.[игенты] между собою зло грызутся? То же бывает и между разных сект. То же делают и работодатели, то же делают и рабочие.

Рознь — не признак. Нужно искать — есть ли что общего, несмотря на рознь.

Это общее есть, и оно — желание руководить, убеждение, что они призваны руководить, уверенность, что то, чем они владеют, — наука — представляет талисман, дающий им превосходство над теми, кто им не обладает.

99/100 интеллигенции никогда даже критически не заглянула в суть того, что представляет наука университетская. Наука, как разум вообще, конечно, восторжествует над ложными учениями, т. к. ее основное начало — торжество знания над верою. Но — пока это случится, а громаднейшее большинство интеллигентов нередко называет наукою — ту массу лжеучений, проникнутых сословною и религиозною ложью, кот.[орые] составляют университетскую науку.

Давно ли эта наука учила, что «несть власти, аще не от Бога», что вообще «бедность — удел человечества», что законодатель обладает гениальнейшим (или божеств.[енным]) наитием, что человек не есть продукт эволюции, что община — плод гражданского права и т. д. и т. д. и т. д...

Так вот, приобрет.[ший] эти знания, плодом бессонных ночей и недоедания,

интеллигент считает себя обладателем чего-то такого, чего не знают простые смертные, и вследствие этого считает себя вправе руководить массами. Он знает страшные слова (помните Островского: «Да-с сударыня, есть страшные слова: Металл! Металл звенящий. Глагол времени — металла звон!» — «Ой, батюшка, не говори ты страшных слов на ночь!»)^[380]: экономический материализм. — «Логика истории!» — на ночь глядя, даже страшно все вспоминать — и, и... этих создал марксизм!

Вы знаете, каким уважением среди еврейской бедноты пользуется хасид, изучающий непонятный талмуд.

Сколько таких хасидов среди нас, интеллигентов, особенно в Соц.[иал] Дем. [ократии]!

Вы скажете: «А автор Бога и Государства»^[381].

Да, но *une hirondelle ne fait pas ouvrir le printemps*^[382].

Ну уж бывали обиды. С каким презрением один русский инт[еллиген]т спросил меня: — «Неужели вы в самом деле думаете что Бакунин обладал широкими философскими и научными знаниями?» Надо послушать, с каким презрением студент, прочитавший едва дюжину книг, говорит о «ненаучности» всякого интеллигента, осмелившегося бунтовать против унив.[ерситетской] науки! Напр. [имер], против материалиста Бюхнера^[383], физиолога Льюиса^[384] и всех вообще материалистов. А анархисты! Бывали случаи, русские интеллигенты говорили: — «И охота П.[етру] Ал.[ексееви]-чу идти в партию, где 2 идиота и 3 шпиона!» Да что — послушайте отзыв университетской науки о Прудоне^[385] или об «утопических» социалистах до Маркса.

— «Ты пойми, — говорил мне Степняк^[386], — что раз кто прочел Маркса, он на всю жизнь капитал приобрел!» Тот же университетский диплом. Еще — вспомните и сто бедных ласточек, прилетевших к нам в Брайтон прошлую раннюю весною, не составили весны. Замерзли, бедняжки.

— Так и горсточка интеллигентов-анархистов. Ее отрицают — десятки, сотни, тысячи интеллигентов. Мы для них — «Недоучки!»

Вообще, всякое деление людей на классы, сословия, расы, подрасы, а животных на виды и разновидности, — немыслимы, если не иметь в виду, что одни покрывают другие^[387].

Надо брать отличит.[ельные] черты максимальной точки кривой. И тут, конечно, у интеллигенции явятся отличительные черты сословия.

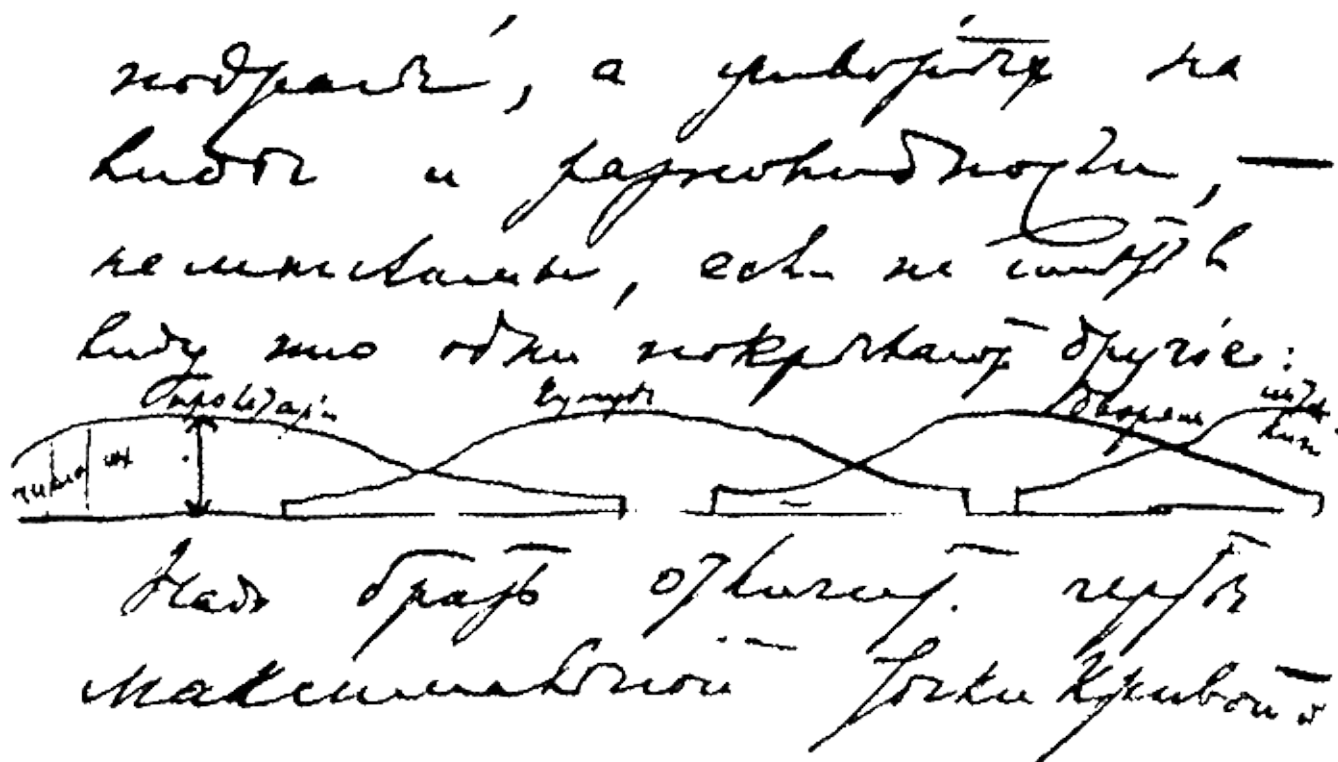
Вера в университетскую науку и в «науку», подходящую к ней по форме выражения.

Уверенность, что они, интеллигенты, представляют соль земли, залог прогресса (что и было правдой для меньшинства бунтарей из них — напр.[имер] антирелигиозных отрицателей).

Уверенность, что только государство (правлящее через них) может дать прогресс

«темной массе», «быдлу» и тому подобным игривым словечкам, служащим для обозначения 999 999/1 000 000 человечества.

— Совершенно верно, что интеллигент сплошь да рядом получает зараб. [отную] плату, меньшую чем махровый рабочий. Но каждый интеллигент, начав с 150 и 100 фр.[анков] в месяц, живет в виду подняться, т. е. перейти в ряды прямо-таки живущих трудом рабочего.



Мы слишком привыкли, все, рассматривать явления как нечто постоянное (в их статической форме, а не в динамической).

М.[жду] т.[ем] имеется эта невозможность подняться — невозможность выползти из рудника и из 20-ти шиллингов в неделю и (составляет главную отличительную черту наёмного труда. Потребности растут с возрастом, а заработная плата та же).

В экономич.[еском] отношении в этом главное отличие интеллигента от рабочего, а не в количестве платы, по отношению к которой интеллигент и рабочий нередко равны.

Примечания

Грав Ж. Будущее общество. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2009; Он же. Умиращее общество и анархия. Б.м.: Черное знамя, 1906.

Реклю Э. Эволюция, революция и идеалы анархизма. М.: Книжный дом «Либроком»/ URSS, 2009.

Berkman A. *Now and After: The ABC of Communist Anarchism*. New York: Vanguard Press, 1929.

Малатеста Э. Краткая система анархизма. М.: Издание Московской федерации анархических групп, 1917; *Он же*. Крестьянские речи. М.: Издание Московской федерации анархических групп, 1917 и др.

Гольдман Э. Анархизм. М.: Голос труда, 1920 и др.

Маркин В. А. Кропоткин. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 6.

Bookchin M. Post-scarcity anarchism. Montreal; Buffalo: Black Rose Books. 1971. P. 193–244; этот текст также опубликован на сайте Российской секции Международной ассоциации трудящихся: <http://aitrus.info/node/912>; *Bookchin M.* To remember Spain: The anarchist and syndicalist revolution of 1936. Edinburgh; San Francisco: A. K. Press, 1994; *Букчин М.* Реконструкция общества. Нижний Новгород: Третий путь, 1996.

Цит. по: *Дамье В. В.* Испанская революция и коммуны Арагона // Михаил Александрович Бакунин. Личность и творчество (к 190-летию со дня рождения). Вып. III. М.: Институт экономики РАН, 2005. С. 221.

Пожар в России — больше чем пожар, <http://www.rabkor.ru/interview/8707.html>

Гольдсмит Мария Исидоровна (1873, Санкт-Петербург — 11.01.1933, Париж) — учёный-физиолог, публицист, деятель анархистского движения России и Франции. В 1903–1917 гг. считалась одним из ведущих теоретиков анархо-синдикализма в России.

Статья М. И. Гольдсмит «Из области научно-философских взглядов П. А. Кропоткина» впервые была опубликована в книге: П. А. Кропоткин и его учение: Интернациональный сборник, посвященный десятой годовщине смерти П. А. Кропоткина / Под редакцией и с примечаниями Г. П. Максимова. Чикаго, 1931. С. 34–46. Её второе издание: Дело труда // Пробуждение. Январь — апрель 1944. № 12. С. 7–10. По этому изданию мы и перепечатываем текст Марии Гольдсмит. Автор комментариев и примечаний к статье — Д. И. Рублёв.

Имеется в виду публикуемая нами работа П. А. Кропоткина «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса».

Имеется в виду работа П. А. Кропоткина «Великая французская революция». Последнее издание, в большей степени доступное российскому читателю: Кропоткин П. А. Великая французская революция. 1789–1793. М., 1979.

Имеется в виду завершённый П. А. Кропоткиным первый том его последней прижизненной работы «Этика: происхождение и развитие нравственности». Последнее издание на русском языке: Кропоткин П. А. Этика: избранные труды. М., 1991.

Конт Огюст (19.01.1798, Монпелье — 05.09.1857, Париж) — французский философ, один из основоположников позитивистской школы в философии и социологии.

Имеется в виду работа П. А. Кропоткина «Нравственные начала анархизма». Последнее издание на русском языке см.: Кропоткин П. А. Анархия, её философия, её идеал // Кропоткин П. А. Сочинения. М., 2004. С. 792–841.

Я имею здесь в виду те стадии, когда самые низшие животные, в роде *Volvox globator*, или Сальп, соединяются в группы. См. об колониальных стадиях: Огюста Конта, очерк биологии в «*Politique positive*», где он резюмирует свою «*Philosophie positive*»; «*Основы Биологии*» Спенсера и особенно сочинение «*Животные Колонии*», Перье (Perrier).

См. также первые главы моей работы об Этике, появившиеся недавно в «Nineteenth Century»: «Задачи Этики» и «Нравственность Природы».

«Происхождение видов», начало III главы.

Nineteenth Century. 1888. Февраль. Р. 165. Перепечатана в его книге «Essays».

Оставляя в стороне писателей, выступавших до Дарвина, как Toussenel, Fée и мн. др., несколько работ, заключающих не мало поразительных образчиков взаимной помощи, — но иллюстрирующих, главным образом ум животных — были опубликованы до появления труда Кесслера. Из них могу упомянуть: *Houzeau Les facultés mentales des animaux* (2 Т. Брюссель, 1872); *Büchner L. Aus dem Geistesleben der Thiere* (2-е изд. 1877); *Perty's M. Ueber das Seelenleben der Thiere* (Лейпциг, 1876). Эспинас опубликовал свой чрезвычайно замечательный труд «*Les Sociétés animales*» в 1877 году и в этом труде указал на значение животных сообществ и их влияние на сохранение вида, дав при этом чрезвычайно ценные соображения о происхождении обществ вообще. Фактически, в книге Эспинаса собрано все, что до тех пор было написано о взаимопомощи, помимо других очень полезных указаний. Если я, не смотря на это, делаю специальное указание на речь Кесслера, то это потому, что он поднял взаимопомощь до высоты закона, имеющего в эволюции более значения, чем закон взаимной борьбы. Те же идеи были развиты в следующем году (в апреле 1881) J. Lanessan'ом в лекции, напечатанной в 1882 году под заглавием: «*La lutte pour l'existence et l'association pour la lutte*». Капитальная работа G. Romanes'a «*Animal intelligence*» была издана в 1882 году, а в следующем году появилась другая его работа «*Mental Evolution in Animals*». Приблизительно в то же время (1881 г.) Бюхнер издал новую работу, «*Liebe und Liebes-Leben in der Thierwelt*», второе издание которой появилось в 1885 году. Идея, как мы видим, носилась в воздухе.

Речь «О законе взаимной помощи», в «Трудах С.-Петербургского общ. естествоиспытателей». 1880. Т. XI. Вып. 1. С. 128–129.

«Труды С.-Петербургского общ. естествоиспытателей». 1880. Т. XI. Вып. 1. С. 135 и 136.

Romanes G. J. Animal Intelligence (1-е изд.). С. 233.

Huber P. Recherches sur les fourmis (Женева, 1810); перепечатана под заглавием «Les fourmis indigènes» (Женева, 1861); *Forel.* Recherches sur les fourmis de la Suisse (Цюрих, 1874) и *Moggridge J. T.* Harvesting Ants and Trapdoor Spiders (Лондон, 1873 и 1874). Книги эти следовало бы дать в руки каждому мальчику и девочке. См. также: *Blanchard* Métamorphoses des insectes (Париж, 1868); *Sabre J. H.* Souvenirs entomologiques (Париж, 1886), и след. *Ebrard* Etudes de mœurs des fourmis (Женева, 1864); *Lubbock J.,* Sir. Ants, Bees, and Wasps и др.

Forel. Recherches. С. 244, 275, 278. Превосходное описание этого процесса принадлежит Гюберу; ему же принадлежит указание на возможное происхождение инстинкта (популярное изд. С. 158–160). См. также Приложение 1 в конце этой книги.

Земледелие муравьев настолько удивительно, что в нем долго сомневались. Существование его хорошо доказано теперь трудами Moggridge, Dr. Lincicum, Mac Cook, полк. Sykes и Dr. Jerdon, и поставлено вне сомнений. См. прекрасный свод доказательств в труде Romanes'a. См. также: «Die Pilsgaerten einiger Sud-Americanischen Ameisen» (Альф. Меллер) в «Schimpers Botan. Mitth. aus den Tropen» (Т. VI. 1893).

Начало личного почина распознано было не сразу. Прежние наблюдатели часто говорили о «королях», «королевах», «управителях» и т. п., но с тех пор, как Huber и Sorel обнародовали свои тщательные и добросовестные наблюдения, невозможны сомнения в том, что во всех действиях муравьев (включая и их войны), каждой особи предоставляется широкий простор для проявления личного почина.

Мимикрией — «подражательностью» — называют тот факт, что многие животные приобретают цвет той среды, в которой живут, и это спасает их от преследования врагами. У пчел, как у муравьев, этого нет. Их черный цвет не помогает им скрываться от врагов.

Их держали в улье, снабженном стеклянными оконцем, которое давало возможность видеть то, что делалось внутри. Оконце закрывалось снаружи ставней. Там как пчел, вероятно, беспокоил свет, падавший на них всякий раз, как посетители открывали ставню, они через несколько дней залепили его тем смолистым веществом, которое называют пчелиным клеем, или узой (propolis).

Bates H. W. The Naturalist on the River Amazons. Vol. III. P. 59 и след. Имеется русский перевод: Бэтс. Натуралист на Амазонке.

Брем А. Иллюстрированная жизнь животных. СПб., 1870. Т. III. С. 498.

Северцов. Периодические явления в жизни млекопитающих, птиц и пресмыкающихся Воронежской губ. М., 1885.

D'Orbigny. Voyage dans l'Amérique méridionale. T. IV; Брем. Т. III. «Птицы». С. 546 и след.

Le Vaillant. Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. 1795 (Т. I. С. 70), из которого Брэм дает большую выписку (русский перевод «Жизнь животных». Т. III. С. 601).

Bates. A Naturalist on the Amazon. P. 151.

Catalogue raisonné des oiseaux de la faune pontique, в «Voyage» Демидова; выдержки у Брема (III, 360). — Во время перелета хищные птицы также собираются стаями. Одна стая, перелет которой через Пиренеи наблюдал Н. Seebohm, представляла курьезное собрание девяти коршунов, одного журавля и странствующего сокола (*Falco peregrinus*). См.: The Birds of Siberia. 1901. P. 417.

«Scattered among them are many odd Stints and Sanderlings and ringed plovers»
(Ch. Dixon. «Birds in the Northern Shires». P. 207).

Брем. Т. IV. С. 392. На основании личных наблюдений в Египте он дал прекрасные описания общительности этих умных, чрезвычайно миролюбивых птиц. О количествах их на озерах Египта и Сев. Африки вообще, нельзя даже составить себе понятия, не видевши их на месте; всякое описание может быть принято за преувеличение. — Ср. также: *Perty M. Ueber das Seelenleben der Thiere. Leipzig, 1876. S. 87, 103.*

Gurney G. H. The House-Sparrow. London, 1885. P. 5.

Couës E., Dr. Birds of the Kerguelen Island // In Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. XIII. № 2. P. 11.

Брем. Т. IV. С. 73.

Что касается домашнего воробья, то Новозеландский наблюдатель Т. W. Kirk следующим образом описывает нападение этих «бесстыжих» птиц на «злосчастливого» ястреба: «Он услышал однажды необычайный шум, как будто все мелкие пташки округа завели колоссальную ссору. Выйдя поглядеть, в чем дело, он увидел большого ястреба (C. Gouldi, — питающегося падалью), которого со всех сторон теснила стая воробьев. Они бросались на него десятками, сразу со всех сторон. Злосчастный ястреб оказался совершенно бессильным противостоять этому нападению. Наконец, достигнув одного куста, ястреб бросился к нему и скрылся в нем; но тогда группа воробьев окружила куст, продолжая наполнять воздух немолчным шумом». (Из доклада, читанного в заседании Новозеландского Института; Nature, Октября 10-го, 1891).

Брем. Т. IV. С. 195. — «За исключением умнейших попугаев, — прибавляет Брем, — нет ни одной птицы, которая вступала бы в такое близкое общение с человеком, как журавль, которая помогала бы его всяким занятиям, и оказывала бы ему по возможности всякую пользу и удовольствие». С другими представителями семейства, а также с родственными птицами он живет в мире. Случается, что журавли сердятся и вступают в бешеные драки, но «подобные случайности составляют исключение, и собственно в журавлях нет ни одной кровожадной черты... они храбры и любят дразнить, но не злы, не хитры, и не кровожадны» (С. 196).

R. Lendenfeld, в газете «Der zoologische Garten», 1889 г.

Как пример материнских чувств, проявляемых некоторыми попугаями по отношению к чужим птенцам, Вуд рассказывает про самку серого попугая, Полли, которая, увидав, что ее хозяева кормят птенчиков-зябликов в розовом кусте, возле дома, тоже начала носить им корм, подражая при этом голосу их родителей. Родители испугались невиданной птицы и улетели. Тогда Полли проводила большую часть дня с этими птенчиками, кормила их и выкормила. Когда же они подросли и улетели, Полли очень тосковала, пока не нашла где-то осиротелых малиновок, которых перенесла по одиночке в свою клетку и тоже выкармливала. — Таким образом, случай, о котором Экерман рассказал Гете, — не одиночная случайность. Подобно обезьянам, попугаи в Индии живут в тесной дружбе с детьми туземцев.

Северцов Н. А. Периодические явления в жизни зверей и птиц в Воронежской губернии. М., 1855. С. 251.

Зейфферлиц, цитированный Брэмом (Т. IV. Ч. II. С. 289–290).

«The Arctic Voyages of A. E. Nordenskjöld» (Лондон, 1879. С. 135). См. также описание островов св. Кильды Диксоном (цитируемое Seebohm'ом), а также, впрочем, описание любого Арктического путешествия.

Elliot Coues, в «Bulletin U. S. Geol. Survey of Territories» (IV, № 7. P. 556, 579 etc.) — Среди чаек (*Larus argentatus*) Полякову пришлось наблюдать на болотах Северной России, что места, где находятся гнезда значительного количества этих птиц, всегда были охраняемы самцом, который предупреждал всю колонию о приближающейся опасности. В таком случае все птицы поднимались сразу и с большой энергией нападали на врага. Самки, у которых было 5–6 гнезд, рядом на каждом бугорке болота, держались известной очереди, когда оставляли гнезда для поисков за пищей. Птенцы, совершенно беззащитные и легко могущие сделаться добычей хищных птиц, «никогда не оставлялись одни, без охраны» (Семейные обычаи у водяных птиц // Известия Зоол. отд. С.-Петербургск. общ. естест. 1874. 17 дек.).

Брэм-отец, цитируемый у А. Брэма (IV, 34); любопытно, что между собою поползни менее общительны. См. также Whit, «Natural History of Selborne», письмо XI. На Оби, г. Дерюгин встречал поползней (*Sitta uralensis*) вместе с бродячими стаями гаичек (преимущественно *Poecille cincta*) (Труды СПб. общ. естест. Т. XXIX. Вып. 2. 1898. С. 90).

*Coues, Dr. Birds of Dakota and Montana // Bulletin U. S. Survey of Territories. IV.
№ 7.*

Нередко высказывалось предположение, что более крупные птицы, может быть, *переносят* на себе маленьких, при перелете над Средиземным морем; но факты подобного рода до сих пор остаются под сомнением. С другой стороны, вполне установлено, что некоторые более мелкие птицы пристают во время переселения к более крупным видам. Этот факт был наблюдаем неоднократно и еще недавно был подтвержден Л. Вуксбаумом в Раунгейме. Он видел несколько партий журавлей, с которыми в середине и по бокам их колонн: летели жаворонки. (Der Zoologische Garten. 1886. S. 133). — См. Приложение I.

Н. Seebohm и Ch. Dixon оба упоминают об этой привычке.

Этот факт хорошо известен всякому натуралисту, изучавшему жизнь природы. Относительно Англии некоторые примеры могут быть найдены в работе Charles Dixon, «Among the Birds in Northern Shires». Зяблики прилетают во время зимы большими стаями; около того же времени, т. е. в ноябре, прилетают стаи вьюнков; дрозды также посещают эти места «такими же большими обществами» и т. д.

Baker S. W. Wild Beasts etc. Vol. I. P. 316.

Schillings C. G. With Flashlight and Rifle in Aequatorial East Africa. 1906.

Tschudi («Thierleben der Alpenwelt»); и John. Franklin («Vie des animaux»), цитируемый во франц. переводе Брема (I, 620).

Tschudi. Thierleben der Alpenwelt. S. 404.

Houzeau Etudes. II, 463.

Об их охотничьих товариществах см. «Natural History of Ceylon» Sir E. Tennants, цитируемого Романесом в «Animal Intelligence» (С. 432).

См. письмо Эмиля Гютера в «Liebe» Бюхнера.

Относительно *вискачи* должно отметить тот очень интересный факт, что эти выскообщительные маленькие животные не только миролюбиво живут вместе в своих поселениях, но по ночам навещают целыми поселками своих соседей. Общительность, таким образом, простирается на весь вид, а не только на данное сообщество или племя, как мы видим у муравьев. «Когда фермер разоряет нору вискач, погребая ее обитателей под кучей земли, другие вискачи, по словам Hudson'а, приходят из довольно отдаленных местностей, чтобы откопать этих заживо погребенных» (A Naturalist in La Plata. 1892. P. 311). Этот общеизвестный в Ла-Плате факт был проверен самим автором.

«Handbuch für Jäger und Jägberechtigte», цитируемый Брэмом (II, 223).

Buffon. Histoire Naturelle.

Это прекрасно видно из очерков Шиллингса в указанной выше книге.

Относительно семейства лошадей следует отметить, что квагга-зебра, которая никогда не сходится с даув-зеброю, тем не менее живет в прекрасных отношениях, не только с страусами, которые превосходно исполняют обязанности часовых, но также с газелями, некоторыми видами антилоп и гну. В данном случае мы имеем образчик взаимного нерасположения между кваггою и даув, которое нельзя объяснить соревнованием из-за пищи. Уже тот факт, что квагга живет вместе со жвачными, питающимися той же травой, как и она, исключает подобную гипотезу, и мы должны искать объяснения в несходстве характера, как и в отношениях зайца к кролику. См. между прочим, Clive Philipps-Wolley «Big Game Shooting» (Badmington Library), которая содержит превосходные примеры сожительства различных видов в Восточной Африке.

Много таких данных привел Брэм, на основании наблюдений лучших натуралистов.

Сопровождавший нас охотник-тунгуз собирался жениться и потому старался собрать как можно больше шкур косуль, для чего он целые дни рыскал верхом по склонам холмов, в поисках за оленями, пока наш караван двигался по дну долины. Несмотря на это, за весь день ему часто не удавалось убить даже одну косулю, а он был прекрасным охотником.

Согласно Samuel W. Baker'у, слоны иногда объединяются в группы более обширные, чем «сложные семейства». «Я часто наблюдал, — говорит он, в той части Цейлона, которая известна под именем „страны парков“, следы многочисленных слонов; очевидно, это были довольно большие стада, собравшиеся вместе для общего отступления из местности, которую они сочли небезопасной» (Wild Beasts and their Ways. Vol. I. P. 102).

Домашние свиньи, когда на них нападают волки, поступают таким же образом, говорит Hudson в указанном уже сочинении.

Рассказ Форбза воспроизведен вполне в книге Романэса «Animal Intelligence» (Р. 472). Есть и в русском переводе.

Brehm. I. 82 — Дарвин, «Происхождение Человека», глава III. — Экспедиции Козлова (1899–1901) также пришлось выдержать подобную схватку в Северном Тибете.

Тем более было странно читать в вышеупомянутой статье Гексли следующий парафраз общеизвестной фразы Руссо: «Первый человек, заменивший взаимным договором взаимную войну — каковы бы ни были мотивы, принудившие его сделать этот шаг, — создал общество» (Nineteenth Century. Feb. 1888. P. 165. Общество не было создано человеком; оно *предшествовало* человеку.

Такие монографии, как глава «Музыка и пляска в природе» (в Hudson, «Naturalist on the La Plata») и Carl Gross, «Play of Animals», уже до некоторой степени осветили вопрос об этом инстинкте, имеющем абсолютную всеобщность в природе.

«Не только очень многие виды птиц имеют привычку собираться вместе — во многих случаях всегда на одном и том же месте — для всякого рода забав и танцев, но, как писал W. H. Hudson, почти все млекопитающие и птицы („может быть в действительности все без исключения“) часто предаются более или менее регулярным или определенным играм, молчаливым или сопровождаемым звуками, или же исключительно звуковым» (С. 264).

Эта австралийская птица, сродная нашей иволге и называемая англичанами Satin Bower bird, строит себе, вместо гнезда, беседку (bower) из ветвей, с колыбелькою, украшенной всевозможными яркими предметами: перьями попугаев, ракушками и т. д. Латинское название атласной птицы: *Ptilonorhynchus holosericeus*.

О хорах обезьян см. у Брэма, Т. I.

Haygarth. Bush Life in Australia. P. 58 — то же относилось и до буйволов.

Приведу лишь несколько примеров: раненый барсук был унесен другим барсуком, внезапно явившимся на помощь; наблюдали крыс, которые кормили двух слепых товарищей (*Seelenleben der Thiere*. S. 64, seq.). Брэму самому удалось видеть двух ворон, кормивших в дупле дерева третью ворону, которая была ранена, и ее раны были нанесены несколькими неделями раньше (*Hausfreund*. 1874, 715; Büchner, «*Liebe*»). Blyth видел индийских ворон, которые кормили двух или трех слепых товарок, и т. д.

Wood J. C. Man and Beast. P. 344. Вуд был натуралист, которого популярные книги пользуются в Англии широкою и вполне заслуженною известностью.

Morgan L. H. The American Beaver. 1868. P. 272; *Дарвин* Происхождение Человека. Гл. IV.

Более подробно я его разбираю в книге, приготавливаемой к печати, о причинах изменчивости видов, уже печатавшейся статьями в журнале «Nineteenth Century».

Дарвин употребляет слово *competition*, которое по-французски приходится переводить слово *compétition*, а по-русски, большей частью, переводится *соревнованием* или *соперничеством*. В данном случае слово *состязание* лучше, мне кажется, передает дарвиновское *competition*.

Один вид ласточек, как утверждают, вызвал уменьшение численности одного другого вида ласточек в Северной Америке; недавнее увеличение в Шотландии числа дроздов, больших рябинников (*T. viscivorus*), повело к уменьшению числа певчих дроздов; бурая крыса заняла место черной крысы в Европе; в России маленькие тараканы везде вытеснили своих более крупных сородичей; и в Австралии привозные ульевые пчелы быстро истребляют туземных, маленьких, безжалых пчел. Два другие случая, но относящиеся уже к прирученным животным, упомянуты в предшествующем параграфе. Приводя те же факты, А. Р. Уоллэс замечает в сноске, по поводу Шотландских дроздов: «Проф. А. Ньютон, однако, сообщает мне, что эти виды не сталкиваются между собой таким образом, как сказано» (Darwinism. С. 34). Что же касается до бурой крысы, то известно, что, вследствие ее земноводных привычек, она обыкновенно водится в низко лежащих помещениях человеческих жилищ (в подвалах, водосточных трубах и т. п.), а также на берегах каналов и рек; она пускается в отдаленные переселения, собираясь для этого бесчисленными стадами. Черная же крыса, напротив, предпочитает помещаться в самих людских жилищах, под полами, а также в конюшнях и амбарах. Она, таким образом, подвергается в гораздо большей степени истреблению человеком; и поэтому нельзя утверждать, с какой бы то ни было степенью уверенности, чтобы черная крыса истреблялась, или вытеснялась, путем лишения пищи бурюю крысою, а не изводилась человеком.

«Можно было бы, однако, заметить, — писал он в „Происхождении видов“ (начало VI-й главы), — что там, где несколько близко-сродных видов живут на той же самой территории, мы необходимо должны были бы находить теперь многие промежуточные формы... По моей теории, эти сродные виды произошли от общего прародителя; и во время процесса их видоизменения, каждый приспособился к условиям жизни в своей области, и заместил и истребил первоначальную прародительскую форму, равно как и все промежуточные формы между своими прежним и теперешним состоянием» (С. 134 6-го англ. изд.). См. также С. 137 и 296 (весь параграф о «вымирании»).

Согласно исследованиям г-жи Марии Павловой, которая специально изучала этот предмет, ранние предки теперешней лошади переселились из Азии в Африку, оставались там некоторое время, и возвратились опять назад в Азию. Будет ли это двойное переселение подтверждено, или не будет, — во всяком случае остается вне всякого сомнения факт прежнего распространения предков нашей лошади по Азии, Африке и Америке.

The Naturalist on the River Amazons («Натуралист на Амазонке») (Т. II. С. 85, 95 англ. Издания). То же самое я видел однажды на южном берегу Англии, о чем сообщил тогда в газету «Nature», и вообще такое явление довольно обыкновенно.

Ahum B., Dr. Waldbeschädigungen durch Thiere und Gegenmittel. Berlin, 1880. S. 207 seq.).

Ibid. S. 13, 187.

Беккер А. (в Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou. 1889. S. 625).

Русская мысль. 1888. № 9. «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» Старого Трансформиста.

«Один из самых обычных способов, которыми действует естественный подбор, — говорит Дарвин, — это приспособление некоторых особей данного вида к несколько различному образу жизни, вследствие чего они могут захватить еще не захваченные места в природе» («Происхождение видов», гл. IV) — другими словами — избежать состязания.

Nineteenth Century. Feb. 1888. P. 165. — Эта лекция вошла в сборники его статей и в собрание его сочинений.

«The Descent of Man» (конец II гл. С. 63 и 64 2-го издания).

Некоторые антропологи, вполне разделяющие вышеизложенные взгляды на человека, тем не менее иногда утверждают, что обезьяны живут полигамическими семьями, под предводительством «сильного и ревнивого самца». Я не знаю, насколько подобное утверждение подтверждается совершенно достоверными наблюдениями. Но та страница в «Жизни животных» Брэма, на которую обыкновенно ссылаются, едва ли может считаться особенно доказательной. Она составляет часть его общего описания обезьян; но его же более подробные описания отдельных видов или противоречат такому общему выводу, или же не подтверждают его. Даже относительно мартышек (*Cercopithecus*) Брэм положительно утверждает, что «они почти всегда водятся значительными стадами; редко встречаются отдельные семейства» (русск. изд. 1874 г. Т. I. С. 49). Что же касается других видов, то уже самое количество их групп, в которых всегда имеется много самцов, делает предположение о «полигамической семье» более чем сомнительным. Очевидно, требуются дальнейшие наблюдения.

Lubbock. Prehistoric Times (5-е изд. 1890 г.).

Большинство геологов, специально изучавших ледниковый период, принимают теперь такое распространение ледяного покрова. Когда, в 1874 году, я выступил с заключением из моих работ, что полярный ледниковый покров доходил в теперешней России почти до 50-го градуса широты, это сочли тогда за фантазию. Теперь, Русская Геологическая Съемка держится этого взгляда по отношению к России, и большинство германских специалистов поддерживают его по отношению к Германии. Обледенение большей части центрального плоскогорья во Франции неизбежно будет признано французскими геологами, когда они вообще обратят больше внимания на ледниковые отложения. Прекрасный, типичный ледниковый щебень я видел в Клерво (около г. Бар-на-Обе), и типичные следы ледникового наноса на сев. берегах Бретани, около Сен-Мало.

Prehistoric Times. P. 232 and 242.

Кухонные остатки, т. е. кучи отбросов, около сажени высоты и футов сто в длину, которые лежат на слоях известного холма в Хэстингсе (Hastings), впереди трещины в скале, где некогда обитали неолитические люди, принадлежат к той же категории. Они были тщательно просеяны и исследованы г-ном Льюис Абботом, и состоят исключительно из выеденных раковин, костей и обломков кремневых орудий, — эти последние в таких количествах, что посетивши эти кучи вместе с г. Абботом после сильного дождя, мы собрали в час около сотни обломанных скребков и ножей, которые выбрасывались дикарями в кучу, впереди их жилья, за негодностью. Эти кучи интересны еще в том отношении, что в них нет орудий, которые могли бы рассматриваться как оружие для военных действий или даже для охоты за крупными зверями; тогдашние обитатели этих мест кормились рыбою, которую ловили кремневыми крючками, и только мелкими млекопитающими.

Bachofen. Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861; *Morgan L. H.* Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. New York, 1877; *Lennan M.* Studies in Ancient History (1-я серия; новое издание 1886; 2-я серия, 1896); *Pison L. and Howitt A. W.* Kamilaroi and Kurnai. Melbourne. Эти четыре писателя, — по очень верному замечанию Giraud Teulon, — исходя из различных фактов и различных общих идей и употребляя различные методы, пришли к тому же самому выводу. Бахофену мы обязаны тем, что он установил понятие о материнской семье и о наследовании через мать; Моргану — за исследование системы родства в роде, у малайцев и туранцев, а также за очень умный очерк главных фаз человеческой эволюции; Мак-Леннану — за исследование экзогамии, т. е. женитьбы вне своего рода; а Физону и Ховитту — за установление «куадерно», т. е. схемы родовых брачных соотношений в Австралии. Исследования всех четырех сводится к установлению родового происхождения семьи. Когда Бахофен впервые обратил внимание на материнскую семью, в своей работе, составившей эпоху в науке, а Морган описал родовую (клановую) организацию, причем оба пришли к заключению, что эти учреждения имели почти всеобщее распространение, и утверждали, что брачные законы лежат в самой основе последовательных ступеней эволюции человечества, — их обвинили в преувеличении. Однако, самые тщательные изыскания целого ряда исследователей, изучавших древнее право, доказали, что во всех расах человечества есть следы прохождения ими чрез такие же ступени развития брачных обычаев, каковые мы наблюдаем в настоящее время среди некоторых дикарей. См. работы таких авторов, как Post, Dargun, Ковалевский, Lubbock и их многочисленные последователи, как Lippert, Mucke и др.

О семитах и арийцах см. в особенности проф. Максима Ковалевского (Первобытное право, М., 1886 и 1887). А также его Стокгольмские лекции (Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété. Stockholm, 1890), представляющие превосходный обзор всего вопроса. См. также: Post A. Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit. Oldenburg, 1875.

Мы не можем заняться здесь обсуждением вопроса о происхождении брачных ограничений. Замечу только, что разделение на группы, подобное описанному Морганом у гавайцев, существует у птиц: молодые выводки живут вместе, отдельно от своих родителей. Подобное же разделение можно проследить и у некоторых млекопитающих. Что же касается до последующего запрещения брачных отношений между братьями и сестрами, то оно возникло, вероятно, не вследствие соображений о дурном влиянии кровного родства, каковые соображения едва ли вероятны, а скорее из стремления предупредить легко возникающую близость в слишком раннем возрасте. При тесном сожительстве в одном помещении подобное ограничение становилось положительно необходимым, и оно вполне согласно с предосторожностями, принимаемыми дикарями, чтобы отделять мужскую молодежь в особый «длинный дом» под надзором воспитателей. Должно также заметить, что вообще, при обсуждении происхождения новых обычаев, должно иметь в виду, что дикари, подобно нам, имеют своих «мыслителей» и ученых, знахарей, колдунов, лекарей, пророков — познания и идеи которых превосходят общий уровень массы. Объединенные в тайные союзы (другая почти всеобщая черта), эти знахари, конечно, могли оказывать огромное влияние и устанавливать обычаи, полезность которых еще не осознанна была большинством рода.

Collins Col. Philips' Researches in South Africa. London, 1828. Цитаты даны у Вайца (Waitz Antropologie der Naturvölker. Bd. II. S. 334).

Lichtenstein. Reisen im Südlichen Africa. Berlin, 1881. Vol. II. P. 92–97.

Waitz Anthropologie der Naturvölker. Bd. II. S. 335 seq. См. также: *Fritsch*. Die Eingeboren Afrika's. Breslau, 1872. S. 336 seq.; и «Drei Jahre in Süd-Afrika». Также *Bleck W.* A Brief Account of Bushmen Folklore. Capetown, 1875.

Reclus E. Géographie Universelle. XIII, 475.

Kolben P. The Present State of the Cape of Good Hope. Medley, London, 1731. Vol. I. P. 59, 71, 333, 336, etc. (перевод с немецкого).

Цитируется у *Waitz Antropologie. Vol. II. P. 335, etc.*

Туземцы, живущие на север от Сиднея и говорящие на языке Камиларои, наиболее исследованы в этом отношении, благодаря капитальной работе Lorimer Fison и A. W. Howitt «Kamilaroi and Kurnai» (Melbourne, 1880). См. также: *Howitt A. W. Further Note on the Australian Class Systems // Journal of the Anthropological Institute. 1889. Vol. XVIII. P. 31*); в последней из указанных работ доказывается широкое распространение той же организации по всей Австралии.

The Folklore, Manners etc. of Australian Aborigines. Adelaide, 1879. P. 11.

Grey // Journals of Two Expeditions of Discovery in North-West and Western Australia. London, 1841. Vol. II. P. 237, 298.

Bulletin de la Société d'Anthropologie. 1888. Vol. XI. P. 652. Я привожу ответы в сокращении.

Точно таким же образом практикуется меновая торговля с папуасами Кайманбей, которые пользуются репутацией высокой честности. «Не случилось еще, чтобы папуас нарушил свое обещание», — говорит Finsch (*Neuguinea und seine Bewohner*. Bremen, 1865. S. 829).

Известия Русского географического общества, 1880. С. 161 и след. Немного найдется книг, посвященных путешествиям, которые давали бы лучшее представление о мелочах повседневной жизни дикарей, как эти отрывки из записной книжки Миклухи-Маклая.

Martial L. F. // Mission Scientifique au Cap Horn. Paris, 1883. Vol. I. P. 183–201.

Экспедиция капитана Гольма в Восточную Гренландию.

В Австралии наблюдалось, что целые роды обмениваются женами, с целью предотвращения какого-либо бедствия (*Post. Studien zur Entwicklungsgeschichte des Familienrechts*. 1890. S. 342). Большое проявление братских чувств, стало быть, является у них специфическим средством против бедствий.

Rink H., Dr. The Eskimo Tribes. P. 26 («Meddelelser om Grönland». 1887. T. XI).

Ibid. P. 24. Европейцы, выросшие в уважении к римскому праву, редко бывают в состоянии понять силу родовой власти. «В самом деле, — пишет Ринк, — можно сказать не в виде исключения, а как общее правило, что белый человек, хотя бы он прожил десять или более лет среди эскимосов, уедет от них, не обогатив себя познаниями о традиционных идеях, на которых зиждется их общественный строй. Белый человек, будет ли это миссионер или купец, всегда держится догматического мнения, что самый вульгарный европеец все же лучше самого выдающегося туземца». — «The Eskimo Tribes». P. 31.

Вениаминов О. Записки об Уналашкинском отделе. СПб., 1840; *Dall.* Alaska and its Resources. Cambridge, U.S., 1870, широко пользовался этими «записками».

О. Вениаминов и Далль наблюдали этот обычай в Аляске, Якобсен в Игнитоке, в окрестностях Берингова пролива. Джильбер Спрот (Sproat) упоминает о существовании его среди ванкуверских индейцев; а доктор Ринк, описывая периодические выставки, о которых мы упомянули, прибавляет: «главное употребление накопленного личного богатства состоит в периодической его раздаче». Он также упоминает (указ. соч. С. 31) «об уничтожении имущества для той же цели» (т. е. для поддержания равенства).

Вениаминов О. Записки об округе Уналашка: В 3-х т. СПб., 1840. Отрывки из этих записок даны по-английски в книге Далля «Alaska». — Подобное же описание нравственности австралийских туземцев, очень схожее с предыдущим, было дано в английской «Nature» (Vol. XLII. P. 639).

Замечательно, что несколько писателей (Миддендорф, Шренк, О. Финш) описывали других обитателей Севера — остяков и самоедов — почти в таких же выражениях. Даже когда они напьются пьяны, ссоры между ними бывают незначительны. «За целое столетие совершено было только одно убийство в тундре, — писал Миддендорф, — их дети никогда не дерутся между собой», «можно оставить в тундре на целый год любой предмет, даже съестные припасы и спиртные напитки, и никто не тронет их» и т. д. Так говорят эти три знатока Севера. Gilber Sproat «никогда не видел, чтобы подрались два трезвых туземца, из племени индейцев Ахт на острове Ванкувера». «Ссоры между их детьми также редки», — говорит Ринк (loc. cit.) и т. д.

Свидетельство Gill'a, приводимое в: *Gerland und Waitz. Anthiropologie der Naturvölker. Bd. V. S. 641*. См. также S. 636–640 того же сочинения, где приводится много примеров отцовской и сыновней любви.

Les Primitifs. Paris, 1889.

Gerland. Loc. cit., V, 636.

Я слышал это от него самого, в 1861 году, на Амуре, когда он был епископом Охотским и Камчатским, прежде чем стать митрополитом Московским. Вообще он был, — тогда, как и в 1840 году, — очень высокого мнения об родовой нравственности дикарей, и когда я, очень молодой еще юноша, спросил его, правда ли, что он больше не крестит туземцев, он отвечал, что в одиночку он действительно отказывается крестить; крещеный отбивается от родовой нравственности; «а она, у них, очень высокая. Если же целый род пожелает принять христианство, я, поживши несколько лет около них, убежусь, что более отвлеченные христианские истины ими поняты так, что могут заменить им их родовую нравственность, — я, конечно, рад буду окрестить весь род».

Erskine, цитируемый у: *Gerland und Waitz, Anthiropologie der Naturvölker. Bd. V. S. 640.*

В Англии широко практикуется отдача внебрачных детей в деревню, женщинам, которые специально занимаются этим ремеслом, и положительно морят несчастных детей голодом и холодом. Смертность у этих «детских фермерш» — ужасная. Около того времени, когда я писал эти строки, заседала особая Королевская комиссия для расследования этого вопроса. Конечно, она ни к чему не привела.

Олени, например, в Чукотской земле, постоянно перекочевывают.

Pritchard W. T. Polynesian Reminiscences. London, 1866. P. 363.

Замечательно, однако, что в случае произнесения родом смертного приговора, никто не берет на себя роль палача. Всякий, бросая свой камень или свою стрелу, или нанося свой удар топором, тщательно избегает нанести смертный удар. В более позднюю эпоху жрец будет убивать осужденного священным ножом; а еще позднее, это должен был делать король, пока, наконец, не изобретут наемного палача. См. глубокие замечания по этому поводу в известном труде: *Bastian'a. Der Mensch in der Geschichte. Bd. III. Die Blutrache. S. 1–36.* Поразительный пережиток этого обычая из родового быта, как сообщает мне профессор E. Nys, сохранился при военных казнях вплоть до нашего времени. В середине XIX века принято было заряжать ружья двенадцати солдат, назначенных для расстреливания, одиннадцатью пулями и одним холостым зарядом. Делалось так, чтобы солдаты не знали, кому достался холостой заряд, и потому каждый из них мог успокоить свою встревоженную совесть, думая, что холостой заряд был у него, и что он, таким образом, не был в числе убийц. — Подобный же пережиток сохранился в Америке, в одной из нью-йоркских тюрем, при казни повешением.

В Африке, да и в других местностях, существует широко распространенный обычай, согласно которому при обнаружении воровства, ближайший род возвращает стоимость украденной вещи и затем сам разыскивает вора (*Post A. H. Afrikanische Jurisprudenz. Leipzig, 1887. Bd. I. S. 77*).

См. сочинение проф. М. Ковалевского «Современный обычай и древний закон» (М., 1885. Т. II), которое содержит много очень важных соображений по данному вопросу.

Воск С. The Head-Hunters of Borneo. London, 1881. — Мне, однако, говорил Сэр Хюг Лоу, долгое время бывший губернатором Борнео, что утверждения Бокка страшно преувеличены. Вообще он говорил о даяках с такой же симпатией, как и Ида Пфейффер. Позволю себе прибавить, что Мэри Кингслей говорит в своей книге о Западной Африке с такой же симпатией о туземном племени Фанов, которых раньше изображали, как самых «ужасных каннибалов».

Pfeiffer I. Meine zweite Weltreise. Wien, 1856. Bd. I. S. 116, sec. См. также: Müller and Temminck. Dutch Possesions in Archipelagic India, цитир. Э. Реклю в «Géographie Universelle» (T. XIII).

Descent of Man (2-е изд. С. 63, 64).

См.: *Bastian*. Der Mensch in der Geschichte. Bd. III. S. 7. Также: *Grey*, loc. cit. S. 238.

Миклухо-Маклай, в указанном сочинении, тоже упоминает об этом обычае.

Бесчисленные следы пост-плиоценовых озер, в настоящее время исчезнувших, мы находим по всей центральной, западной и северной Азии. Раковины тех же самых видов, которые теперь живут в Каспийском море, рассеяны в недавних отложениях, на поверхности почвы; на восток — на расстоянии полпути к Аральскому озеру, на север — до Казани. Следы заливов Каспийского моря, которые раньше принимались за старые русла Аму-Дарьи, пересекают Туркменскую территорию. Конечно, необходимо принять во внимание временные периодические колебания в количестве осадков. Но при всем том высыхание — очевидно, и оно совершается с быстротой, которой геологи раньше не ожидали. Даже в сравнительно богатых влагой частях юго-западной Сибири, судя по ряду достоверных съемок, опубликованных Ядринцевым, оказывается, что на участке земли, бывшем восемьдесят пять лет тому назад дном одного из озер Чанской группы, теперь расположились деревни; в то же время другие озера той же самой группы, пятьдесят лет тому назад покрывавшие сотни квадратных верст, теперь обратились просто в пруды. Короче говоря, высыхание северо-западной Азии идет таким темпом, который должно измерять столетиями, вместо тех громадных геологических единиц времени, к которым мы прибегали раньше. См. мою статью «The Dessication of Asia», в «Geographical Journal» Лондонского географического общества (1903).

Целые цивилизации, оказывается, исчезли в эту пору, как это доказывается теперь замечательными открытиями, сделанными в Монголии, на Орхоне и в Люкчунской впадине, Дм. Клеменцом, и около Лоб-нора Sven Hedin'ом.

Если я придерживаюсь по отношению к Англии мнений (называя лишь современных специалистов) Нассе, Ковалевского и Виноградова, а не мнений F. Seebohm'a (Denman Ross может быть упомянут для полноты), то это не только потому, что взгляды вышеназванных трех писателей основаны на глубоком знании предмета, и притом согласны между собою, но также ввиду их превосходного знакомства с деревенской общиной вообще — знакомства, отсутствие которого сильно чувствуется в замечательном в других отношениях труде Seebohm'a. То же самое замечание можно сделать, в усиленной степени, и относительно изящных произведений Fustel de Coulanges'a, которого мнения и страстные истолкования древних текстов не находят иных сторонников, кроме его самого.

Литература о деревенской общине настолько обширна, что мы ограничимся здесь указанием на немногие работы. Так, работы Sir Henry Main'a, F. Seebohm'a и Walter'a «Das alte Wallis» (Bonn, 1859), являются хорошо известными и широко распространенными источниками для Шотландии, Ирландии и Уэльса. Для Франции можно указать «Precis de l'histoire du droit francais: Droit prive» (1886) и некоторые из его монографий в «Bibliotheque de l'Ecole des Chartes»; Babeau, «Le Village sous l'ancien regime» («мир» в XVIII веке), 3-е изд., 1887; Bonneniere, Doniol и др. Для Италии и Скандинавии главные работы переименованы в Лавелэ, «Первобытная собственность» (немецкий перевод К. Bucher'a). Для финнов: Rein's «Forelasningar» I, 15; Koskinen, «Finische Geschichte», 1874, и различные монографии. Для Лифляндии и Курляндии см. статью проф. Луцицкого в «Северном Вестнике» (1891). Для Тевтонов, помимо общеизвестных работ таких авторов, как Maurer, Sohm («Altdeutsche Reichs und Gerichts-Verfassung»), см. также: Dahn; («Urzeit», «Volkerwanderung», «Langobardische Studien»); Janssen, Wilh. Arnold и др. Для Индии, помимо таких авторов, как Н. Maine и писателей, которых он называет, см. Sir John Phear's «Aryan Village». Для России и южных славян см. работы Кавелина, Посникова, Соколовского, Ковалевского, Ефименко, Иванишева, Клауса и т. д. (Обширный библиографический указатель, до 1880 года, дан в «Сборнике сведений об общине» в изд. Русск. геогр. общ.). — Общие выводы см., помимо Laveleye, «Propriete», Morgan, «Ancient Society», Lippert's, «Kulturgeschichte», Post, Dargun и т. д., а также лекции М. Ковалевского «Tableau des origines et de l'revolution de la famille et de la propriete» (Stockholm, 1890; имеется и в русском издании). Должно упомянуть также о многих специальных монографиях, список которых дан в работах P. Viollet, «Droit prive» и «Droit public». Относительно других см. последующие примечания.

Некоторые авторитетные ученые склонны рассматривать неделеную семью, как переходную ступень между родом и деревенской общиной, и несомненно, что в очень многих случаях деревенские общины выросли из таких неделеных семей. Тем не менее, я считаю неделеную семью фактом иного порядка. Мы находим ее и внутри рода; с другой стороны, мы не можем утверждать, что неделеные семьи существовали когда-нибудь, не принадлежа в то же время к роду, или деревенской общине, или к «Gau». Я представляю себе, что ранние деревенские общины медленно возникали непосредственно из родов, и состояли, согласно расовым и местным обстоятельствам, или из нескольких неделеных семей, или же одновременно из неделеных и простых семей, или же (в особенности, в случаях образования новых поселений) лишь из одних простых семей. Если этот взгляд правилен, то мы не имеем права устанавливать такую серию; род, неделеная семья, деревенская община, — так как второй член рода не имеет той же этнологической ценности, как два других. — См. Приложение I.

Stobbe. Beitrage zur Geschichte des deutsche Rechtes. S. 62.

Немногие следы частной земельной собственности, встречающиеся в раннем варварском периоде, находятся лишь у таких племен (батавы, франки в Галлии, которые в течение некоторого времени находились под влиянием императорского Рима. См.: *Inama-Sternegg*. Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften in Deutschland. Bd. I. 1878. Также: *Bessler*. Neubruch nach dem alteren deutschen Recht. S. 11–12, цит. у Ковалевского в «Современном обычае и древнем законе» (М., 1886. I, 134).

Maurer. Markgenossenschaft; *Lamprecht.* Wirtschaft und Recht der Franken zur Zeit der Volksrechte // Historischer Taschenbuch. 1883; *Seebohm.* The English Village Community. Gl. VI, VII, IX.

Walter. Das Alte Wallis. S. 323; Бакрадзе Дм. и Худадов Н. // Записки Кавказского географического общ. Т. XIV. Ч. I.

Bancroft. Native Races; *Waitz*. Anthropologie. III, 423; *Motnozier* // Bull. Soc. d'Anthropologie. 1870; *Post*. Studien и т. д.

Работы Ory, Luro, Laudes и Sylvestre о деревенской общине в Аннаме, доказывающие, что она имела там те же формы, как и в Германии или России, упоминаются в критической статье Jobbe-Duval'a в «Nouvelle Revue historique de droit francais et etranger», октябрь и декабрь, 1896. Хорошая работа о деревенской общине в Перу, до установления власти Инков, была сделана Heinrich Cunow'ом в «Die Soziale Verfassung des Inka-Reichs» (Stuttgart, 1896). В этой работе описаны общинное владение землей и общинная обработка земли.

Ковалевский М. Современный обычай и древний закон. I, 115.

Palfrey. History of New England. II, 13; цит. у: *Maine*. Village Communities. 1876. Р. 201 американского издания.

Konigswarter. Etudes sur le developpement des societes humaines. Paris, 1850.

Таков, по крайней мере, закон у калмыков, обычное право которых имеет чрезвычайно близкое сходство с законами тевтонцев, древних славян и других.

Этот обычай до сих пор сохранился у многих африканских и других племен.

Village Communities. P. 65–68 and 199.

В течение всего периода, *вира* (wehrgeld) платилась в возмездие за обиду обиженному; *пеня* же (fred) платилась общине, а впоследствии ее заместителю — барину, епископу, королю — за нарушение мира, как повинная перед местными богами (или святыми) общины.

Maurer («Geschichte der Markverfassung»; § 29, 97) держится вполне определенного взгляда по этому вопросу. Он утверждает, что «все члены общины... а равным образом светские и духовные властелины, часто бывавшие также отчасти совладельцами (Markberechtigte), и даже люди посторонние общине были подчинены ее юриспруденции» (С. 312); местами такого рода представления были в силе вплоть до XV столетия.

Konigswarter. Loc. cit. S. 50; Thrupp J. Historical Law Tracts. London, 1843. P. 106.

Konigswarter указал, что «fred» возникла из жертвоприношений, которые обидчик делал для умилоствления предков. Позднее она уплачивалась общине за нарушение мира; а еще позднее — судье, королю, или помещику, когда они присвоили себе права, прежде принадлежавшие общинам.

Post. Bausteine and Afrikanische Jurisprudenz. Oldenburg, 1887. Bd. I. S. 64, sec.;
Ковалевский. Указ. соч. II, 164–189.

Миллер Ф. и Ковалевский М. В горных общинах Кабарды // Вестник Европы. 1884. Апрель; у шахсенов Муганской степи родовые войны из-за кровавой мести всегда заканчиваются браком представителей двух враждебных сторон (Марков, в приложении к «Запискам Кавказского географического общества». Т. XIV. Ч. I. С. 21).

Post, в «Afrikanische Jurisprudenz», дает ряд фактов, поясняющих представления о справедливости у африканских варваров. То же самое можно сказать о всех серьезных исследованиях в области обычного права варваров.

См. превосходную главу «Le droit de la Vieille Irlande» (также Le Haut Nord), профессора E. Nys, в «Etudes de droit international et de droit politique» (Bruxelles, 1896).

Dasent G. The Story of Burnt Njal (Введение, стр. XXXV).

Das alte Wallis. S. 345–350.

Майнов. Очерки юридических обычаев у Мордвы // Записки Русского географического общества по отделению этнографии. 1886. С. 236, 257.

Maine H. International Law. London, 1888. P. 11–13; *Nys E.* Les origines du droit International. Bruxelles, 1894.

Русский историк, казанский профессор Шапов, который был выслан в 1862 году в Сибирь, дал хорошее описание их учреждений в «Известиях Восточно-Сибирского Отдела географического общества» (Т. V, 1874). См. также: *Nasse*. Ueber die Mittelarterliche Feldgemeinschaft. Bonn, 1869; *Виноградов*. Villainage in England. Oxford, 1892.

Maine H., Sir. Village Communities. New York, 1876. P. 193–196.

Назаров Северно-Уссурийский край. СПб., 1887. С. 65.

Hanoteau el Letourneau. La Kabylie. 3 vol. Paris, 1883.

При созыве «помочи» миру полагается какое-нибудь угощение. Один из моих кавказских друзей рассказывал мне, что в Грузии, когда бедняк нуждается в «помочи», он берет у богача одну или двух овец для приготовления такого угощения, а община, помимо своего труда, приносит еще столько провизии, чтобы бедняк мог уплатить сделанный для угощения долг. Подобный же обычай существует также у мордвинов.

Такой же обычай удержался по сие время в Англии, где им пользуются кочующие цыгане и вообще проезжие. Они могут стать табором на сутки и пасти свою лошадь вдоль дороги.

Hanoleau el Letowneau. La Kabylie. II, 58. — То же самое уважение к чужеземцам является общим правилом у монголов. Монгол, отказавший в убежище чужеземцу, платит полную виру, в случае, если чужеземец пострадал вследствие отказа в гостеприимстве (*Bastian. Mensch in der Geschichte. III, 231*).

Худадов Н. Заметки о хевсурах // Записки Кавказского географич. общ. XIV. I. Тифлис, 1890. С. 68. — Они также дали клятву не жениться на девушках, принадлежащих к их собственному союзу, проявив таким образом замечательный возврат к древним родовым установлениям.

Бакрадзе Дм. Заметки о Закапальском округе // Там же. XIV. I. С. 264. «Сборный плуг» представляет обычное явление как среди лезгин, так и среди осетин, — точно так же, как, под именем **сивара** (суваг) он был обычен в древнем Валлисе (Уэльсе).

См.: *Post*. Afrikanische Jurisprudenz. Oldenburg, 1887; *Munzinger*. Ueber das Recht und Sitten der Bogos. Winterthur, 1859; *Casalis*. Les Bassoutos. Paris, 1859; *Maclean*. Kafir Laws and Customs. Mount Coke, 1858 и мн. др.

Waiz, III, 423 seq.

Post. Studien zur Entwicklungsgeschichte de Familien-Rechts. Oldenburg, 1889. S. 270 seq.

Powell. Annual Report of the Bureau of Ethnography. Washington, 1881, цит. у Post'a («Studien». S. 290); *Bastian*. Inselgruppen in Oceanien. 1883. P. 88.

De Stuers, цитируемый у Waiz'a (Bd. V. S. 141).

W. Arnold, и его «Wanderungen und Ansiedelungen der deutschen Stamme» (S. 431), утверждает даже, что половина распаханной в современной Германии земли была поднята в период времени между шестым и девятым веком. Того же мнения держится и Nizstch в «Geschichte des deutschen Volkes» (Leipzig, 1883. Bd. I).

Leo, Botta. Histoire d'Italie (французск. изд. 1844. Т. I. С. 37); *Костомаров. Начало единой державы на Руси // Вестник Европы.*

У франков, за кражу простого ножа назначался штраф в 15 solidi, а за кражу железных частей мельницы штраф в 45 solidi (см.: *Lamprecht. Wirtschaft und Recht der Franken // Raumer*. Historisches Taschenbuch. 1883. S. 52). Согласно закону Рипариев, меч, копье и железные латы воина равнялись ценности, по крайней мере, 25 коров или 2 годов работы свободного человека. Один лишь панцирь, согласно Салическому закону (Desmicels, цит. у Michelet), оценивался в 36 мер пшеницы.

Главное богатство вождей, в продолжение долгого времени, заключалось в их земельных владениях, заселенных отчасти пленными рабами, но преимущественно вышеуказанным нами способом. — О происхождении собственности см.: *Sternegg I. Die Ausbildung der grossen Grundherrschaften in Deutschland // Schmoller. Forschungen. Bd. I, 1878; Dahn'a F. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Berlin, 1881; Maurer. Dorfverlassung; Cuisot Essais sur l'histoire de France; Maine. Village Community; Botta. Histoire d'Italie; и работы Seebohm'a, Виноградова, J. R. Green'a и т. д.*

См.: *Maine's H., Sir. International Law. London, 1888*, М. Ковалевского, Е. Nys и
мн. др.

Ancient Laws of Ireland (Введение); *Nys E. Etudes de droit international*. 1896. Bd. I, S. 86 seq. Среди осетин посредники из трех древнейших деревень пользуются особенно высокой репутацией (*Ковалевский М. Современный обычай и древний закон*. М., 1886. Т. II. С. 217).

В древних датско-норвежских сагах встречается слово lövedati, — т. е. «давать закон» (löve — закон), указывать закон, приложимый к данному случаю. Поэтому я позволяю себе, в виде догадки, спросить следующее: — когда наши летописи говорят, что славяне просили Скандинавских князей прийти к ним «княжити и володети», то слово «княжити» (от «Knung») очевидно значит быть военачальниками, а слово «володети» не есть ли испорченное в разговорном языке слово «lövedati» — вернее løvedati?

Позволительно думать, что это представление (связанное с представлением о tanistry), играло важную роль в жизни данного периода; но исторические исследования до сих пор еще не коснулись этого явления.

В хартии города Сен-Кантена, относящейся к 1002 году, было ясно установлено, что выкупы за дома, обреченные на разрушение за преступления владельцев, шли на поддержание городских стен. Такое же употребление назначалось для Ungeld в германских городах. В Пскове штрафы вносились и хранились в соборе, и из этого штрафного фонда производились издержки на поддержание городских стен.

Sohm Frankische Rechts- und Gerichtsverfassung. S. 23; также *Nitzsch*. Geschichte des deutsche Volkes. I, 78. То же было и в русских вольных городах. Ср.: *Сергеевич*. Вече и Князь; *Костомаров*. Начало единой державы; *Беляев* и т. д.

См. превосходные замечания по этому вопросу в работе Augustin Thierry «Lettres sur l'histoire de France», письмо 7-е. С этой точки зрения очень поучительны переводы у «варваров» некоторых частей Библии.

Согласно англо-саксонскому закону, — в 36 раз более, чем за дворянина. По кодексу Ротари, убийство короля наказывалось, впрочем, смертью; но это нововведение (помимо римского влияния) было внесено в 642 году в Ломбардский закон, — как указали Leo и Botta — с целью защитить короля от последствий кровавой мести. Так как король в то время обязан был выполнять свои собственные решения, (точно так же, как раньше род был исполнителем собственных приговоров), и казнил сам, то его надо было охранить особым постановлением, тем более, что до Ротари несколько королей было убито один за другим (*Leo, Botta. l.c, 1, 66–90*).

Kaufmann. Deutsche Geschichte. Bd. I. Die Germanen der Urzeit. S. 133.

Dahn F., Dr. Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker. Berlin, 1881.
Bd. I, 96.

Если я, таким образом, придерживаюсь взглядов, давно уже защищаемых Maurer'ом («Geschichte der Städteverfassung in Deutschland», Erlangen, 1869), то делаю это потому, что он вполне показал таким образом непрерывность эволюции от деревенской общины к средневековому городу, и что, только держась его взглядов, можно объяснить себе универсальность городского общинного движения. Savigny, Eichhorn и их последователи несомненно доказали, что традиции римской *municipia* никогда не исчезали вполне. Но они не приняли в расчет периода деревенских общин, пережитого варварами, прежде чем у них появились какие-нибудь города. Факт тот, что где бы человечество ни начинало снова цивилизацию, — было ли то в Греции, Риме, или в средней Европе, — оно проходило чрез те же самые стадии: род, деревенскую общину, свободный город, и государство, причем каждая из этих стадий естественным образом развивалась из предыдущей. Конечно, опыт каждой предшествующей цивилизации никогда не утрачивался вполне. Греция (сама находившаяся под влиянием восточных цивилизаций) воздействовала на Рим, а Рим оказал влияние на нашу цивилизацию; но каждая из цивилизаций имела одно и то же начало — род. И точно так же, как мы не можем сказать, чтобы наши государства были *продолжениями* римского государства, мы не можем также утверждать, что средневековые города Европы (включая Скандинавию и Россию), были продолжениями римских муниципий. Они были продолжениями деревенских общин варваров, на которые до известной степени влияли традиции римских городов.

Из работ, проливающих некоторый свет на *ранний* период развития независимых городов, укажу на небольшую работу, сделанную одним из жителей г. Рапалло в одном монастыре, в горах над городом. Он нашел там бумаги, где рассказывалось восстание — уже в *десятом* веке — крестьян соседних деревень против своих помещиков, и поддержку, которую оказывала им независимая коммуна Генуи, посылавшая им на помощь свои войска для борьбы против феодалов-помещиков. Извлечения из этих бумаг печатались в 1910 или 1911 году в небольшой еженедельной газете, издававшейся в Рапалло. К сожалению, я их не сохранил.

Kovalevsky M. Modern Customs and Ancient Laws of Russia: Ilchester Lectures. London, 1891 (Lec. 4).

Потребовалось немало изысканий, прежде чем был надлежащим образом установлен этот характер так называемого удельного периода, работами Беяева («Рассказы из русской истории»), Котомарова («Начало единодержавия на Руси») и в особенности проф. Сергеевича («Вече и Князь»). Западно-европейские читатели могут найти некоторые сведения относительно этого периода в вышеупомянутой работе М. Ковалевского, в Rambaud «Histoire de Russie», и в кратком резюме, сделанном мною в статье «Russia» в издании «Chamber's Encyclopaedia» девяностых годов.

Ferrari Histoire des revolutions d'Italie. I, 257; *Kallsen*. Die deutschen Städte im Mittelalter. Halle, 1891. Bd. I.

См. превосходные замечания G. L. Gomme относительно Лондонского веча в «The Literature of Local Institutions» (London, 1886. P. 76). Должно, однако, заметить, что в королевских городах вече никогда не достигало той степени независимости, которую оно приобрело в других местностях. Несомненно даже, что Москва, Париж и Вестминстер (а не Лондон) были выбраны князьями и Церковью, как колыбели будущей королевской или царской власти в государстве, потому именно, что в них не было традиций веча, которое привыкло бы действовать во всех делах в качестве верховной власти.

Luchaire A. Les Communes françaises; также *Kluckohn.* Geschichte des Gottesfriedens. 1867. *Sémichon L.* La paix et la trêve de Dieu. 2 т. Paris, 1869, пытался представить общинное движение исходящим из «Божьего мира». Но в действительности *treuga Dei*, подобно лиге, возникшей при Людовике Толстом для защиты от разбойничавшего дворянства и норманнских нашествий, была вполне народным движением. Историк *Vitalis*, упоминающий об этой лиге, описывает ее именно как «народную общину» («*Considérations sur l'histoire de France*» в Т. IV Aug. Thierry. «*Oeuvres*» (Paris, 1868. С. 191 и прим.)).

Ferrari, I, 152, 263, etc.

Perrens. Histoire de Florence. I, 188; *Ferrari*. I.e., I, 283.

Thierry Aug. Essai sur l'histoire du Tiers Etat. Paris, 1875. P. 55–117.

Rocquain F. La Renaissance au XII siècle // Etudes sur l'histoire de France. Paris, 1875. P. 55–117.

Костомаров Н. Рационалисты XII столетия.

Очень интересные факты о всеобщности гильдий можно найти в труде Rev. J. M. Lambert'a «Two Thousand Years of Guild Life» (Hull, 1891). О грузинских амкари см.: *Елиазаров*. Городские цехи (Организация закавказских амкари) // Записки Кавказского отдела Географического общества. 1891. XIV. 2.

Wunderer I. D. Reisebericht // Fichards. Frankfurter Archiv. II, 245: цит. у: *Janssen*.
Geschichte des deutschen Volkes. I, 355.

См. очень интересное описание того, как строился Кельнский собор, в:
Ennen L., Dr. Der Dom zu Köln, Historische Einleitung. Köln, 1871. S. 46, 50.

См. предыдущую главу.

Ancher K. On gamle Danske Gilder og deres Undergång. Copenhagen, 1785.
Статуты гильдии Кну (Канута).

О положении женщин в гильдиях см. вступительные замечания г-жи Toulmin Smith к работе ее отца, «English Guilds». Один из Кембриджских уставов (С. 281), относящийся к 1503 году, положительно говорит об этом в следующей фразе: «настоящий статут составлен по общему согласию всех братьев и сестер гильдии Всех Святых».

В средние века только тайное нападение рассматривалось как убийство. Кровавая месть, совершаемая открыто, при дневном свете, считалась актом правосудия; убийство в ссоре не было убийством, если только нападающий выказывал готовность раскаяться и загладить совершенное им зло. Глубокие следы этого различия до сих пор сохранились в современном уголовном праве, особенно в России («убийство в запальчивости и раздражении»).

Ancher K. I.e. Эта старая небольшая книга заключает в себе много таких сведений, которые были упущены из виду позднейшими изыскателями.

Они сыграли крупную роль в восстаниях рабов и несколько раз подряд подвергались запрещению во второй половине девятого века. Конечно, королевские запрещения оставались мертвой буквой.

Средневековые итальянские живописцы были также организованы в гильдии, которые в более позднюю эпоху стали художественными академиями. Если итальянское искусство тех времен носит на себе такой яркий отпечаток местной индивидуальности, что и теперь мы можем распознать различные школы: Падуи, Бассано, Тревизы, Вероны и т. д., хотя все эти города находились под влиянием Венеции, то этим мы обязаны — по замечанию J. Paul Richter — тому факту, что живописцы каждого города принадлежали к отдельной гильдии, поддерживавшей дружественные отношения с гильдиями других городов, но жившей самостоятельной жизнью. Древнейший известный гильдейский устав — Веронский, — помечен 1303-м годом, но очевидно скопирован с какого-нибудь более древнего статута. В обязанности членов входили, по словам устава: «братская помощь в нужду всякого рода», «гостеприимство чужеземцам, проезжающим через город, ибо таким образом можно получить сведения о делах, которые желательно узнать», и «обязанность — оказывать помощь людям, впавшим в старческое одряхление» (Nineteenth Century. Nov. 1890 and Aug. 1892).

В России имеется громадная литература об артелях, перечисление которой, с критическими замечаниями, можно найти в превосходной работе Н. А. Рубакина, «Среди книг». Для иностранных читателей я дал несколько указаний в статье «Russia». С. 87, в 9-м издании «Encyclopaedia Britannica».

См., например, тексты уставов Кембриджских гильдий, приводимые Toulmin Smith (English Guilds. London, 1870. P. 274–276), из которых видно, что «всеобщий и главный день» был вместе с тем и «избирательным днем»; см. также: *Clode Ch. M. The Early History of the Guild of the Merchant Taylors.* London, 1888. I, 45; и мн. др. О возобновлении присяги на верность гильдии см. Сагу Jømsviking, упоминаемую в работе Pappenheim'a «*Altdänische Schutzgilden*» (Breslau, 1885. S. 67). — Весьма вероятно, что когда началось преследование гильдий, многие из них занесли в свои статуты лишь день общей трапезы и благочестивые обязанности членов гильдии, намекнув лишь в самых общих выражениях о юридических функциях гильдий. Вопрос: «кто будет моим судьей?» не имеет теперь никакого значения, с тех пор как государство присвоило своей бюрократии организацию правосудия; но он имел первостепенное значение в средние века, тем более, что собственная юрисдикция обозначала и самоуправление. Должно впрочем, заметить, что перевод саксонского и датского выражения: «guild-bretheren» или «brödrae» т. е. гильдейские братья, или братья) латинским словом *convivii*, т. е. сотрапезники, также послужил к возникновению вышеуказанного смешения.

См. прекрасные замечания о frith-guild в работе J. R. Green и г-жи Green в «The Conquest of England» (London, 1883. P. 229–230).

Recueil des ordonnances des rois de France. Т. XII, 562; цит. у Aug. Thierry в «Considerations sur l'histoire de France» (Р. 196) издания в 12-ю долю листа. Эту книгу давно следовало бы перевести на русский язык.

Luhaire A. Les Communes françaises. P. 45–46.

Nogent G. de. De vita sua, цит. у Luchaire. Les Communes françaises. P. 14.

Lebrel. Histoire de Venice. I, 396, также Marin, цит. у Leo и Botta в «Histoire d'Italie» (франц. изд., 1844, Т. 1, 506).

Arnold W., Dr. Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte. 1854. Bd. II, 227, seq.; *Ennen*. Geschichte der Stadt Koeln., Bd. I. S. 228–229, а также самые документы, опубликованные Энненом и Эккертом.

Green J. R. // The Conquest of England. 1883. P. 453.

Беляев. Рассказы из русской истории. Т. II и III.

Gramich W. Verfassungs und Verfassungsgeschichte der Stadt Würzburg im 13. bis zum 15. Jahrhundert. Würzburg, 1882. S. 34.

Когда судно доставляло груз каменного угля в Вюрцбург, то в первые восемь дней уголь мог быть продаваем только в розницу, причем каждая семья могла купить не более пятидесяти корзин. Оставшийся после этого груз мог быть продан оптом, но в мелочной продаже скупщику разрешалась лишь честная (*zittliche*) прибыль; бесчестная же (*unzittliche*) прибыль строго воспрещалась (*Gramich, l.e.*). То же самое было и в Лондоне («*Liber albus*», цит. у: *Ochenkowski. England's wirtschaftliche Entwicklung. Jena, 1879. P. 161*), в шотландских городах, во Франции, в Испании, и, в сущности, повсеместно.

См.: *Faguiet*. Etudes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIII-me et XIV-me siècle. Paris, 1877. P. 156, seq. Едва ли нужно добавлять, что налог на хлеб, а также на пиво, налагался лишь после тщательных исследований относительно количества хлеба и пива, которое может быть получено из данного количества зерна. В Амьенских архивах сохранились заметки о подобных исследованиях (A. de Calonne, l.e. P. 77, 93). См. также, относительно Лондона, Ochenkowski (P. 165) и мн. других.

Gross Ch. The Guild Merchant. Oxford, 1890, I, 135. Приводимые автором документы доказывают, что подобная же практика существовала в Ливерпуле (II, 148–150), в Waterford'e в Ирландии, в Neath'e в Уэльсе, в Linlithgow и Turso в Шотландии. Тексты Гросса показывают также, что покупки производились не только для распределения между гражданами купцами, но и «для всех граждан и общинников» (С. 136, примечание), или, как говорится в уставе Торсо, относящемся к XVII столетию: «должно доводить до сведения купцов, ремесленников и жителей названного города, что они могут иметь свою долю (в закупках) сообразно их нуждам и достаткам».

The Early History of the Guild of Merchant Taylors / by Charles M. Clode. London, 1881. 1, 361, приложение 10-е; равным образом и следующее приложение, показывающее, что подобные же закупки делались и в 1646 году.

Cibrario. Les conditions économiques de l'Italie au temps de Dante. Paris, 1865. P. 44.

Calonne A. de. La vie municipale au XV-me siècle dans le Nord de la France. Paris, 1880. P. 12–16. В 1485 году город дозволил вывезть в Антверпен некоторое количество зернового хлеба, «так как жители Антверпена всегда были готовы сделать приятное купцам и гражданам Амьена» (*ibid.* P. 75–77 и тексты).

Babeau A. La ville sous l'ancien regime. Paris, 1880.

Ennen. Geschichte der Stadt Köln. I, 491, 492, а также тексты.

Литература указанного вопроса огромна. Но не имеется еще ни одной работы, которая бы рассматривала средневековый город в целом. Для французских общин классическими остаются до сих пор работы Augustin Thierry: «Lettres» и «Considérations sur l'histoire de France»; прекрасным дополнением к ним является книга Luchaire'a «Communes françaises», написанная в том же направлении. Для городов Италии можно указать нижеследующие: превосходный труд Sismondi «Histoire des républiques italiennes du moyen age» (Paris, 1826. 16 т.); Leo и Botta «История Италии», для которой имеется французский перевод (3 больших тома); Ferrari «Révolutions d'Italie» и Hegel'a «Geschichte der Städteverfassung in Italien». Эти сочинения составляют главные источники общих сведений о городах Италии вообще. Для Германии мы имеем: Maurer's «Städteverfassung», Barthold's «Geschichte der deutschen Städte», а из недавних работ прекрасный труд Hegel'a «Städte und Gilden der germanischen Volker» (2 т., Leipzig, 1891) и д-ра Otto Kallsen'a «Die deutschen Städte im Mittelalter» (2 т., Halle, 1891); а также Janssen'a «Geschichte des deutsches Volkes» (5 т., 1886). — Выразим надежду, что последний из названных нами трудов будет переведен по-русски (французский перевод появился в 1892 году). Для Бельгии можно указать: А. Wauters «Les Libertés communales» (Bruxelles, 1869–78, Т. 3.), а для России: труды Беляева, Костомарова и Сергеевича. Наконец, для Англии мы имеем прекрасную работу о городах в произведении г-жи J. R. Green «Town Life in the Fifteenth Century» (2 т., London, 1894). Кроме того, имеется большое количество хорошо известных местных историй и несколько превосходных работ по всеобщей и экономической истории, которые я так часто упоминаю в настоящей и предыдущей главах. Богатство литературы заключается, однако, главным образом в отдельных, иногда превосходных исследованиях по истории отдельных городов, особенно итальянских и германских; или же гильдий; земельного вопроса; экономических принципов той эпохи; затем — союзов, лиг между городами (Hansa, союзы итальянских городов, союзы рейнские и т. д.); и наконец общинного искусства. Невероятное обилие сведений заключается в трудах этой второй категории, из которых в настоящей работе указаны только самые важные. — Вообще только крайне ненормальным состоянием русских университетов можно объяснить то, что в них на эту обширную область жизни человечества так мало до сих пор обращено было внимания.

Кулишер в превосходном очерке первобытной торговли («Zeitschrift für Völkerpsychologie», Т. X, 380), также указывает, что, согласно Геродоту, агриппеяне считались неприкосновенными, ввиду того, что на их территории велась торговля между скифами и северными племенами. Беглец считался священным на их территории, и соседи часто приглашали их быть посредниками. — См. Приложение 1 (15).

Недавно возникли некоторые споры относительно Weichbild, которые до сих пор остаются не разъясненными (см.: *Zöpfl. Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts*. III, 29; *Kallsen*. I, 316). Вышеприведенное объяснение кажется мне наиболее вероятным, но, конечно, его следует еще проверить дальнейшими исследованиями. Очевидно также, что (употребляя Шотландский термин), «mercet cross», т. е. «рыночный крест», или «торговый крест», должен был бы быть эмблемой церковной юрисдикции; но мы находим его как в епископских городах, так и в тех, где верховная власть принадлежала вичу.

Относительно всех вопросов, касающихся торговой гильдии, см. исчерпывающую предмет работы Ch. Gross «The Guild Merchant» (Oxford, 1890, 2 т.); а также замечания г-жи Green в «Town Life in the Fifteenth Century» (Т. II, гл. V, VIII, X); также обзор этого вопроса, сделанный А. Doren'ом в Schmoller's «Forschungen», Т. XII. Если соображения, указанные в предыдущей главе (согласно которым торговля вначале была общинной), окажутся правильными, тогда позволительно высказать гипотезу, что купецкая гильдия была корпорацией, которой поручалось ведение торговли в интересах целого города; и только постепенно эта корпорация превратилась в гильдию купцов, торгующих для собственной прибыли. В то же время торговые авантюристы («merchant adventurers») Англии, новгородские «повольники» и mercati personati (личные купцы) итальянских городов являлись бы, при таком объяснении, лицами, которым предоставлено было открывать на свой страх новые рынки на востоке и новые ветви торговли для личных выгод. Вообще должно заметить, что происхождение средневекового города не может быть приписано одному какому-нибудь отдельному фактору. Он был результатом тех нескольких сил, действовавших в различных степенях, на которые было указано нами.

Janssen. Geschichte des deutschen Volkes. I, 315; *Gramich*. Würzburg, а вообще любой сборник уставов.

Thorold Rogers, «Six Centuries of Wages» и «The Economical Interpretation of History».

Falke, «Geschichtliche Statistik», I, 373–393, и II, 66; цит. в: *Janssen. Geschichte*. I, 339; J. D. Blavignac, в «Comptes et dépenses de la constrictio du chocher de Saint-Nicolas à Fribourg en Suisse», приходит к подобному же заключению. Для Амьена см.: De Calonne, «Vie Municipal» (С. 99 и приложение). Для полной оценки и графического изображения средневековой заработной платы в Англии, с переводом ее на стоимость хлеба и мяса, см. прекрасную статью и таблицу кривых G. Steffen'a в журнале «Nineteenth Century» за 1891 год и его же «Studier öfver lönsystemets historia i England» (Stockholm, 1895).

Для того, чтобы привести хотя бы один пример из множества, находящихся в работах Schönberg и Falke, укажу, например, что 16 сапожников рабочих (Schusterknechte) рейнского города Ксантина пожертвовали для возведения иконостаса и алтаря в церкви 75 гульденов по подписке и 12 гульденов из общего ящика, причем ценность денег в то время, согласно наиболее достоверным исследованиям, превосходила в десять раз их теперешнюю стоимость.

Приводится Janssen'ом (l.c., I, 343).

Rogers T. The Economical Interpretation of History. London, 1891. P. 303.

Janssen. I.c. См. также: *Schulz A.* Deutsches Leben im XIV und XV Jahrhundert. Grosse Ausgabe, Wien, 1892. S. 67, seq. В Париже длина рабочего дня была от семи до восьми часов зимою и до четырнадцати часов летом в известных ремеслах; в других же она была восьми до девяти часов зимою и от десяти до двенадцати летом. По субботам и в двадцать пять других дней (*jours de commun de vile foire*) все работы кончались в 4 часа пополудни. А по воскресеньям и в тридцать других праздничных дней вовсе не работали. В общем выходит, что средневековый рабочий работал меньше часов, чем современный рабочий (*Martin Saint-Léon E.*, Dr. Histoire des corporations. P. 121).

Stieda W. Hansische Vereinbarungen über städtisches Gewerbe im XIV und XV Jahrhundert // *Hansische Geschichtsblätter.* Jahrgang, 1886. S. 121; *Schönberg.* Wirtschaftliche Bedeutung der Zünfte, а также отчасти Rescher.

См. глубоко прочувствованные замечания Toulmin Smith'a об ограблении гильдий королями, во введении г-жи Smith к «English Guilds». Во Франции аналогичное ограбление и уничтожение собственного суда гильдий началось с 1306 года, а окончательный удар был нанесен в 1382 году (*Faginez*, l.c. S. 52–54).

Адам Смит и его современники прекрасно знали, что именно они подвергали осуждению, когда они писали против вмешательства *государства* в торговлю и против торговых монополий, создаваемых *государством*. К несчастью, их последователи, с безнадежным легкомыслием, свалили в одну кучу средневековые гильдии и государственное вмешательство, не делая различия между эдиктом из Версаля и гильдейским уставом. Едва ли нужно указывать, что экономисты, серьезно изучавшие вопрос, как Schönberg (редактор хорошо известного курса «Политической экономии»), никогда не впадали в подобную ошибку. Но вплоть до самого недавнего времени расплывчатые споры вышеуказанного типа сходили за экономическую «науку».

Во Флоренции семь «меньших искусств» устроили свою революцию в 1270–82 гг, и подробное описание ее результатов можно найти в работе Perrens «Histoire de Florence» (Paris, 1877, 3 т.), и в особенности в труде Gino Capponi «Storia della repubblica di Firenze» (2-da edizione, 1876, I, 58–80; переведено на немецкий язык); в Лионе, напротив, когда в 1402 году началось подобное же движение, оно было подавлено, и ремесленники потеряли право выбирать собственных судей. В Ростове подобное же движение происходило в 1313 году; в Цюрихе в 1336-м; в Берне в 1363-м; в Брауншвейге в 1374 году, а в следующем году в Гамбурге; в Любеке в 1376–84 и т. д. См.: Schmoller's «Strassburg zur Zeit der Zunftkämpfe» и его же «Strassburg's Blüthe»; Brenrano «Arbeitergilden der Gegenwart» (2 тома, Leipzig, 1871–1872); E. Bain «Merchant and Craft Guilds» (Aberdeen, 1887. P. 26–47, 75) и т. д. — Что же касается до взглядов Gross'a на ту же борьбу в Англии, см. замечания г-жи Green в ее «Town Life in the Fifteenth Century» (II, 190–217); а также главу о рабочем вопросе, и вообще весь этот, чрезвычайно интересный том указанной работы. Взгляды Brentano на ремесленную борьбу, изложенные преимущественно в §§ III и IV его очерка «Об истории и развитии гильдий», в «English Guilds» Toulmin Snuth'a, остаются классическими по этому вопросу; дальнейшие разыскания снова и снова подтверждали их.

Приведу лишь один пример: Камбрэ совершил свою первую революцию в 907 году и после трех или четырех новых возмущений добился хартии в 1076 году. Эта хартия отбиралась дважды (в 1107 и 1136 году) и дважды давалась снова (в 1127 и 1180 году). В общем пришлось бороться 223 года, прежде чем была завоевана независимость. Лиону пришлось бороться с 1195-го по 1320-й год. И так — повсюду.

Kallsen. Bd. I. S. 307.

Giry. Établissements de Rouen. T. I, 117, цит. у Luchoire (С. 24).

См. *Tuetey*. Etude sur le droit municipal... en Franche-Comté // Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard (2-я серия, Т. II, 129 seq.).

Это, по-видимому, часто случалось в Италии. В Швейцарии, Берн даже купил города Тун и Бургдорф.

Так, по крайней мере, дело происходило в городах Тосканы (Флоренции, Лукке, Сиене, Болонье и т. д.), относительно которых наилучше изучены отношения между городом и крестьянами (См.: Лучицкий «Рабство и русские рабы во Флоренции в XIV и XV столетиях» в Киевских университетских «Известиях» за 1885 год; для этой работы Лучицкий использовал Rumohr's «Ursprung der Resitzlosigkeit der Colonien in Toscana» (1830). Но вообще весь вопрос об отношениях между городами и крестьянством требует более тщательного изучения.

Обобщения Феррари часто чересчур теоретичны, чтобы всегда быть правильными но его взгляды на роль дворянства в городских войнах основаны на массе достоверных фактов.

Лишь города, упрямо стоявшие за дело баронов, как, напр., Пиза или Верона, потеряли, благодаря этим войнам. Для многих же городов, сражавшихся на стороне баронов, поражение было началом освобождения и прогресса.

Ferrari, II, 18, 104 etc.; *Leo. Botta*, 1, 432.

Falke J. Die Hansa als Deutsche See und Handelsmacht. Berlin, 1863. S. 31, 35.

Относительно Аахена и Кельна имеются прямые указания, что не кто иной, как епископы этих двух городов — один из них подкупленный врагами — открыли ворота города.

См. факты (хотя не всегда сопровождаемые верными выводами) у Nitzsch, III, 133 и след; также Kallsen, I, 458 и т. д.

О Коммуне Laonnais, которую до разысканий Melleville'а в «Histoire de la Commune du Laonnais» (Paris, 1853) смешивали с коммуной города Laon, см.: *Luchaire*. S. 75, seq. О ранних крестьянских гильдиях и последующих союзах см.: *Wilman R.* Die ländlichen Schutzgilden Westphaliens // *Zeitschrift für Kulturgeschichte*. Neue Folge. T. III, цит. в: *Henneam-Rhyn*. *Kulturgeschichte*. III, 249.

Luçaire. S. 149.

Такие два крупных города, как Майнц и Вормс, разрешили возникшее между ними политическое столкновение при помощи посредников. Точно так же после гражданской войны, вспыхнувшей в Аббевилле, Амьен выступил в 1231 году в качестве посредника (Luchaire, 149) и т. д.

См., например: *Stieda W.* Hansische Vereinbarungen. I.c. S. 114.

Ср. Cosmo Innes, «Early Scottish History» и «Scotland in Middle Ages»; цит. у Denton R. l.c. P. 68, 69; Lamprecht. Deutsches wirthschaftliche Leben in Mittelalter, рассм. Schmoller в его «Jahrbuch» (Т. XII); Sismondi. Tableau de l'agriculture toscane (С. 226 и след.). Владения свободной Флоренции можно было узнать сразу по их благоденствию.

John Ennett в «Six Essays» (London, 1891) дал несколько превосходных страниц об этой стороне средневековой архитектуры. Willis, в его приложении к «History of Inductive Sciences», Whewell'я (I, 261–262), указал на красоту механических соотношений в средневековых постройках. «Созрела, — говорит он, — новая декоративная конструкция, не противоречащая и контролирующая механическое построение, но содействующая ему и гармонирующая с ним. Каждая часть, каждое лепное украшение становится опорой тяжести; и благодаря увеличению числа опор, поддерживающих друг друга, и соответственного распределения тяжести, глаз наслаждается устойчивостью структуры, невзирая на кажущуюся хрупкость тонких отдельных частей». Трудно лучше охарактеризовать искусство, возникшее из общительной жизни города.

Ennen L., Dr. Der Dom zu Köln, seine Construction und Anstaltung. Köln, 1871.
Очень поучительная работа. Такая же работа, очень интересная, есть и о Базельском соборе.

Эти три статуи находятся среди наружных украшений собора Парижской Богоматери, рядом с поразительнейшими «химерами» и интересными скульптурными карикатурами на монахов и монашек.

Средневековое искусство, подобно греческому, не знало тех антикварных лавок, которые мы именуем «Национальными галереями» или «Музеями». Картины рисовали, статую высекали, бронзовое украшение отливали, чтобы поместить их в надлежащем для них месте, в памятнике общинного искусства. Произведение искусства жило здесь, оно было частью целого, оно придавало единство впечатлению, производимому целым.

Cp. *Ennett J.* Second Essay. P. 36.

Sismondi, IV, 172; XVI, 356. Великий канал, «*Naviglio Grande*», доставляющий воду из Тессино, был начат в 1179 году, т. е. после завоевания независимости, а закончен в XIII столетии. Об его последующем упадке см. у Сисмонди же, XVI, 355.

В 1336 году в флорентинских начальных школах училось от 8 000 до 10 000 мальчиков и девочек; от 1000 до 1200 мальчиков училось в семи средних школах, и от 570 до 600 студентов в четырех университетах. В тридцати городских госпиталях было свыше 1000 кроватей на население в 90 000 чел. (Carroni, II, 249, seq.). Авторитетные исследователи не раз уже указывали на то, что, вообще говоря, образование стояло в ту пору на более высоком уровне, чем обыкновенно предполагалось. Такое замечание, без всякого сомнения, справедливо, напр., относительно демократического Нюрнберга.

Wh. w. II. «History of Inductive Sciences». Vol. I. P. 252.

Ср. превосходные соображения о сущности римского права, данные L. Ranke в его «Weltgeschichte» (Т. IV. Ч. 2. С. 20–31); а также замечания Sismondi о роли легистов в развитии королевской власти в «Histoire des Français» (Paris, 1826, VIII, 85–99). Народная ненависть против этих «Weise Doktoren und Beutelschneider des Volks» выразилась в полной силе в XVI столетии, в проповедях раннего реформационного движения.

Брентано вполне оценил губительные результаты борьбы между «старыми бюргерами» и новопришельцами. Мясковский, в своей работе о деревенских общинах Швейцарии указал на то же явление в истории деревенских общин.

Торговля невольниками, захваченными на Востоке, непрерывно продолжалась в итальянских республиках вплоть до XV столетия. См.: *Cibrario. Della schiavitú e del servaggio*. 2 т. Milan, 1868; также работу проф. Лучицкого «Рабство и русские рабы во Флоренции в XIV и XV столетиях», в Киевских университетских «Известиях» за 1885 год.

Green J. R. History of the English People, London, 1878. I, 455.

Ср. теории, высказанные Болонскими юристами, уже на конгрессе в Roncaglia в 1158 году.

В последнее время в Германии растет объемистая литература исследований, посвященных этому вопросу, раньше оставленному в большом пренебрежении. В качестве руководящих источников можно указать следующие труды: Keller'а «Ein Apostel der Wiedertäufer» и «Geschichte der Wiedertäufer»; Cornelius'а, «Geschichte des münsterischen Aufruhrs» и Janssen'а «Geschichte des deutschen Volkes». Первой попыткой ознакомить английских читателей с результатами обширных изысканий, сделанных в этом направлении в Германии, является прекрасная небольшая работа Richard Heath «Anabaptism from its Rise at Zwickau to its Fall at Münster 1521–1536» («Baptist Manuals». T. I. London, 1895), в которой хорошо указаны главные черты движения, а также даны полные библиографические указания. См. также К. Каутского, «Коммунизм в Средней Европе во время реформации».

Немногие из наших современников ясно представляют себе как размеры этого движения, так и способы его подавления. Но люди, писавшие немедленно после великой крестьянской войны, определяли число крестьян, умерщвленных после их поражения в Германии, от ста до ста пятидесяти тысяч душ. См. Zimmermann «Allgemeine Geschichte des grossen Bauernkrieges» (имеется русский перевод). О том, как подавили движение в Нидерландах, истреблением десятков тысяч перекрещенцев, см. Richard Heath'a «Anabaptism» и упоминаемых им историков.

«Chacun s'en est accoinmodé selon sa bienséance... on les apartagés... pour dépouiller les communes, on s'est servi de dettes simulées». (Эдикт Людовика XIV 1667 года, цитируется различными авторами. За восемь лет перед тем, общины были взяты под присмотр государства).

«В огромных имениях помещиков, даже когда они имеют миллионные доходы, вы наверняка найдете землю необработанной», — писал Артур Ионг (Arthur Young). — «Одна четвертая часть земли лишена обработки»; «в течение последних ста лет земля пришла в дикое состояние»; «ранее цветущая Солонь превратилась теперь в большое болото» и т. д. (Theron de Montauge, цит. у *Taine*. *Origines de la France Contemporaine*. Т. 1. Р. 441).

Babeau A. Le Village sous l'Ancien régime. Ed. 3, Paris, 1892.

В восточной Франции этот закон, в той его же части, которая касалась возврата общинных земель, лишь подтвердил то, что уже было сделано самими крестьянами, а в других частях Франции он, большею частью, остался мертвой буквой.

Вслед за торжеством буржуазной реакции, после падения якобинцев и победы жирондистов, общинные земли были объявлены (24 августа 1794 г.) государственным имуществом и, вместе с землями, конфискованными у дворянства, назначены на продажу и расхищены «черными шайками» (*bandes noires*) мелкой буржуазии. Правда, этому расхищению был положен конец в следующем году (закон 2 Прериала V года Республики) и предшествовавший закон отменен, но в это время деревенские общины были просто уничтожены, и взамен их введены кантональные, т. е. волостные, советы. Лишь семь лет спустя (9 Прериала XII года Республики), т. е. в 1801 году, были восстановлены деревенские общины, но у них отняли все права и в 36 000 французских общин старшины и синдики были назначаемы правительством! Эта система поддерживалась вплоть до революции 1830 года, когда, согласно закону 1787 года, были введены выборные общинные советы. Что же касается общинных земель, то они были снова, в 1813 году, захвачены государством, расхищены, и лишь часть их была возвращена общинам в 1816 году. См. классическое собрание французских законов: Dalloz, «*Répertoire de Jurisprudence*»; а также работы Doniol, Vonnemère, Babeau и мн. других.

Писано было в 1902 году. С тех пор ничего не изменилось.

Эта процедура кажется настолько нелепой, что ей трудно было бы поверить, если бы вполне авторитетный писатель г. Трикош, в ученом «Journal des Economistes», издаваемом Молилари (1893, Avril. С. 94), не перечислил сполна все 52 документа и не привел еще несколько подобных примеров.

Ochenkowski, Dr. England's wirtschaftliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters. Iena, 1897. S. 35, seq., где обсуждается весь этот вопрос с полным знанием текстов.

Nasse Ueber die mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen des XVI Jahrhunderts in England. Bonn, 1869. S. 4, 5; *Vinogradov*. Villainage in England. Oxford, 1892.

Seebohm F. The English Village Community. Ed. 3. 1884. P. 13–15.

«Рассмотрение деталей Акта об ограждении (Enclosure Act) обнаруживает, что вышеописанная система (общинного владения) была той системой, устранение которой являлось задачей этого акта» (Seebohm, l.c. S. 13). И далее; «эти акты составлялись вообще в одной и той же форме, начиная с заявления, что открытые и общие поля (делянки в различных полях и пастбища) лежат в различных местах небольшими клочками, отличаясь чересполосностью и неудобством расположения; что различные лица владеют частями этих земель и владеют общими правами на них... и что желательно, чтобы земли были поделены и огорожены, причем каждому владельцу определена была бы известная часть» (S. 14). Указатель Портера заключает 3867 таких актов, из которых наибольшее количество падает на десятилетия 1770–1780 и 1800–1820, так же как и во Франции. См. Приложение 1.

Акты об ограждении — поразительный пример того самоволия земельной аристократии, которое, под покровительством парламента, удерживалось в Англии до конца девятнадцатого века, и продолжает держаться еще до сих пор. В силу этого Акта, если наследник бывших феодалов (или тот, кто купил у них права) загоразивал вольные общинные земли изгородью — в несколько десятков верст — *то они становились его собственностью*, в силу той фикции, поддерживаемой английскими законниками и профессорами, что в территории, на которую прежде распространялась судебная власть феодального лорда, все земли принадлежали ему, — фикция, вполне разрушенная Нассэ и Виноградовым, но тем не менее, признаваемая английскими законодателями. Общине представлялось в таком случае доказывать в суде, что огражденные земли *были ее собственностью*, чего община почти никогда не могла доказать, во-1) потому, что у нее на то не было никаких документов, так как документы писались только на личную собственность (известно, что и в России крестьяне получали форменные документы на общинную землю только после 1861 года); а во-2), потому, что всякое дело в английских судах, если только оно переносится в высшие инстанции, обходится сказочно дорого, т. е. стоит многих сотен тысяч рублей. Между тем, в силу «Акта об ограждении», парламент выдал более 4000 отдельных документов, утверждавших право личной собственности и на обширнейшие общинные земли, в пользу родовых лендлордов, или позднейших приобретателей, скупавших родовые имения. И такие акты парламент продолжает выдавать по сию пору.

В Швейцарии можно наблюдать некоторые общины, разоренные войнами и вынужденные продать часть своих земель, а теперь снова стремящиеся купить их.

Buchenberger A. Agrarwesen und Agrarpolitik // Wagner A. Handbuch der politischen Oekonomie. 1892. Bd. I. S. 280? seq.

Теперь, с изобретением американского трактора, общинная пахота, несомненно, широко разовьется. Война, побудившая англичан позаботиться о собственной обработке своих полей, дала толчок в этом направлении, и летом 1917 года в Англии работало уже 1 600 тракторов.

Gomme G. L. *The Village Community, with Special reference to its Origin and Forms of Survival in Great Britain* // *Contemporary Science Series*. London, 1890. P. 141–143; также его «*Primitive Folkmoths*» (London, 1880. P. 98, etc.). См. Приложение 1.

«Почти во всех частях страны, в особенности же в средних и восточных графствах, но также и на западе — как напр., Уильтшайре, на юге (в Сэррэй), на севере (в Йоркшайре), имеются обширные, открытые и общие поля. Из 316 приходов Нортгэмптоншайра 89 находятся в этом положении; более ста в Оксфордском графстве; около 50 000 акров в Уорикском (Warwickshire); в половине Беркшайршского графства; более половины Уилтшайрского; в Гентингтоншайрском, из всей площади в 240 000 акров, 130 000 акров находились под общинными лугами, выгонами и полями» (Marshall, цит. у: *Maine H.*, *Village Communities in the East and West*. New York, 1876. P. 88, 89). Маршалл был земельный агент, который объезжал Англию и составлял для лендлордов описания того, что можно было бы извлечь из каких-то общинных земель, если их огородить и объявить своими. Его книга вышла в 1804 году, под заглавием: *Elementary and Practical Treatise on Landed Property*.

Пересмотревши значительное количество произведений, касающихся английской деревенской жизни, я часто находил в них превосходные описания деревенского пейзажа и т. п., но почти никогда не встречал описаний повседневной жизни и обычаев рабочего населения.

В этой же статье указаны еще следующие книги об общинном землепользовании в Англии: С. L. Elton'а Т. Е. 1 sec 1868 года, Т. Е. Scrutton'а, 1887 г. и г. Shaw-Lefevre'а 1894 года.

Нельзя не удивляться тому, что эти труды, иногда истинно замечательные, до сих пор нашли так мало отклика в русской литературе.

Писатели-государственники не любят признавать, что Швейцария представляет федерацию 22-х *республик*, и предпочитают называть их «кантонами». На деле же Женева, Вадт, Берн, Цюрих и т. д. и даже маленький Аппенцль — *независимые республики, находящиеся между собой в федеральном союзе*, и все их официальные документы выходят с заголовком: «Республика такая-то: Женевская, Бернская, Grisons» и т. д.

В Швейцарии крестьяне равнинных ее частей также подпали под власть господ, и значительная часть их земельных имуществ была захвачена господами в XVI и XVII столетиях (ср., например, Miaskowski A. В Schmoller's «Forschungen» (1879. Vol. II. P. 12 и след.). Но крестьянская война в Швейцарии не закончилась таким полным поражением крестьян, как это было в других странах, и ими была удержана значительная доля общинных прав и земель. Самоуправление общин фактически является истинным основанием швейцарской свободы. — Федерация общин в республике Швиц, т. е. ее «Ober-Allmig», включает 18 приходов и более 30-ти деревень и городков. См. K. Bürkli, «Der Ursprung der Eidgenossenschaft aus der Markgenossenschaft», где самое происхождение Швейцарской федерации совершенно правильно выводится из деревенской общины.

Miaskowski в Schmoller's «Forschungen» (1879. Vol. II. P. 15), а также статьи «Domänen» и «Almend» в «Handwörterbuch der Schweizerischen Landwirthschaft», д-ра Reichesberg'a (Bern, 1903).

См. по этому вопросу ряд работ, изложенных в одной из тех превосходных и возбуждающих внимание глав, которыми К. Bücher снабдил немецкий перевод Лавелэ «Первобытное владение». См. также: *Meitzen*. Das agrar- und Forst-Wesen, die Allemenden und die Landgemeinden der Deutschen Schweiz // *Jahrbuch für Staatswissenschaft*. 1880. IV (анализ работ Мясковского); *O'Brien*. Notes in a Swiss village // *Macmillan's Magazine*. Oct. 1885 и мн. др.

Сюда же принадлежат свадебные подарки, которые часто бывают существенной помощью для молодых хозяйств, и, очевидно, составляют пережиток общинных обычаев; они широко распространены также в Англии.

Общины владеют почти 2 000 000 десятин леса, из 10 500 000 десятин во всей территории, и около 3 000 000 десятин естественных лугов, из 4 600 000 дес. во всей Франции. Остальные 810 000 десятин находится под полями, садами и т. д.

На Кавказе у грузин имеется еще лучший обычай. Так как хорошая еда добровольным помощникам обходится дорого, и бедняку негде ее взять, то соседи, приходя на «помочь», приносят с собой и овцу для пира после работы.

Alfred Baudrillart, в *Baudrillart H. Les Populations rurales de la France*. Paris, 1893 (3-я серия. С. 479).

В «Journal des Economistes», (август 1892, май и август 1893) было сообщено о результатах анализа в земледельческих лабораториях Гента и Парижа. Оказывается, что размеры подделки просто невероятны, как и всякого рода проделки и ухищрения «честных торговцев». Среди семян некоторых трав было 32 % песка, окрашенного таким образом, что даже опытный глаз мог быть введен в заблуждение; в других образчиках было лишь от 52 до 22 процентов чистых семян; остальные были семена сорных трав. Семена вики содержали 11 % ядовитой травы (nielle); мука для выкормки скота содержала 36 % серных солей, и т. д. без конца.

А. Baudrillart, l.c. (стр. 309). Первоначально один владелец брал на себя доставку воды, а несколько других соглашались пользоваться ею. «Особенно характерно для таких организаций, — замечает А. Baudrillart, — отсутствие каких-либо письменных договоров. Все соглашения происходят на словах. Но тем не менее неизвестно ни одного случая недоразумений, возникших между договаривающимися сторонами».

А. Baudrillart, l.c. С. 300, 341 etc. Председатель Сен-Жиронэзского синдиката (в Арьеже), М. Terssac, писал моему приятелю следующее: «Для тулузской выставки наша ассоциация сгруппировала владельцев скота, который, как мы думали, стоило выставлять. Общество взяло на себя половину издержек по доставке скота, падавших на каждого экспонента; четверть выплачивалась самим экспонентом, а остальную четверть расходов уплачивали те владельцы, скот которых получил премию. В результате, в этой выставке приняли участие многие крестьяне, которые при других условиях никогда бы этого не сделали. Получившие наивысшие награды (350 фр.) израсходовали около 10 процентов этих наград, а не получившие никакой награды затратили всего по 6–7 франков на человека».

В Вюртемберге из 1910 общин, 1629 владеют общинной собственностью. В 1863 году этим общинам принадлежало более 400 000 десятин земли. В Бадене, из 1582 общин 1256 владеют общинной землей; в 1884–1888 г. у них было 49 000 дес. полей под общинной культурой и 273 000 дес. леса, т. е. 46 процентов всей площади лесов. В Саксонии 39 процентов всей земельной площади находится в общинном владении (*Schmoller. Jahrbuch. 1886. S. 359*). В Гогенцоллерне почти две трети всей луговой земли, а в Гогенцоллерне-Гехингене 41 % всей земельной собственности находится во владении деревенских общин. (*Buchenberger. Agrarwesen und Agrarpolitik. Bd. I. S. 300*).

См. К. Вücher, который в специальной главе, прибавленной к немецкому переводу работы Лавелэ о первобытном владении, собрал все указания, относящиеся к деревенской общине в Германии.

Bücher K., ibid. S. 89, 90.

Об этом законодательстве и о многочисленных препятствиях, поставленных на пути союзов, в форме всякого рода канцелярщины и чиновничьего вмешательства, см.: *Buchenberger. Agrarwesen und Agrarpolitik*. Bd. II. S. 342–363, 506, примеч.

Buchenberger, l.c., Vd. II. S. 510. Генеральный союз земледельческой кооперации представляет собой 1679 обществ. В Силезии площадь в 12 000 десятин была недавно осушена 73 союзами; 182 000 десятин осушено в Пруссии — 516 союзами; в Баварии имеется 1715 союзов для целей осушки и орошения.

Для Балканского полуострова см.: *Laveleye*. Propriété Primitive.

Факты, касающиеся деревенской общины, заключенные почти в сотни томов (из общего числа 450 томов) этих исследований, были классифицированы и изложены в превосходной работе В. В., «Крестьянская община», Петербург, 1892, помещенной в: «Итоги экономического исследования России по данным земской статистики», том II). Помимо ее теоретического значения, эта статья содержит богатый свод данных, относящихся к этому вопросу. Вышеуказанные переписи породили обширнейшую литературу, в которой вопрос о современной деревенской общине впервые вышел из области общих заключений и был поставлен на твердую почву достоверных и в достаточной степени подробных фактов.

Выкуп должен был быть выплачиваем ежегодными взносами в течение сорока девяти лет. С течением времени, когда большая часть выкупа была уплачена, делалось все легче уплатить остальную долю, а так как каждый надел позволено было выкупить лично, то этим воспользовались купцы, скупавшие землю за полцены у разорившихся крестьян. Впоследствии был издан закон, воспрещавший подобные покупки, но потом он был отменен, и решительные меры были приняты, при Столыпине, чтобы окончательно искоренить общину.

В. В. в своей «Крестьянской общине» сгруппировал факты, относящиеся к этому движению.

В некоторых случаях они приступили к делу с чрезвычайной осторожностью. В одной деревне они начали с передачи всех лугов в общинное владение и только незначительная доля пахотных полей (около двух десятин на душу) была сделана общинною; остальная же пахотная земля продолжала быть в частном владении. Позднее, в 1862–1864 гг., система эта была расширена, но лишь в 1884 г. все земли перешли в общинное владение (В. В. Крестьянская община. С. 1–14).

О деревенской общине у меннонитов см. А. Клауса, «Наши колонии» (Петербург, 1869). — Когда, в 1897 году, я посетил наших меннонитов, переселившихся при введении воинской повинности в России, в Канаду, я нашел, что эти поселения, представлявшие богатейшую часть провинции Манитобы, жили селами русского типа и сохранили вполне общинное землевладение.

Подобные общинные запашки, насколько известно, существуют, из 195-ти деревень, Острогожского уезда, в 159-ти. Из 188-ми деревень Славяносербского уезда — в 150-ти, в 107-ми деревенских общинах Александровского уезда, в 93-х Николаевского и 35-ти Елисаветградского уездов. В одной немецкой колонии общественная запашка производится для уплаты общинного долга, причем работают все, хотя долг был сделан только 94-мя домохозяевами из 115-ти.

Перечисление подобных работ, делаемых сообща, и отмеченных земскими статистиками, см. в работе В. В. «Крестьянская община» (С. 459–600).

В Московской губернии опыт обыкновенно производился на поле, которое сохранялось для вышеупомянутой общинной культуры.

Несколько примеров таких и подобных улучшений были приведены в «Правит. вестнике» (1894, № 256–258). Союзы между «безлошадными» начинают встречаться также в южной России. Другим чрезвычайно интересным фактом является внезапное развитие в юго-западной Сибири чрезвычайно многочисленных молочных коопераций для выделки масла; сотни таких коопераций возникли в Тобольской и Томской губерниях, причем сначала не могли определить, кто был инициатором этого движения. Инициатива принадлежала, повидимому, датским кооператорам, которые обыкновенно вывозили собственное масло высшего качества, а для домашнего потребления покупали себе сибирское масло низшего сорта. После нескольких лет торговых сношений они ввели молочные кооперативы в Сибири. Теперь, благодаря их усилиям, из этих предприятий выросла крупная отрасль производства, достигшего перед войной 5 500 000 пудов, из которых 5 000 000 шло на вывоз: отчасти в Европейскую Россию, а остальное (4 300 000 пуд.) — за границу.

Smith T. English Guilds. London, 1870, Intr. P. XLIII.

Акт Эдуарда VI (первый акт его царствования) приказывал передать короне «все содружества, братства и гильдии, находящиеся в пределах Англии, Уэльса и др. владений короля; а также все поместья, земли, аренды и другие наследия, принадлежащие им или одному из них». («English Guilds», Intr. P. XLIII). См. также: *Ochenkowski*. Englands wirtschaftliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters. Jena, 1879, Ch. II–V.

См.: *Sidney u Beatrice Webb*. History of Trade-Unionism. London, 1894. P. 21–38.

См. в работе Sidney Webb об союзах того времени. Предполагают, что Лондонские ремесленники лучше всего были организованы в 1810–1820 годах.

Национальная ассоциация для защиты труда включала в свою организацию около 150 отдельных союзов, делавших крупные взносы, и насчитывала в общем около 100 000 членов. Союзы строительных рабочих и углекопов также были крупными организациями (Webb, l.c. P. 107).

Я руководюсь в этом отношении работой Webb, изобилующей документами, хотя должен сказать, что знатоки английского рабочего движения не все ее выводы признают верными.

С сороковых годов прошлого столетия, в отношениях более состоятельных классов к рабочим союзам произошли, конечно, крупные перемены. Однако же, не далее как в шестидесятых годах наниматели усиленно и дружно пытались сокрушить союзы, лишая работы население чуть ли не целых округов. Вплоть до 1869 года простое соглашение на стачку и объявление о стачке путем афиш, не говоря уже о «снятии рабочих», не приставших к стачке, очень часто наказывались, как «устрашение мирного населения». Закон «О хозяевах и их слугах» был отменен только в 1875 году, когда мирное отговаривания рабочих, идущих на работу во время объявленной стачки, перестало наказываться, как преступление, а «насилие и устрашение» во время стачек отошло в ведение общих законов.

Впрочем, во время большой стачки доковых рабочих в 1887 году, деньги, пожертвованные на поддержание стачки, пришлось тратить на защиту права «пикетирования» (отговаривания от работы). Наконец, преследования 1900–1910 годов, начатые консервативным правительством, царившим в Англии десять лет, грозят обратить в ничто все завоеванные права, так как суды стали приговаривать целые рабочие союзы к уплате из их касс убытков (иногда миллионных), понесенных хозяевами во время стачек.

В Англии, еженедельный взнос в 6 пенсов (24 копейки), при заработной плате в 18 шиллингов (8 руб. 30 коп. в неделю), или взнос одного шиллинга (48 коп.), при зарплате в 25 шиллингов (11 руб. 60 коп.) в неделю, значит гораздо более, чем расход в 90 рублей при годовом доходе в 3000 руб.; рабочему приходится для подобного взноса обрезать питание семьи, а при забастовке в товарищеском юнионе взнос приходится удваивать. Хорошее, образное описание жизни тред-юниониста, данное одним заводским рабочим и помещенное в упомянутой уже книге г-на Веббов (С. 431 и след.) дает прекрасное понятие о том, сколько работы требуется от члена английского рабочего союза.

См., напр., прения в австрийском рейхстаге о стачке в Фалькенау (в Австрии), 10 мая 1894 года; во время этих прений факты подобного рода были признаны, как министерством, так собственником копей. См. также английскую прессу того времени.

Сообщения о многих подобных фактах можно найти в «Daily Chronicle» и отчасти в «Daily News» за октябрь и ноябрь 1894 года.

Годовой расход 31 473 производительных и потребительных ассоциаций на среднем Рейне был показан в 1890 году в 18 437 500 фунтов (около 180 000 000 рублей); из них 3 675 000 ф. ст. (около 35 000 000 руб.) были выданы в течение года в ссуду. С тех пор все эти цифры удвоились или утроились.

British Consular Report. Apr. 1889.

Капитальное исследование по этому вопросу было напечатано г. Егизаровым в «Записках Кавказского географич. общества» (Тифлис, 1891. Т. VI, 2).

Побег из французской «центральной» тюрьмы чрезвычайно затруднителен; но несмотря на это, в 1884 или в 1885 году одному арестанту удалось убежать из одной из французских центральных тюрем. Ему даже удалось скрываться в течение целого дня, несмотря на поднятую тревогу и на устроенную на него облаву. Утром следующего дня он скрывался в канаве, поблизости одной небольшой деревушки. Может быть, он рассчитывал стащить какие-нибудь съестные припасы и одежду, чтобы переменить арестантский костюм. Но в то время, как он лежал в канаве, он видел, как из одного дома вышел молодой мужчина, провожаемый его женою, и ушел, должно быть, на работу. Вскоре после этого в доме вспыхнул пожар. Та же женщина выбежала из горевшего дома, и он слышал ее отчаянные вопли о помощи ребенку, находившемуся в верхнем этаже горевшего дома. Но никто не откликнулся на эти вопли. Тогда беглый арестант выскочил из своего убежища, вбежал в горевший дом, и, с опаленным лицом и горевшею на нем одеждою, вынес ребенка из огня и передал его матери. Конечно, его сейчас же арестовал деревенский жандарм, не преминувши появиться при этой okazji и отправивший его обратно в тюрьму. — Об этом факте сообщили во всех французских газетах, но ни одна из них не подняла агитации об освобождении героя-арестанта. Если бы он защитил тюремного надзирателя от нападения товарища по тюрьме, его, конечно, немедленно провозгласили бы героем. Но его поступок был актом простого человеколюбия, он не мог послужить к прославлению государственного идеала; сам арестант не объяснял его божественною благодатью, ниспосланною свыше, и этого было достаточно, чтобы об нем забыли. Впрочем, может быть, ему прибавили еще полгода или год тюрьмы, за «похищение казенного имущества», т. е. арестантской одежды, в которой он бежал. Сам побег, во Франции, не считается преступлением, но унести на себе казенную куртку составляет «похищение».

Женский медицинский институт (давший России большую часть ее первых 700 женщин-врачей), четыре учреждения, именуемых высшими женскими курсами, в которых было около 1000 студенток в 1887 году, когда они были закрыты (открыты снова в 1895 г.) и высшая коммерческая школа для женщин были всецело результатом работы таких частных обществ. Этим же обществам мы обязаны высоким уровнем, которого достигли женские гимназии со времени их основания в шестидесятых годах. Около ста гимназий, рассеянных по всей империи и насчитывающих около 70 000 учениц, соответствуют «высшим школам» для девушек в Англии, с тою лишь разницей, что все учителя в русских гимназиях должны обладать университетским образованием, чего нет в Англии.

Германский союз для распространения полезных знаний (Verein für Verbreitung gemeinnutzlicher Kenntnisse), хотя и насчитывает всего лишь 5 500 членов, но уже в первые же годы после открытия (1895 г.) открыл более 1 000 публичных и школьных библиотек, организовал тысячи лекций и издал массу полезных книг.

Очень немногие социологи обращали внимание на это явление. Одним из них был Иеринг (Dr. Ihering), и его работа об этом предмете очень поучительна. Когда этот великий немецкий юрист приступил к своей философской работе «Der Zweck im Rechte» («Цель в праве»), он намеревался разобрать «активные силы, вызывающие и поддерживающие прогресс общества», и, таким образом, дать «теорию общительного человека». Прежде всего он рассмотрел влияние эгоистических сил, включая современную систему заработной платы и принуждения, во всем разнообразии наших политических и социальных законов. И, согласно тщательно разработанному плану своего труда, он намеревался отвести последнюю главу этическим силам — чувству долга и взаимной любви — способствующим той же цели. Но когда он стал обсуждать общественное значение этих двух деятельных сил, он был вынужден, вместо одной главы, посвятить им целый второй том, по объему вдвое больше первого; при этом он успел рассмотреть только *личные* факторы, которым мы посвящаем на следующих страницах всего несколько строк. — L. Dargun положил ту же самую идею в основание своей работы «Egoismus und Altruismus in der Nationalökonomie» (Leipzig, 1885), добавив несколько новых фактов — «Liebe» Бюхнера и перефразировки этой книги, появившиеся в Англии и Америке без означения их источника, касаются того же самого предмета.

Light and Shadows in the Life of an Artisan / by Joseph Guttridge. Coventry, 1893.

Богатые люди часто не могут понять, каким образом бедняки могут помогать друг другу, так как богатые люди не могут себе представить, от какого ничтожного количества пищи или денег часто зависит самое существование бедняка. Лорд Шафтсбэри вполне понимал эту ужасающую истину, когда основал свой «Фонд цветочниц и продавщиц кресона» (для салата). Из этого фонда выдавались ссуды, размером в один и изредка даже в два фунта стерл. (10 и иногда 20 рублей), чтобы доставить девушке, впавшей в нищету с наступлением зимы, возможность купить себе корзину и несколько цветов и начать торговлю цветами. Ссуды выдавались девушкам, у которых, писал Шафтсбэри, «не было сикспэнса (25 к.) за душой», и тем не менее они всегда находили поручителей за себя среди бедняков. «Из всех движений, в которых мне приходилось принимать участие, — писал он дальше, — я смотрю на это движение для оказания помощи цветочницам и продавщицам кресона, как на самое успешное... Оно началось в 1872 году, и мы выдали от 800 до 1000 ссуд, причем за все это время не потеряли даже и 50 фунтов стерл.; потеряли мы сущие пустяки, да и то по таким извинительным причинам, как смерть или болезнь, но никогда не вследствие обмана». (*The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury/ By Edwin Hodder. London, 1885–1886. Vol. III. P. 322.*). О некоторых подобных фактах см. в Ch. Booth's «*Life and Labour in London*». Vol. I; в Miss Beatrice Potter's «*Pages from a Work Girl's Diary*» («*Nineteenth Century*», Sep. 1888. P. 310); и т. д.

Plimsoll S. Our Seamen. London, 1870. P. 110 (дешевое издание).

Plimsoll S. Our Seamen. P. 110. К этому Плимсоль прибавляет: «Я не желаю унижать богатых, но думаю, что имеются достаточные основания сомневаться в полном развитии подобных же качеств у них; ибо хотя немногие из них не знакомы с требованиями, исходящими, — правильно или неправильно, это другой вопрос, — от бедных родственников, но все-таки альтруистические качества богачей не подвергаются постоянному упражнению. Кажется, что богатство во многих случаях действует развращающе: симпатии обладателей богатства не то что суживаются, а приобретают, так сказать, классовую окраску: *ложатся слоями*. Они сохраняются лишь для страданий их собственного класса, а также чтобы скорбеть о людях занимающих высшее положение. Богатые редко обращают внимание на нижние слои и скорее склонны восхищаться храбрым поступком, чем теми повседневными проявлениями мужества и добросердечия, которыми характеризуется жизнь английского рабочего», — и рабочих всего мира, прибавлю я.

Life of the Seventh Earl of Shaftesbury / By Edwin Hodder. Vol. I. P. 137–138.

Два известных германских юриста.

См.: Marriage Customs in many Lands / By H. N. Hutchinson. London, 1897.

Многие новые интересные формы переживаний собраны у Wilhelm Rudeck, «Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Deutschland». Обзор их был сделан Дюркгеймом в «Annuaire Sociologique» (II, 312).

«A Servio Tullio populus romanus relatus in censum digestus in classes, curiis atque collegiis distributus». (*Martin-Saint-Léon E. Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791. Paris, 1897*).

Римская *sodalitia*, насколько мы можем судить (см. того же автора С. 9) соответствовала кабийским *çofs*.

Поразительно, с какой ясностью эта же идея выражена в известном месте у Плутарха, относящемся к законодательству Нумы о трудовых коллегиях. «И таким путем, — писал Плутарх, — он был первым, кто изгнал из города тот дух, который вел людей к таким заявлениям: „Я сабинянин“, или „Я римлянин“, или „Я подданный Тация“, или „Я подданный Ромула“». Другими словами, коллегией уничтожилась мысль о различном происхождении.

Работа Г. Шурца (H. Schurtz), посвященная «возрастным классам» и тайным союзам во время ранних (варварских) стадий цивилизации («Altersklassen und Männerverbände: eine Darstellung der Grundformen der Gesellschaft», Berlin, 1902), которая дошла до меня в то время, когда я уже читал корректуры настоящей книги, заключает в себе значительное количество фактов, подтверждающих вышеприведенную гипотезу о происхождении гильдий. Искусство постройки большого общинного дома, так, чтобы не обидеть при этом духов срубленных деревьев, искусство такойковки металлов, которая примирительно действовала бы на враждебных духов, охраняющих металлы; секреты охоты, а также секреты церемоний и маскированных танцев, содействующих успеху охоты; искусство обучения мальчиков начаткам ремесел и искусств; тайные способы успешной борьбы с колдовством врагов и, следовательно, искусство войны; искусство выделки лодок, сетей для рыбной ловли, капканов для животных и ловушек для птиц, с нужными заговорами, и, наконец, искусство женщин в деле прядения и окрашивания, — все это в древние времена были «искусства», требовавшие тайны для их успешного выполнения. (В Англии «ремесло» и «колдовство» по сию пору означаются одним и тем же словом: craft — колдовство и ремесло.) Вследствие этого они передавались с древнейших времен в тайных обществах или «мистериях» одним тем, кто соглашался подвергнуться трудному, а иногда и мучительному вступительному обряду. Г. Шурц показал, как жизнь дикарей вся пронизана тайными обществами и «клубами» (воинов, охотников), которые имеют столь же древнее происхождение, как и брачные классы в родах, и заключают в себе уже все зачатки будущей гильдии, т. е. тайну, независимость от семьи, а иногда и от рода, общее поклонение специальным богам, совместные пиры и самосуд в пределах общества и братства. Кузница, а также и дом, в котором хранятся лодки, обыкновенно являются отделениями «мужских» клубов; а «длинные дома», или «палаверы», всегда строятся специальными искусниками, знающими, как умиловить духи срубленных деревьев. На подобные же таинства есть немало указаний в изданиях «Геологической Съёмки Соединенных Штатов», посвященных Этнографии и Этнологии.

В Кэмберланде (Уэльс) полянки назывались dalle или dole. Межа называлась rane (рэн). Отсюда run-rig, run-dale.

Напомню мимоходом, что в Канаде и Соед. Штатах четыре фермера, сидящие рядом на квадратной миле, часто складываются, чтобы сообща купить вяжущую «жатку» и другие сельско-хозяйские машины.

Кроме выгона, или вовсе никаких? Желательно было бы знать.

Гогелиа Георгий Ильич (1878–1924). Происходил из мещан села Озургеты Кутаисской губернии. В 1897 г. эмигрировал во Францию. Окончил агрономическое училище в Лозанне, учился на химическом факультете Женевского университета. С 1903 г. стал одним из лидеров российских и грузинских анархистов и анархо-синдикалистов.

Оргеиани К. [Гогелиа Г. И.] Об интеллигенции. Лондон, 1912.

Там же. С. 10.

Там же. С. 4–5.

Там же. С. 19.

Там же. С. 12, 19.

Оргеиани К. [Гогелиа Г. И.] Об интеллигенции. С. 19–21.

Там же. С. 17.

Там же. С. 30.

ΓΑΡΦ. Φ. 1129. Οπ. Ι. Εδ. χρ. 665. Λ. 1.

Автор комментариев к документу — Д. И. Рублёв.

Так в данной публикации выделяются подчёркнутые П. А. Кропоткиным слова и фразы.

Classe des nobles — сословие дворян.

Здесь речь идёт о Великой французской революции 1789–1794 гг.

Приведённая П. А. Кропоткиным цитата взята из пьесы А. Н. Островского «Тяжёлые дни».

«Бог и государство» («Dieu et l'Etat») — под этим термином принято называть рукопись М. А. Бакунина на французском языке, которая должна была составить второй выпуск работы «Кнуто-германская империя и социальная революция». В 1882 г. была издана анархистами К. Кафиеро и Э. Реклю. Публикаторы озаглавили это издание «Бог и государство» (См.: Бакунин И. А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 576). При переизданиях этот труд иногда включают в состав «Кнуто-германской империи и социальной революции» под названием её второго выпуска, как и планировал Бакунин (см., например: Бакунин М. А. Анархия и порядок // Бакунин М. А. Сочинения. М., 2000. С. 527–692).

Une hirondelle ne fait pas ouvrir le printemps (франц.) — Одна ласточка не делает весны.

Бюхнер Людвиг (1824–1899) — немецкий врач, естествоиспытатель, философ. Один из основоположников философии вульгарного материализма.

Льюис Джордж-Генри (1817–1878) — английский физиолог, философ-позитивист.

Прудон Пьер-Жозеф (1809–1865) — основоположник мютюэлистского направления в анархизме. Считается одним из авторов термина «анархизм».

Кравчинский (псевдоним — Степняк) Сергей Михайлович (1851–1895) — российский революционер народническо-анархистского толка, писатель. С 1872 г. — член революционного кружка «чайковцев», в котором состоял и П. А. Кропоткин.

Далее в рукописи присутствует набросок схемы, графически отображающей принадлежность одновременно к нескольким существующим социальным группам населения. На схеме отмечены такие группы, как «пролетарии», «купцы», «дворяне» и «интеллигенты» (здесь приводится фотокопия фрагмента страницы, включающего данную схему).